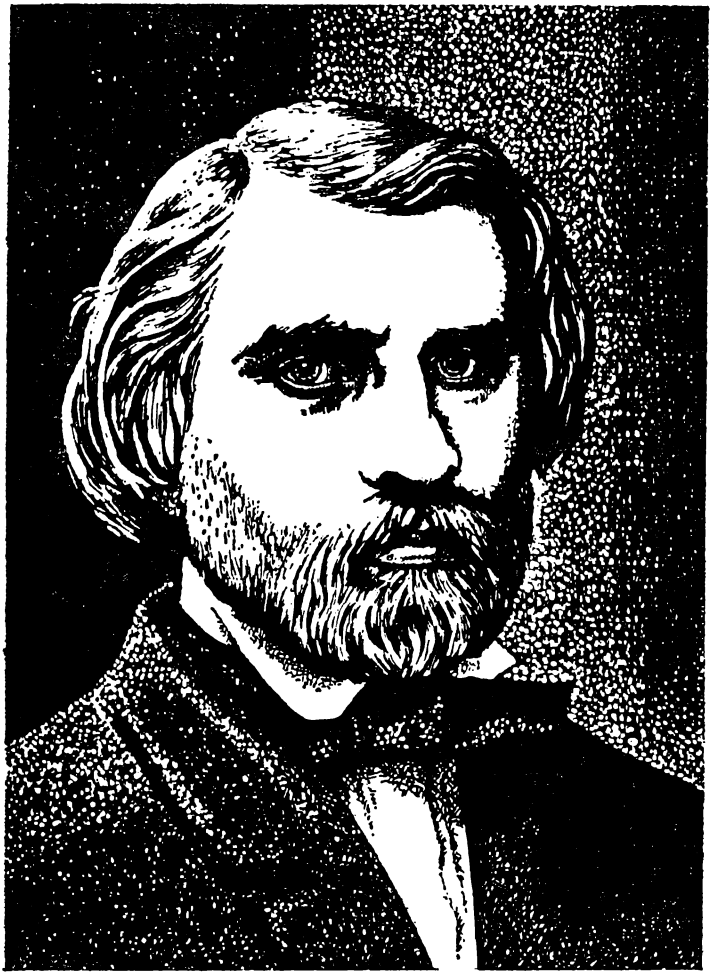
И. С. ТУРГЕНЕВ
ТРИ ВСТРЕЧИ
Юношеская · библиотека
И. С. ТУРГЕНЕВ

юношеская · библиотека



И. С. ТУРГЕНЕВ

ТРИ ВСТРЕЧИ

ПОВЕСТИ

ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1988

ББК 84Р1—4
Т87

«Что можно сказать о всех вообще произведениях Тургенева? — писал М. Е. Салтыков-Щедрин.— То ли, что после прочтения их легко дышится, легко верится, тепло чувствуется? Что ощущаешь явственно, как нравственный уровень в тебе поднимается, что мысленно благословляешь и любишь автора?.. Это, именно это впечатление оставляют после себя эти призрачные, будто сотканные из воздуха образы, это начало любви и света, во всякой строке бьющее главным ключом...»

Творчество И. С. Тургенева знаменует собой целый этап в развитии русской литературы. Чуткость к актуальным вопросам жизни России, философское осмысление событий и характеров и правдивое их изображение сделали книги Тургенева — романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», лучшие повести и рассказы — своеобразной летописью русской действительности 40—70-х годов XIX века.

Художник **С. Можаева**

Общественная редколлегия
серии книг «Юношеская библиотека»:
**А. П. Климова, О. Д. Коровин,
Л. И. Кузьмин, А. П. Лебеденко, Т. С. Рослякова,
О. К. Селянкин** (председатель), **В. М. Ширинкин**

Т $\frac{4702010101-49}{М152(3)-88}$ 44—88

ISBN 5—7625—0049—7

© Оформление, составление, Пермское книжное издательство, 1988

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Посвящено П. В. Анненкову

Гости давно разъехались. Часы пробили половину первого. В комнате остались только хозяин, да Сергей Николаевич, да Владимир Петрович.

Хозяин позвонил и велел принять остатки ужина.

— Итак, это дело решенное,— промолвил он, глубже усаживаясь в кресло и закурив сигару,— каждый из нас обязан рассказать историю своей первой любви. За вами очередь, Сергей Николаевич.

Сергей Николаевич, кругленький человек с пухленьким белокурым лицом, посмотрел сперва на хозяина, потом поднял глаза к потолку.

— У меня не было первой любви,— сказал он наконец,— я прямо начал со второй.

— Это каким образом?

— Очень просто. Мне было восемнадцать лет, когда я в первый раз приволокнулся за одной весьма миленькой барышней; но я ухаживал за ней так, как будто дело это было мне не внове: точно так, как я ухаживал потом за другими. Собственно говоря, в первый и последний раз я влюбился лет шести в свою няню; но этому очень давно. Подробности наших отношений изгладились из

моей памяти, да если б я их и помнил, кого это может интересовать?

— Так как же быть? — начал хозяин.— В моей первой любви тоже не много занимательного: я ни в кого не влюблялся до знакомства с Анной Ивановной, моей теперешней женой,— и все у нас шло как по маслу: отцы нас сосватали, мы очень скоро полюбились друг другу и вступили в брак не мешкая. Моя сказка двумя словами сказывается. Я, господа, признаюсь, поднимая вопрос о первой любви,— надеялся на вас, не скажу старых, но и не молодых холостяков. Разве вы нас чем-нибудь потешите, Владимир Петрович?

— Моя первая любовь принадлежит действительно к числу не совсем обыкновенных,— ответил с небольшой запинкой Владимир Петрович, человек лет сорока, черноволосый, с проседью.

— А! — промолвили хозяин и Сергей Николаевич в один голос.— Тем лучше... Рассказывайте.

— Извольте... или нет: рассказывать я не стану; я не мастер рассказывать: выходит сухо и коротко или пространно и фальшиво; а если позволите, я запишу все, что вспомню, в тетрадку — и прочту вам.

Приятели сперва не согласились, но Владимир Петрович настоял на своем. Через две недели они опять сошлись, и Владимир Петрович сдержал свое обещание.

Вот что стояло в его тетрадке:

I

Мне было тогда шестнадцать лет. Дело происходило летом 1833 года.

Я жил в Москве у моих родителей. Они нанимали дачу около Калужской заставы, против Нескучного. Я готовился в университет, но работал очень мало и не торопясь.

Никто не стеснял моей свободы. Я делал, что хотел, особенно с тех пор, как я расстался с последним моим гувернером-французом, который никак не мог привыкнуть к мысли, что он упал «как бомба» (comme une bombe) в Россию, и с ожесточенным выражением на лице по целым дням валялся на постели. Отец обходился со мной равнодушно-ласково; матушка почти не обращала на меня внимания, хотя у ней, кроме меня, не было детей: другие заботы ее поглощали. Мой отец, человек еще мо-

лодой и очень красивый, женился на ней по расчету; она была старше его десятью годами. Матушка моя вела печальную жизнь: беспрестанно волновалась, ревновала, сердилась — но не в присутствии отца; она очень его боялась, а он держался строго, холодно, отдаленно... Я не видал человека более изысканно спокойного, самоуверенного и самовластного.

Я никогда не забуду первых недель, проведенных мною на даче. Погода стояла чудесная; мы переехали из города девятого мая, в самый Николин день. Я гулял — то в саду нашей дачи, то по Нескучному, то за заставой; брал с собой какую-нибудь книгу — курс Кайданова, например,— но редко ее развертывал, а больше вслух читал стихи, которых знал очень много на память; кровь бродила во мне, и сердце ныло — так сладко и смешно: я все ждал, робел чего-то, и всему дивился, и весь был наготове; фантазия играла и носилась быстро вокруг одних и тех же представлений, как на заре стрижи вокруг колокольни; я задумывался, грустил и даже плакал; но и сквозь слезы и сквозь грусть, навеянную то певучим стихом, то красотою вечера, проступало, как весенняя травка, радостное чувство молодой, закипающей жизни.

У меня была верховая лошадка, я сам ее седлал и уезжал один куда-нибудь подальше, пускался вскачь и воображал себя рыцарем на турнире — как весело дул мне в уши ветер! — или, обратив лицо к небу, принимал его сияющий свет и лазурь в разверстую душу.

Помнится, в то время образ женщины, призрак женской любви почти никогда не возникал определенными очертаниями в моем уме; но во всем, что я думал, во всем, что я ощущал, таилось полусознанное, стыдливое предчувствие чего-то нового, несказанно сладкого, женского...

Это предчувствие, это ожидание проникло весь мой состав: я дышал им, оно катилось по моим жилам в каждой капле крови, ему было суждено скоро сбыться.

Дача наша состояла из деревянного барского дома с колоннами и двух низеньких флигельков; во флигеле налево помещалась крохотная фабрика дешевых обоев... Я не раз хаживал туда смотреть, как десяток худых и взъерошенных мальчишек в засаленных халатах и с испитыми лицами то и дело вскакивали на деревянные рычаги, нажимавшие четырехугольные обрубки пресса, и таким образом тяжестью своих тщедушных тел вытискивали пестрые узоры обоев. Флигелек направо стоял пу-

стой и отдавался внаймы. В один день — недели три спустя после девятого мая — ставни в окнах этого флигелька открылись, показались в них женские лица — какое-то семейство в нем поселилось. Помнится, в тот же день за обедом матушка осведомилась у дворецкого о том, кто были наши новые соседи, и, услыхав фамилию княгини Засекиной, сперва промолвила не без некоторого уважения: «А! княгиня...— а потом прибавила: — Должно быть, бедная какая-нибудь».

— На трех извозчиках приехали-с,— заметил, почтительно подавая блюдо, дворецкий,— своего экипажа не имеют-с, и мебель самая пустая.

— Да,— возразила матушка,— а все-таки лучше.

Отец холодно взглянул на нее: она умолкла.

Действительно, княгиня Засекина не могла быть богатой женщиной: нанятый ею флигелек был так ветх, и мал, и низок, что люди, хотя несколько зажиточные, не согласились бы поселиться в нем. Впрочем, я тогда пропустил это все мимо ушей. Княжеский титул на меня мало действовал: я недавно прочел «Разбойников» Шиллера.

II

У меня была привычка бродить каждый вечер с ружьем по нашему саду и караулить ворон. К этим осторожным, хищным и лукавым птицам я издавна чувствовал ненависть. В день, о котором зашла речь, я также отправился в сад — и, напрасно исходив все аллеи (вороны меня признали и только издали отрывисто каркали), случайно приблизился к низкому забору, отделявшему собственно *наши* владения от узенькой полосы сада, простиравшейся за флигельком направо и принадлежавшей к нему. Я шел потупя голову. Вдруг мне послышались голоса; я взглянул через забор — и окаменел... Мне представилось странное зрелище.

В нескольких шагах от меня — на поляне, между кустами зеленой малины, стояла высокая, стройная девушка в полосатом розовом платье и с белым платочком на голове; вокруг нее теснились четыре молодые человека, и она поочередно хлопала их по лбу теми небольшими серыми цветками, которых имени я не знаю, но которые хорошо знакомы детям: эти цветки образуют небольшие мешочки и разрываются с треском, когда хлопнешь ими по чему-нибудь твердому. Молодые люди так охотно

подставляли свои лбы — а в движениях девушки (я ее видел сбоку) было что-то такое очаровательное, повелительное, ласкающее, насмешливое и милое, что я чуть не вскрикнул от удивления и удовольствия и, кажется, тут же бы отдал все на свете, чтобы только и меня эти прелестные пальчики хлопнули по лбу. Ружье мое соскользнуло на траву, я все забыл, я пожирал взором этот стройный стан, и шейку, и красивые руки, и слегка растрепанные белокурые волосы под белым платочком, и этот полузакрытый, умный глаз, и эти ресницы, и нежную щеку под ними...

— Молодой человек, а молодой человек,— проговорил вдруг подле меня чей-то голос,— разве позволительно глядеть так на чужих барышень?

Я вздрогнул весь, я обомлел... Возле меня за забором стоял какой-то человек с коротко остриженными черными волосами и иронически посматривал на меня. В это самое мгновение и девушка обернулась ко мне... Я увидал огромные серые глаза на подвижном, оживленном лице — и все это вдруг задрожало, засмеялось, белые зубы сверкнули на нем, брови как-то забавно поднялись... Я вспыхнул, схватил с земли ружье и, преследуемый звонким, но не злым хохотаньем, убежал к себе в комнату, бросился на постель и закрыл лицо руками. Сердце во мне так и прыгало; мне было очень стыдно и весело: я чувствовал небывалое волнение.

Отдохнув, я причесался, почистился и сошел вниз к чаю. Образ молодой девушки носился передо мною, сердце перестало прыгать, но как-то приятно сжималось.

— Что с тобой? — внезапно спросил меня отец,— убил ворону?

Я хотел было все рассказать ему, но удержался и только улыбнулся про себя. Ложась спать, я, сам не знаю зачем, раза три повернулся на одной ноге, напомадился, лег и всю ночь спал как убитый. Перед утром я проснулся на мгновенье, приподнял голову, посмотрел вокруг себя с восторгом — и опять заснул.

III

«Как бы с ними познакомиться?» — было первою моею мыслью, как только я проснулся поутру. Я перед чаем отправился в сад, но не подходил слишком близко к забору и никого не видел. После чаю я прошелся несколько раз по улице перед дачей — и издали заглядывал в окна...

Мне почудилось за занавеской *ее* лицо, и я с испугом поскорее удалился. «Однако надо же познакомиться,— думал я, беспорядочно расхаживая по песчаной равнине, расстилавшейся перед Нескучным,— но как? Вот в чем вопрос». Я припоминал малейшие подробности вчерашней встречи: мне почему-то особенно ясно представлялось, как это она посмеялась надо мною... Но, пока я волновался и строил различные планы, судьба уже порадела обо мне.

В мое отсутствие матушка получила от новой своей соседки письмо на серой бумаге, запечатанной бурым сургучом, какой употребляется только на почтовых повестках да на пробках дешевого вина. В этом письме, написанном безграмотным языком и неопрятным почерком, княгиня просила матушку оказать ей покровительство: матушка моя, по словам княгини, была хорошо знакома с значительными людьми, от которых зависела ее участь и участь ее детей, так как у ней были очень важные процессы. «Я квам обращаюсь,— писала она,— как благородная дама хблагородной даме, и при том мне преятно воспользоватца сим случаем». Кончая, она просила у матушки позволения явиться к ней. Я застал матушку в неприятном расположении духа: отца не было дома, и ей не с кем было посоветоваться. Не отвечать «благородной даме», да еще княгине, было невозможно, а как отвечать — матушка недоумевала. Написать записку по-французски казалось ей неуместным, а в русской орфографии сама матушка не была сильна — и знала это — и не хотела компрометироваться. Она обрадовалась моему приходу и тотчас приказала мне сходить к княгине и на словах объяснить ей, что матушка, мол, моя всегда готова оказать ее сиятельству, по мере сил, услугу и просит ее пожаловать к ней часу в первом. Неожиданно быстрое исполнение моих тайных желаний меня и обрадовало и испугало; однако я не выказал овладевшего мною смущения — и предварительно отправился к себе в комнату, чтобы надеть новенький галстук и сюртучок: дома я еще ходил в куртке и в отложных воротничках, хотя очень ими тяготился.

IV

В тесной и неопрятной передней флигелька, куда я вступил с невольной дрожью во всем теле, встретил меня старый и седой слуга с темным, медного цвета, лицом,

свиными, угрюмыми глазками и такими глубокими морщинами на лбу и на висках, каких я в жизни не видывал. Он нес на тарелке обглоданный хребет селедки и, притворяя ногою дверь, ведущую в другую комнату, отрывисто проговорил:

— Чего вам?

— Княгиня Засекина дома? — спросил я.

— Вонифатий! — закричал из-за двери дребезжащий женский голос.

Слуга молча повернулся ко мне спиною, причем обнаружилась сильно истертая спинка его ливреи, с одинокой порыжелой гербовой пуговицей, и ушел, поставив тарелку на пол.

— В квартал ходил? — повторил тот же женский голос. Слуга пробормотал что-то.— А?.. Пришел кто-то?..— послышалось опять.— Барчук соседний? Ну, проси.

— Пожалуйте-с в гостиную,— проговорил слуга, появившись снова передо мною и поднимая тарелку с полу.

Я оправился и вошел в «гостиную».

Я очутился в небольшой и не совсем опрятной комнате с бедной, словно наскоро расставленной мебелью. У окна, на кресле с отломанной ручкой, сидела женщина лет пятидесяти, простоволосая и некрасивая, в зеленом старом платье и с пестрой гарусной косынкой вокруг шеи. Ее небольшие черные глазки так и впились в меня.

Я подошел к ней и раскланялся.

— Я имею честь говорить с княгиней Засекиной?

— Я княгиня Засекина: а вы сын господина В.?

— Точно так-с. Я пришел к вам с поручением от матушки.

— Садитесь, пожалуйста. Вонифатий! где мои ключи, не видал?

Я сообщил г-же Засекиной ответ моей матушки на ее записку. Она выслушала меня, постукивая толстыми красными пальцами по оконнице, а когда я кончил, еще раз уставилась на меня.

— Очень хорошо; непременно буду,— промолвила она наконец.— А как вы еще молоды! Сколько вам лет, позвольте спросить?

— Шестнадцать лет,— отвечал я с невольной запинкой.

Княгиня достала из кармана какие-то исписанные, засаленные бумаги, поднесла их к самому носу и принялась перебирать их.

— Годы хорошие,— произнесла она внезапно, поворачиваясь и ерзая на стуле.— А вы, пожалуйста, будьте без церемонии. У меня просто.

«Слишком просто»,— подумал я, с невольной гадливостью окидывая взором всю ее неблагообразную фигуру.

В это мгновенье другая дверь гостиной быстро распахнулась, и на пороге появилась девушка, которую я видел накануне в саду. Она подняла руку, и на лице ее мелькнула усмешка.

— А вот и дочь моя,— промолвила княгиня, указав на нее локтем.— Зиночка, сын нашего соседа, господина В. Как вас зовут, позвольте узнать?

— Владимиром,— отвечал я, вставая и пришепетывая от волнения.

— А по батюшке?

— Петровичем.

— Да! У меня был полицеймейстер знакомый, тоже Владимиром Петровичем звали. Вонифатий! не ищи ключей, ключи у меня в кармане.

Молодая девушка продолжала глядеть на меня с прежней усмешкой, слегка щурясь и склонив головку немного набок.

— Я уже видела мсьё Вольдемара,— начала она. (Серебристый звук ее голоса пробежал по мне каким-то сладким холодком.) — Вы мне позволите так называть вас?

— Помилуйте-с,— пролепетал я.

— Где это? — спросила княгиня.

Княжна не отвечала своей матери.

— Вы теперь заняты? — промолвила она, не спуская с меня глаз.

— Никак нет-с.

— Хотите вы мне помочь шерсть распутать? Подите сюда, ко мне.

Она кивнула мне головой и пошла вон из гостиной. Я отправился вслед за ней.

В комнате, куда мы вошли, мебель была немного получше и расставлена с бо́льшим вкусом. Впрочем, в это мгновенье я почти ничего заметить не мог: я двигался как во сне и ощущал во всем составе своем какое-то до глупости напряженное благополучие.

Княжна села, достала связку красной шерсти и, указав мне на стул против нее, старательно развязала связку и положила мне ее на руки. Все это она делала молча, с какой-то забавной медлительностью и с той же светлой

и лукавой усмешкой на чуть-чуть раскрытых губах. Она начала наматывать шерсть на перегнутую карту и вдруг озарила меня таким ясным и быстрым взглядом, что я невольно потупился. Когда ее глаза, большею частию полуприщуренные, открывались во всю величину свою, — ее лицо изменялось совершенно: точно свет проливался по нем.

— Что вы подумали обо мне вчера, мсьё Вольдемар? — спросила она погодя немного.— Вы, наверно, осудили меня?

— Я... княжна... я ничего не думал... как я могу...— отвечал я с смущением.

— Послушайте,— возразила она.— Вы меня еще не знаете: я престранная; я хочу, чтоб мне всегда правду говорили. Вам, я слышала, шестнадцать лет, а мне двадцать один: вы видите, я гораздо старше вас, и потому вы всегда должны мне говорить правду... и слушаться меня,—прибавила она.— Глядите на меня — отчего вы на меня не глядите?

Я смутился еще более, однако поднял на нее глаза. Она улыбнулась, только не прежней, а другой, одобрительной улыбкой.

— Глядите на меня,— промолвила она, ласково понижая голос,— мне это не неприятно... Мне ваше лицо нравится; я предчувствую, что мы будем друзьями. А я вам нравлюсь? — прибавила она лукаво.

— Княжна... — начал было я.

— Во-первых, называйте меня Зинаидой Александровной, а во-вторых, что это за привычка у детей (она поправилась) — у молодых людей — не говорить прямо то, что они чувствуют? Это хорошо для взрослых. Ведь я вам нравлюсь?

Хотя мне очень было приятно, что она так откровенно со мной говорила, однако я немного обиделся. Я хотел показать ей, что она имеет дело не с мальчиком, и, приняв по возможности развязный и серьезный вид, промолвил:

— Конечно, вы очень мне нравитесь, Зинаида Александровна; я не хочу это скрывать.

Она с расстановкой покачала головой.

— У вас есть гувернер? — спросила она вдруг.

— Нет, у меня уже давно нет гувернера.

Я лгал; еще месяца не прошло с тех пор, как я расстался с моим французом.

— О! да я вижу — вы совсем большой.

Она легонько ударила меня по пальцам.

— Держите прямо руки! — И она прилежно занялась наматыванием клубка.

Я воспользовался тем, что она не поднимала глаз, и принялся ее рассматривать, сперва украдкой, потом все смелее и смелее. Лицо ее показалось мне еще прелестнее, чем накануне: так все в нем было тонко, умно и мило. Она сидела спиной к окну, завешенному белой шторой; солнечный луч, пробиваясь сквозь эту штору, обливал мягким светом ее пушистые, золотистые волосы, ее невинную шею, покатые плечи и нежную, спокойную грудь. Я глядел на нее — и как дорогá и близка становилась она мне! Мне сдавалось, что и давно-то я ее знаю и ничего не знал и не жил до нее... На ней было темненькое, уже поношенное платье с передником; я, кажется, охотно поласкал бы каждую складку этого платья и этого передника. Кончики ее ботинок выглядывали из-под ее платья: я бы с обожанием преклонился к этим ботинкам... «И вот я сижу перед ней,— подумал я,— я с ней познакомился... какое счастие, боже мой!» Я чуть не соскочил со стула от восторга, но только ногами немного поболтал, как ребенок, который лакомится.

Мне было хорошо, как рыбе в воде, и я бы век не ушел из этой комнаты, не покинул бы этого места.

Ее веки тихо поднялись, и опять ласково засияли передо мною ее светлые глаза — и опять она усмехнулась.

— Как вы на меня смотрите,— медленно проговорила она и погрозила мне пальцем.

Я покраснел... «Она все понимает, она все видит,— мелькнуло у меня в голове.— И как ей всего не понимать и не видеть!»

Вдруг что-то застучало в соседней комнате — зазвенела сабля.

— Зина! — закричала в гостиной княгиня,— Беловзоров принес тебе котенка.

— Котенка! — воскликнула Зинаида и, стремительно поднявшись со стула, бросила клубок мне на колени и выбежала вон.

Я тоже встал и, положив связку шерсти и клубок на оконницу, вышел в гостиную и остановился в недоумении. Посредине комнаты лежал, растопыря лапки, полосатый котенок; Зинаида стояла перед ним на коленях и осторожно поднимала ему мордочку. Возле княгини, заслонив

почти весь простенок между окнами, виднелся белокурый и курчавый молодец, гусар с румяным лицом и глазами навыкате.

— Какой смешной! — твердила Зинаида,— и глаза у него не серые, а зеленые, и уши какие большие! Спасибо вам, Виктор Егорыч! Вы очень милы.

Гусар, в котором я узнал одного из виденных мною накануне молодых людей, улыбнулся и поклонился, причем щелкнул шпорами и брякнул колечками сабли.

— Вам угодно было вчера сказать, что вы желаете иметь полосатого котенка с большими ушами... вот я и достал-с. Слово — закон.— И он опять поклонился.

Котенок слабо пискнул и начал нюхать пол.

— Он голоден! — воскликнула Зинаида.— Вонифатий! Соня! принесите молока.

Горничная, в старом желтом платье с полинялым платочком на шее, вошла с блюдечком молока в руке и поставила его перед котенком. Котенок дрогнул, зажмурился и принялся лакать.

— Какой у него розовый язычок,— заметила Зинаида, пригнув голову почти к полу и заглядывая ему сбоку под самый нос.

Котенок насытился и замурлыкал, жеманно перебирая лапками. Зинаида встала и, обернувшись к горничной, равнодушно промолвила:

— Унеси его.

— За котенка — ручку,— проговорил гусар, осклабясь и передернув всем своим могучим телом, туго затянутым в новый мундир.

— Обе,— возразила Зинаида и протянула к нему руки. Пока он целовал их, она смотрела на меня через плечо.

Я стоял неподвижно на одном месте и не знал — засмеяться ли мне, сказать ли что-нибудь, или так промолчать. Вдруг, сквозь раскрытую дверь передней, мне бросилась в глаза фигура нашего лакея Федора. Он делал мне знаки. Я машинально вышел к нему.

— Что ты? — спросил я.

— Маменька прислали за вами,— проговорил он шепотом.— Оне гневаются, что вы с ответом не ворочаетесь.

— Да разве я давно здесь?

— Час с лишком.

— Час с лишком! — повторил я невольно и, вернув-

шись в гостиную, начал раскланиваться и шаркать ногами.

— Куда вы? — спросила меня княжна, взглянув из-за гусара.

— Мне нужно домой-с. Так я скажу,— прибавил я, обращаясь к старухе,— что вы пожалуете к нам во втором часу.

— Так и скажите, батюшка.

Княгиня торопливо достала табакерку и так шумно понюхала, что я даже вздрогнул.

— Так и скажите,— повторила она, слезливо моргая и кряхтя.

Я еще раз поклонился, повернулся и вышел из комнаты с тем чувством неловкости в спине, которое ощущает очень молодой человек, когда он знает, что ему глядят вслед.

— Смотрите же, мсьё Вольдемар, заходите к нам,— крикнула Зинаида и опять рассмеялась.

«Что это она все смеется?» — думал я, возвращаясь домой в сопровождении Федора, который ничего мне не говорил, но двигался за мной неодобрительно. Матушка меня побранила и удивилась: что я мог так долго делать у этой княгини? Я ничего не отвечал ей и отправился к себе в комнату. Мне вдруг стало очень грустно... Я силился не плакать... Я ревновал к гусару.

V

Княгиня, по обещанию, навестила матушку и не понравилась ей. Я не присутствовал при их свидании, но за столом матушка рассказывала отцу, что эта княгиня Засекина ей кажется une femme très vulgaire [1], что она очень ей надоела своими просьбами ходатайствовать за нее у князя Сергия, что у ней всё какие-то тяжбы и дела — des vilaines affaires d'argent [2] — и что она должна быть великая кляузница. Матушка, однако же, прибавила, что она позвала ее с дочерью на завтрашний день обедать (услыхав слово «с дочерью», я уткнул нос в тарелку),— потому что она все-таки соседка, и с именем. На это отец объявил матушке, что он теперь припоминает, какая это госпожа; что он в молодости знал покойного князя Засекина,

---

[1] Женщиной очень вульгарной (*франц.*).

[2] Гадкие денежные дела (*франц.*).

отлично воспитанного, но пустого и вздорного человека; что его в обществе звали «le Parisien» [1], по причине его долгого житья в Париже; что он был очень богат, но проиграл все свое состояние — и неизвестно почему, чуть ли не из-за денег,— впрочем, он бы мог лучше выбрать,— прибавил отец и холодно улыбнулся,— женился на дочери какого-то приказного, а женившись, пустился в спекуляции и разорился окончательно.

— Как бы она денег взаймы не попросила,— заметила матушка.

— Это весьма возможно,— спокойно промолвил отец.— Говорит она по-французски?

— Очень плохо.

— Гм. Впрочем, это все равно. Ты мне, кажется, сказала, что ты и дочь ее позвала; меня кто-то уверял, что она очень милая и образованная девушка.

— А! Стало быть, она не в мать.

— И не в отца,— возразил отец.— Тот был тоже образован, да глуп.

Матушка вздохнула и задумалась. Отец умолк. Мне было очень неловко в течение этого разговора.

После обеда я отправился в сад, но без ружья. Я дал было себе слово не подходить к «засекинскому саду», но неотразимая сила влекла меня туда — и недаром. Не успел я приблизиться к забору, как увидел Зинаиду. На этот раз она была одна. Она держала в руках книжку и медленно шла по дорожке. Она меня не замечала.

Я чуть-чуть не пропустил ее; но вдруг спохватился и кашлянул.

Она обернулась, но не остановилась, отвела рукою широкую голубую ленту своей круглой соломенной шляпы, посмотрела на меня, тихонько улыбнулась и опять устремила глаза в книжку.

Я снял фуражку и, помявшись немного на месте, пошел прочь с тяжелым сердцем. «Que suis-je pour elle?» [2] — подумал я (бог знает почему) по-французски.

Знакомые шаги раздались за мною: я оглянулся — ко мне своей быстрой и легкой походкой шел отец.

— Это княжна? — спросил он меня.

— Княжна.

— Разве ты ее знаешь?

---

[1] «Парижанин» (*франц.*).

[2] Что я для нее? (*франц.*).

— Я ее видел сегодня утром у княгини.

Отец остановился и, круто повернувшись на каблуках, пошел назад. Поравнявшись с Зинаидой, он вежливо ей поклонился. Она также ему поклонилась, не без некоторого изумления на лице, и опустила книгу. Я видел, как она провожала его глазами. Мой отец всегда одевался очень изящно, своеобразно и просто; но никогда его фигура не показалась мне более стройной, никогда его серая шляпа не сидела красивее на его едва поредевших кудрях.

Я направился было к Зинаиде, но она даже не взглянула на меня, снова приподняла книгу и удалилась.

VI

Целый вечер и следующее утро я провел в каком-то унылом онемении. Помнится, я попытался работать и взялся за Кайданова — но напрасно мелькали передо мною разгонистые строчки и страницы знаменитого учебника. Десять раз сряду прочел я слова: «Юлий Цезарь отличался воинской отвагой» — не понял ничего и бросил книгу. Перед обедом я опять напомадился и опять надел сюртучок и галстук.

— Это зачем? — спросила матушка.— Ты еще не студент, и бог знает, выдержишь ли ты экзамен. Да и давно ли тебе сшили куртку? Не бросать же ее!

— Гости будут,— прошептал я почти с отчаянием.

— Вот вздор! какие это гости!

Надо было покориться. Я заменил сюртучок курткой, но галстука не снял. Княгиня с дочерью явилась за полчаса до обеда; старуха сверх зеленого, уже знакомого мне платья накинула желтую шаль и надела старомодный чепец с лентами огненного цвета. Она тотчас заговорила о своих векселях, вздыхала, жаловалась на свою бедность, «канючила», но нисколько не чинилась: так же шумно нюхала табак, так же свободно поворачивалась и ерзала на стуле. Ей как будто и в голову не входило, что она княгиня. Зато Зинаида держала себя очень строго, почти надменно, настоящей княжной. На лице ее появилась холодная неподвижность и важность — и я не узнавал ее, не узнавал ее взглядов, ее улыбки, хотя и в этом новом виде она мне казалась прекрасной. На ней было легкое барежевое[1] платье с бледно-синими разводами;

[1] Бар́еж — легкая, прозрачная ткань.

волосы ее падали длинными локонами вдоль щек — на английский манер; эта прическа шла к холодному выражению ее лица. Отец мой сидел возле нее во время обеда и со свойственной ему изящной и спокойной вежливостью занимал свою соседку. Он изредка взглядывал на нее — и она изредка на него взглядывала, да так странно, почти враждебно. Разговор у них шел по-французски; меня, помнится, удивила чистота Зинаидина произношения. Княгиня, во время стола, по-прежнему ничем не стеснялась, много ела и хвалила кушанья. Матушка, видимо, ею тяготилась и отвечала ей с каким-то грустным пренебрежением; отец изредка чуть-чуть морщил брови. Зинаида также не понравилась матушке.

— Это какая-то гордячка,— говорила она на следующий день.— И подумаешь — чего гордиться — avec sa mine de grisette! [1]

— Ты, видно, не видала гризеток,— заметил ей отец.

— И слава богу!

— Разумеется, слава богу... только как же ты можешь судить о них?

На меня Зинаида не обращала решительно никакого внимания. Скоро после обеда княгиня стала прощаться.

— Буду надеяться на ваше покровительство, Марья Николаевна и Петр Васильич,— сказала она нараспев матушке и отцу.— Что делать! Были времена, да прошли. Вот и я — сиятельная,— прибавила она с неприятным смехом,— да что за честь, коли нечего есть.

Отец почтительно ей поклонился и проводил ее до двери передней. Я стоял тут же в своей куцей куртке и глядел на пол, словно к смерти приговоренный. Обращение Зинаиды со мной меня окончательно убило. Каково же было мое удивление, когда, проходя мимо меня, она скороговоркой и с прежним ласковым выражением в глазах шепнула мне:

— Приходите к нам в восемь часов, слышите, непременно...

Я только развел руками — но она уже удалилась, накинув на голову белый шарф.

VII

Ровно в восемь часов я в сюртуке и с приподнятым на голове коком входил в переднюю флигелька, где жила

[1] С повадкой гризетки (*франц.*).

княгиня. Старик слуга угрюмо посмотрел на меня и неохотно поднялся с лавки. В гостиной раздавались веселые голоса. Я отворил дверь и отступил в изумлении. Посреди комнаты, на стуле, стояла княжна и держала перед собой мужскую шляпу; вокруг стула толпилось пятеро мужчин. Они старались запустить руки в шляпу, а она поднимала ее кверху и сильно встряхивала ею. Увидевши меня, она вскрикнула:

— Постойте, постойте! новый гость, надо и ему дать билет,— и, легко соскочив со стула, взяла меня за обшлаг сюртука.— Пойдемте же,— сказала она,— что вы стоите? Messieurs [1], позвольте вас познакомить: это мсьё Вольдемар, сын нашего соседа. А это,— прибавила она, обращаясь ко мне и указывая поочередно на гостей,— граф Малевский, доктор Лушин, поэт Майданов, отставной капитан Нирмацкий и Беловзоров, гусар, которого вы уже видели. Прошу любить да жаловать.

Я до того сконфузился, что даже не поклонился никому; в докторе Лушине я узнал того самого черномазого господина, который так безжалостно меня пристыдил в саду; остальные были мне незнакомы.

— Граф! — продолжала Зинаида,— напишите мсьё Вольдемару билет.

— Это несправедливо,— возразил с легким польским акцентом граф, очень красивый и щегольски одетый брюнет, с выразительными карими глазами, узким белым носиком и тонкими усиками над крошечным ртом.— Они не играли с нами в фанты.

— Несправедливо,— повторили Беловзоров и господин, названный отставным капитаном, человек лет сорока, рябой до безобразия, курчавый, как арап, сутуловатый, кривоногий и одетый в военный сюртук без эполет, нараспашку.

— Пишите билет, говорят вам,— повторила княжна.— Это что за бунт? Мсьё Вольдемар с нами в первый раз, и сегодня для него закон не писан. Нечего ворчать, пишите, я так хочу.

Граф пожал плечами, но наклонил покорно голову, взял перо в белую, перстнями украшенную руку, оторвал клочок бумаги и стал писать на нем.

— По крайней мере позвольте объяснить господину Вольдемару, в чем дело,— начал насмешливым голосом

---

[1] Господа (*франц.*).

Лушин,— а то он совсем растерялся. Видите ли, молодой человек, мы играем в фанты; княжна подверглась штрафу, и тот, кому вынется счастливый билет, будет иметь право поцеловать у ней ручку. Поняли ли вы, что я вам сказал?

Я только взглянул на него и продолжал стоять как отуманенный, а княжна снова вскочила на стул и снова принялась встряхивать шляпой. Все к ней потянулись — и я за другими.

— Майданов,— сказала княжна высокому молодому человеку с худощавым лицом, маленькими, слепыми глазками и чрезвычайно длинными черными волосами,— вы, как поэт, должны быть великодушны и уступить ваш билет мсьё Вольдемару, так, чтобы у него было два шанса вместо одного.

Но Майданов отрицательно покачал головой и взмахнул волосами. Я после всех опустил руку в шляпу, взял и развернул билет... Господи! что сталось со мною, когда я увидал на нем слово: поцелуй!

— Поцелуй! — вскрикнул я невольно.

— Браво! он выиграл,— подхватила княжна.— Как я рада! — Она сошла со стула и так ясно и сладко заглянула мне в глаза, что у меня сердце покатилось.— А вы рады? — спросила она меня.

— Я?..— пролепетал я.

— Продайте мне свой билет,— брякнул вдруг над самым моим ухом Беловзоров.— Я вам сто рублей дам.

Я отвечал гусару таким негодующим взором, что Зинаида захлопала в ладоши, а Лушин воскликнул: молодец!

— Но,— продолжал он,— я, как церемониймейстер, обязан наблюдать за исполнением всех правил. Мсьё Вольдемар, опуститесь на одно колено. Так у нас заведено.

Зинаида стала передо мной, наклонила немного голову набок, как бы для того, чтобы лучше рассмотреть меня, и с важностью протянула мне руку. У меня помутилось в глазах; я хотел было опуститься на одно колено, упал на оба — и так неловко прикоснулся губами к пальцам Зинаиды, что слегка оцарапал себе конец носа ее ногтем.

— Добре! — закричал Лушин и помог мне встать.

Игра в фанты продолжалась. Зинаида посадила меня возле себя. Каких ни придумывала она штрафов! Ей при-

шлось, между прочим, представлять «статую» — и она в пьедестал себе выбрала безобразного Нирмацкого, велела ему лечь ничком, да еще уткнуть лицо в грудь. Хохот не умолкал ни на мгновенье. Мне, уединенно и трезво воспитанному мальчику, выросшему в барском степенном доме, весь этот шум и гам, эта бесцеремонная, почти буйная веселость, эти небывалые сношения с незнакомыми людьми так и бросились в голову. Я просто опьянел, как от вина. Я стал хохотать и болтать громче других, так что даже старая княгиня, сидевшая в соседней комнате с каким-то приказным от Иверских ворот, позванным для совещания, вышла посмотреть на меня. Но я чувствовал себя до такой степени счастливым, что, как говорится, в ус не дул и в грош не ставил ничьих насмешек и ничьих косых взглядов. Зинаида продолжала оказывать мне предпочтение и не отпускала меня от себя. В одном штрафе мне довелось сидеть с ней рядом, накрывшись одним и тем же шелковым платком: я должен был сказать ей *свой секрет*. Помню я, как наши обе головы вдруг очутились в душной, полупрозрачной, пахучей мгле, как в этой мгле близко и мягко светились ее глаза и горячо дышали раскрытые губы, и зубы виднелись, и концы ее волос меня щекотали и жгли. Я молчал. Она улыбалась таинственно и лукаво и, наконец, шепнула мне: «Ну, что же?», а я только краснел и смеялся, и отворачивался, и едва переводил дух. Фанты наскучили нам,— мы стали играть в веревочку. Боже мой! какой я почувствовал восторг, когда, зазевавшись, получил от ней сильный и резкий удар по пальцам, и как потом я нарочно старался показывать вид, что зазёвываюсь, а она дразнила меня и не трогала подставляемых рук!

Да то ли мы еще проделывали в течение этого вечера! Мы и на фортепьяно играли, и пели, и танцевали, и представляли цыганский табор. Нирмацкого одели медведем и напоили водою с солью. Граф Малевский показывал нам разные карточные фокусы и кончил тем, что, перетасовавши карты, сдал себе в вист все козыри, с чем Лушин «имел честь его поздравить». Майданов декламировал нам отрывки из поэмы своей «Убийца» (дело происходило в самом разгаре романтизма), которую он намеревался издать в черной обертке с заглавными буквами кровавого цвета; у приказного от Иверских ворот украли с колен шапку и заставили его, в виде выкупа, проплясать казачка; старика Вонифатия нарядили в чепец, а

княжна надела мужскую шляпу... Всего не перечислишь. Один Беловзоров все больше держался в углу, нахмуренный и сердитый... Иногда глаза его наливались кровью, он весь краснел, и казалось, что вот-вот он сейчас ринется на всех нас и расшвыряет нас, как щепки, во все стороны; но княжна взглядывала на него, грозила ему пальцем, и он снова забивался в свой угол.

Мы, наконец, выбились из сил. Княгиня уж на что была, как сама выражалась, ходка — никакие крики ее не смущали,— однако и она почувствовала усталость и пожелала отдохнуть. В двенадцатом часу ночи подали ужин, состоявший из куска старого, сухого сыру и каких-то холодных пирожков с рубленой ветчиной, которые мне показались вкуснее всяких паштетов; вина была всего одна бутылка, и та какая-то странная: темная, с раздутым горлышком, и вино в ней отдавало розовой краской: впрочем, его никто не пил. Усталый и счастливый до изнеможения, я вышел из флигеля; на прощанье Зинаида мне крепко пожала руку и опять загадочно улыбнулась.

Ночь тяжело и сыро пахнула мне в разгоряченное лицо; казалось, готовилась гроза; черные тучи росли и ползли по небу, видимо меняя свои дымные очертания. Ветерок беспокойно содрогался в темных деревьях, и где-то далеко за небосклоном, словно про себя, ворчал гром сердито и глухо.

Через заднее крыльцо пробрался я в свою комнату. Дядька мой спал на полу, и мне пришлось перешагнуть через него; он проснулся, увидал меня и доложил, что матушка опять на меня рассердилась и опять хотела послать за мною, но что отец ее удержал. (Я никогда не ложился спать, не простившись с матушкой и не испросивши ее благословения.) Нечего было делать!

Я сказал дядьке, что разденусь и лягу сам,— и погасил свечу. Но я не разделся и не лег.

Я присел на стул и долго сидел как очарованный. То, что я ощущал, было так ново и так сладко... Я сидел, чуть-чуть озираясь и не шевелясь, медленно дышал и только по временам то молча смеялся, вспоминая, то внутренно холодел при мысли, что я влюблен, что вот она, вот эта любовь. Лицо Зинаиды тихо плыло передо мною во мраке — плыло и не проплывало; губы ее все так же загадочно улыбались, глаза глядели на меня немного сбоку, вопросительно, задумчиво и нежно... как в то мгно-

венье, когда я расстался с ней. Наконец, я встал, на цыпочках подошел к своей постели и осторожно, не раздеваясь, положил голову на подушку, как бы страшась резким движением потревожить то, чем я был переполнен...

Я лег, но даже глаз не закрыл. Скоро я заметил, что ко мне в комнату беспрестанно западали какие-то слабые отсветы. Я приподнялся и глянул в окно. Переплет его четко отделялся от таинственно и смутно белевших стекол. «Гроза»,— подумал я,— и точно была гроза, но она проходила очень далеко, так что и грома не было слышно; только на небе непрерывно вспыхивали неяркие, длинные, словно разветвленные молнии: они не столько вспыхивали, сколько трепетали и подергивались, как крыло умирающей птицы. Я встал, подошел к окну и простоял там до утра... Молнии не прекращались ни на мгновение; была, что называется в народе, *воробьиная* ночь. Я глядел на немое песчаное поле, на темную массу Нескучного сада, на желтоватые фасады далеких зданий, тоже как будто вздрагивавших при каждой слабой вспышке... Я глядел — и не мог оторваться; эти немые молнии, эти сдержанные блистания, казалось, отвечали тем немым и тайным порывам, которые вспыхивали также во мне. Утро стало заниматься; алыми пятнами выступила заря. С приближением солнца все бледнели и сокращались молнии: они вздрагивали всё реже и реже и исчезли наконец, затопленные отрезвляющим и несомнительным светом возникавшего дня...

И во мне исчезли мои молнии. Я почувствовал большую усталость и тишину... но образ Зинаиды продолжал носиться, торжествуя, над моею душой. Только он сам, этот образ, казался успокоенным: как полетевший лебедь — от болотных трав, отделился он от окружавших его других неблаговидных фигур, и я, засыпая, в последний раз припал к нему с прощальным и доверчивым обожанием...

О, кроткие чувства, мягкие звуки, доброта и утихание тронутой души, тающая радость первых умилений любви,— где вы, где вы?

VIII

На следующее утро, когда я сошел к чаю, матушка побранила меня — меньше, однако, чем я ожидал,— и заставила меня рассказать, как я провел накануне вечер.

Я отвечал ей в немногих словах, выпуская многие подробности и стараясь придать всему вид самый невинный.

— Все-таки они люди не comme il faut[1],— заметила матушка,— и тебе нечего к ним таскаться, вместо того чтоб готовиться к экзамену да заниматься.

Так как я знал, что заботы матушки о моих занятиях ограничатся этими немногими словами, то я и не почел нужным возражать ей; но после чаю отец меня взял под руку и, отправившись вместе со мною в сад, заставил меня рассказать все, что я видел у Засекиных.

Странное влияние имел на меня отец — и странные были наши отношения. Он почти не занимался моим воспитанием, но никогда не оскорблял меня; он уважал мою свободу — он даже был, если можно так выразиться, вежлив со мною... только он не допускал меня до себя. Я любил его, я любовался им, он казался мне образцом мужчины — и, боже мой, как бы я страстно к нему привязался, если б я постоянно не чувствовал его отклоняющей руки! Зато, когда он хотел, он умел почти мгновенно, одним словом, одним движением возбудить во мне неограниченное доверие к себе. Душа моя раскрывалась — я болтал с ним, как с разумным другом, как с снисходительным наставником... потом он так же внезапно покидал меня — и рука его опять отклоняла меня — ласково и мягко, но отклоняла.

На него находила иногда веселость, и тогда он готов был резвиться и шалить со мной, как мальчик (он любил всякое сильное телесное движение); раз — всего только раз! — он приласкал меня с такою нежностью, что я чуть не заплакал... Но и веселость его и нежность исчезали без следа — и то, что происходило между нами, не давало мне никаких надежд на будущее — точно я все это во сне видел. Бывало, стану я рассматривать его умное, красивое, светлое лицо... сердце мое задрожит, и все существо мое устремится к нему... он словно почувствует, что во мне происходит, мимоходом потреплет меня по щеке — и либо уйдет, либо займется чем-нибудь, либо вдруг весь застынет, как он один умел застывать, и я тотчас же сожмусь и тоже похолодею. Редкие припадки его расположения ко мне никогда не были вызваны моими безмолвными, но понятными мольбами: они приходили всегда

[1] Воспитанные (*франц.*).

неожиданно. Размышляя впоследствии о характере моего отца, я пришел к тому заключению, что ему было не до меня и не до семейной жизни; он любил другое и насладился этим другим вполне. «Сам бери, что можешь, а в руки не давайся; самому себе принадлежать — в этом вся штука жизни»,— сказал он мне однажды. В другой раз я в качестве молодого демократа пустился в его присутствии рассуждать о свободе (он в тот день был, как я это называл, «добрый»; тогда с ним можно было говорить о чем угодно).

— Свобода,— повторил он,— а знаешь ли ты, что может человеку дать свободу?

— Что?

— Воля, собственная воля, и власть она даст, которая лучше свободы. Умей хотеть — и будешь свободным, и командовать будешь.

Отец мой прежде всего и больше всего хотел жить — и жил... Быть может, он предчувствовал, что ему не придется долго пользоваться «штукой» жизни: он умер сорока двух лет.

Я подробно рассказал отцу мое посещение у Засекиных. Он полувнимательно, полурассеянно слушал меня, сидя на скамье и рисуя концом хлыстика на песке. Он изредка посмеивался, как-то светло и забавно поглядывал на меня и подзадоривал меня короткими вопросами и возражениями. Я сперва не решался даже выговорить имя Зинаиды, но не удержался и начал превозносить ее. Отец все продолжал посмеиваться. Потом он задумался, потянулся и встал.

Я вспомнил, что, выходя из дома, он велел оседлать себе лошадь. Он был отличный ездок — и умел, гораздо раньше г. Рери, укрощать самых диких лошадей.

— Я с тобой поеду, папаша? — спросил я его.

— Нет,— ответил он, и лицо его приняло обычное равнодушно-ласковое выражение.— Ступай один, коли хочешь; а кучеру скажи, что я не поеду.

Он повернулся ко мне спиной и быстро удалился. Я следил за ним глазами — он скрылся за воротами. Я видел, как его шляпа двигалась вдоль забора: он вошел к Засекиным.

Он остался у них не более часа, но тотчас же отправился в город и вернулся домой только к вечеру.

После обеда я сам пошел к Засекиным. В гостиной я застал одну старуху княгиню. Увидев меня, она почесала

себе в голове под чепцом концом спицы и вдруг спросила меня, могу ли я переписать ей одну просьбу.

— С удовольствием,— отвечал я и присел на кончик стула.

— Только смотрите покрупнее буквы ставьте,— промолвила княгиня, подавая мне измаранный лист,— да нельзя ли сегодня, батюшка?

— Сегодня же перепишу-с.

Дверь из соседней комнаты чуть-чуть отворилась — и в отверстии показалось лицо Зинаиды — бледное, задумчивое, с небрежно откинутыми назад волосами: она посмотрела на меня большими холодными глазами и тихо закрыла дверь.

— Зина, а Зина! — проговорила старуха.

Зинаида не откликнулась. Я унес просьбу старухи и целый вечер просидел над ней.

IX

Моя «страсть» началась с того дня. Я, помнится, почувствовал тогда нечто подобное тому, что должен почувствовать человек, поступивший на службу: я уже перестал быть просто молодым мальчиком; я был влюбленный. Я сказал, что с того дня началась моя страсть; я бы мог прибавить, что и страдания мои начались с того же самого дня. Я изнывал в отсутствии Зинаиды: ничего мне на ум не шло, все из рук валилось, я по целым дням напряженно думал о ней... Я изнывал... но в ее присутствии мне становилось не легче. Я ревновал, я сознавал свое ничтожество, я глупо дулся и глупо раболепствовал,— и все-таки непреодолимая сила влекла меня к ней — и я всякий раз с невольной дрожью счастья переступал порог ее комнаты. Зинаида тотчас же догадалась, что я в нее влюбился, да я и не думал скрываться; она потешалась моей страстью, дурачила, баловала и мучила меня. Сладко быть единственным источником, самовластной и безответной причиной величайших радостей и глубочайшего горя для другого — а я в руках Зинаиды был как мягкий воск. Впрочем, не я один влюбился в нее: все мужчины, посещавшие ее дом, были от ней без ума — и она их всех держала на привязи — у своих ног. Ее забавляло возбуждать в них то надежды, то опасения, вертеть ими по своей прихоти (это она называла: стукать людей друг о друга) — а они и не думали сопротивляться и охотно покоря-

лись ей. Во всем ее существе, живучем и красивом, была какая-то особенно обаятельная смесь хитрости и беспечности, искусственности и простоты, тишины и резвости; над всем, что она делала, говорила, над каждым ее движением носилась тонкая, легкая прелесть, во всем сказывалась своеобразная, играющая сила. И лицо ее беспрестанно менялось, играло тоже: оно выражало, почти в одно и то же время,— насмешливость, задумчивость и страстность. Разнообразнейшие чувства, легкие, быстрые, как тени облаков в солнечный ветреный день, перебегали то и дело по ее глазам и губам.

Каждый из ее поклонников был ей нужен. Беловзоров, которого она иногда называла «мой зверь», а иногда просто «мой»,— охотно кинулся бы за нее в огонь; не надеясь на свои умственные способности и прочие достоинства, он все предлагал ей жениться на ней, намекая на то, что другие только болтают. Майданов отвечал поэтическим струнам ее души: человек довольно холодный, как почти все сочинители, он напряженно уверял ее, а может быть, и себя, что он ее обожает, воспевал ее в нескончаемых стихах и читал их ей с каким-то и неестественным и искренним восторгом. Она и сочувствовала ему и чуть-чуть трунила над ним; она плохо ему верила и, наслушавшись его излияния, заставляла его читать Пушкина, чтобы, как она говорила, очистить воздух. Лушин, насмешливый, циническій на словах доктор, знал ее лучше всех — и любил ее больше всех, хотя бранил ее за глаза и в глаза. Она его уважала, но не спускала ему — и подчас с особенным, злорадным удовольствием давала ему чувствовать, что и он у ней в руках. «Я кокетка, я без сердца, я актерская натура,— сказала она ему однажды в моем присутствии,— а, хорошо! так подайте ж вашу руку, я воткну в нее булавку, вам будет стыдно этого молодого человека, вам будет больно, а все-таки вы, господин правдивый человек, извольте смеяться». Лушин покраснел, отворотился, закусил губы, но кончил тем, что подставил руку. Она его уколола, и он точно начал смеяться... и она смеялась, запуская довольно глубоко булавку и заглядывая ему в глаза, которыми он напрасно бегал по сторонам...

Хуже всего я понимал отношения, существовавшие между Зинаидой и графом Малевским. Он был хорош собою, ловок и умен, но что-то сомнительное, что-то фальшивое чудилось в нем даже мне, шестнадцатилетнему мальчику, и я дивился тому, что Зинаида этого не заме-

чает. А может быть, она и замечала эту фальшь и не гнушалась ею. Неправильное воспитание, странные знакомства и привычки, постоянное присутствие матери, бедность и беспорядок в доме, все, начиная с самой свободы, которою пользовалась молодая девушка, с сознания ее превосходства над окружавшими ее людьми, развило в ней какую-то полупрезрительную небрежность и невзыскательность. Бывало, что ни случится — придет ли Вонифатий доложить, что сахару нет, выйдет ли наружу какая-нибудь дрянная сплетня, поссорятся ли гости,— она только кудрями встряхнет, скажет: пустяки! — и горя ей мало.

Зато у меня, бывало, вся кровь загоралась, когда Малевский подойдет к ней, хитро покачиваясь, как лиса, изящно обопрется на спинку ее стула и начнет шептать ей на ухо с самодовольной и заискивающей улыбочкой,— а она скрестит руки на груди, внимательно глядит на него, и сама улыбается и качает головой.

— Что вам за охота принимать господина Малевского? — спросил я ее однажды.

— А у него такие прекрасные усики,— отвечала она.— Да это не по вашей части.

— Вы не думаете ли, что я его люблю,— сказала она мне в другой раз.— Нет; я таких любить не могу, на которых мне приходится глядеть сверху вниз. Мне надобно такого, который сам бы меня сломил... Да я на такого не наткнусь, бог милостив! Не попадусь никому в лапы, ни-ни!

— Стало быть, вы никогда не полюбите?

— А вас-то? Разве я вас не люблю? — сказала она и ударила меня по носу концом перчатки.

Да, Зинаида очень потешалась надо мною. В течение трех недель я ее видел каждый день — и чего, чего она со мной не выделывала! К нам она ходила редко, и я об этом не сожалел: в нашем доме она превращалась в барышню, в княжну,— и я ее дичился. Я боялся выдать себя перед матушкой; она очень не благоволила к Зинаиде и неприязненно наблюдала за нами. Отца я не так боялся: он словно не замечал меня, а с ней говорил мало, но както особенно умно и значительно. Я перестал работать, читать — я даже перестал гулять по окрестностям, ездить верхом. Как привязанный за ножку жук, я кружился постоянно вокруг любимого флигелька: казалось, остался бы там навсегда... но это было невозможно: матушка

ворчала на меня, иногда сама Зинаида меня прогоняла. Тогда я запирался у себя в комнате или уходил на самый конец сада, взбирался на уцелевшую развалину высокой каменной оранжереи и, свесив ноги со стены, выходившей на дорогу, сидел по часам и глядел, глядел, ничего не видя. Возле меня, по запыленной крапиве, лениво перепархивали белые бабочки; бойкий воробей садился недалеко на полусломанном красном кирпиче и раздражительно чирикал, беспрестанно поворачиваясь всем телом и распустив хвостик; все еще недоверчивые вороны изредка каркали, сидя высоко, высоко на обнаженной макушке березы; солнце и ветер тихо играли в ее жидких ветках; звон колоколов Донского монастыря прилетал по временам, спокойный и унылый — а я сидел, глядел, слушал — и наполнялся весь каким-то безымянным ощущением, в котором было все: и грусть, и радость, и предчувствие будущего, и желание, и страх жизни. Но я тогда ничего этого не понимал и ничего бы не сумел назвать изо всего того, что во мне бродило,— или бы назвал это все одним именем — именем Зинаиды.

А Зинаида все играла со мной, как кошка с мышью. Она то кокетничала со мной — и я волновался и таял,— то она вдруг меня отталкивала — и я не смел приблизиться к ней, не смел взглянуть на нее.

Помнится, она несколько дней сряду была очень холодна со мною, я совсем заробел и, трусливо забегая к ним во флигель, старался держаться около старухи княгини, несмотря на то что она очень бранилась и кричала именно в это время: ее вексельные дела шли плохо, и она уже имела два объяснения с квартальным.

Однажды я проходил в саду мимо известного забора — и увидел Зинаиду: подпершись обеими руками, она сидела на траве и не шевелилась. Я хотел было осторожно удалиться, но она внезапно подняла голову и сделала мне повелительный знак. Я замер на месте: я не понял ее с первого раза. Она повторила свой знак. Я немедленно перескочил через забор и радостно подбежал к ней; но она остановила меня взглядом и указала мне на дорожку в двух шагах от нее. В смущении, не зная, что делать, я стал на колени на краю дорожки. Она до того была бледна, такая горькая печаль, такая глубокая усталость сказывалась в каждой ее черте, что сердце у меня сжалось, и я невольно пробормотал:

— Что с вами?

Зинаида протянула руку, сорвала какую-то травку, укусила ее и бросила ее прочь, подальше.

— Вы меня очень любите? — спросила она наконец.— Да?

Я ничего не отвечал — да и зачем мне было отвечать?

— Да,— повторила она, по-прежнему глядя на меня.— Это так. Такие же глаза,— прибавила она, задумалась и закрыла лицо руками.— Все мне опротивело,— прошептала она,— ушла бы я на край света, не могу я это вынести, не могу сладить... И что ждет меня впереди!.. Ах, мне тяжело... боже мой, как тяжело!

— Отчего? — спросил я робко.

Зинаида мне не отвечала и только пожала плечами. Я продолжал стоять на коленях и с глубоким унынием глядел на нее. Каждое ее слово так и врезалось мне в сердце. В это мгновенье я, кажется, охотно бы отдал жизнь свою, лишь бы она не горевала. Я глядел на нее,— и, все-таки не понимая, отчего ей было тяжело, живо воображал себе, как она вдруг, в припадке неудержимой печали, ушла в сад — и упала на землю, как подкошенная. Кругом было и светло и зелено; ветер шелестил в листьях деревьев, изредка качая длинную ветку малины над головой Зинаиды. Где-то ворковали голуби — и пчелы жужжали, низко перелетывая по редкой траве. Сверху ласково синело небо — а мне было так грустно...

— Прочтите мне какие-нибудь стихи,— промолвила вполголоса Зинаида и оперлась на локоть.— Я люблю, когда вы стихи читаете. Вы поете, но это ничего, это молодо. Прочтите мне «На холмах Грузии». Только сядьте сперва.

Я сел и прочел «На холмах Грузии».

— «Что не любить оно не может»,— повторила Зинаида.— Вот чем поэзия хороша: она говорит нам то, чего нет и что не только лучше того, что есть, но даже больше похоже на правду... Что не любить оно не может — и хотело бы, да не может! — Она опять умолкла и вдруг встрепенулась и встала.— Пойдемте. У мамаши сидит Майданов; он мне принес свою поэму, а я его оставила. Он также огорчен теперь... что делать! вы когда-нибудь узнаете... только не сердитесь на меня!

Зинаида торопливо пожала мне руку и побежала вперед. Мы вернулись во флигель. Майданов принялся читать нам своего только что отпечатанного «Убийцу», но я не слушал его. Он выкрикивал нараспев свои четырех-

стопные ямбы, рифмы чередовались и звенели, как бубенчики, пусто и громко, а я все глядел на Зинаиду и все старался понять значение ее последних слов.

Иль, может быть, соперник тайный
Тебя нежданно покорил? —

воскликнул вдруг в нос Майданов — и мои глаза и глаза Зинаиды встретились. Она опустила их и слегка покраснела. Я увидал, что она покраснела, и похолодел от испуга. Я уже прежде ревновал к ней, но только в это мгновение мысль о том, что она полюбила, сверкнула у меня в голове: «Боже мой! она полюбила!»

X

Настоящие мои терзания начались с того мгновения. Я ломал себе голову, раздумывал, передумывал — и неотступно, хотя по мере возможности скрытно, наблюдал за Зинаидой. В ней произошла перемена — это было очевидно. Она уходила гулять одна и гуляла долго. Иногда она гостям не показывалась; по целым часам сидела у себя в комнате. Прежде этого за ней не водилось. Я вдруг сделался — или мне показалось, что я сделался,— чрезвычайно проницателен. «Не он ли? или уж не он ли?» — спрашивал я самого себя, тревожно перебегая мыслью от одного ее поклонника к другому. Граф Малевский (хоть я и стыдился за Зинаиду в этом сознаться) втайне казался мне опаснее других.

Моя наблюдательность не видала дальше своего носа, и моя скрытность, вероятно, никого не обманула; по крайней мере доктор Лушин скоро меня раскусил. Впрочем, и он изменился в последнее время: он похудел, смеялся так же часто, но как-то глуше, злее и короче,— невольная, нервическая раздражительность сменила в нем прежнюю легкую иронию и напущенный цинизм.

— Что вы это беспрестанно таскаетесь сюда, молодой человек,— сказал он мне однажды, оставшись со мною в гостиной Засекиных. (Княжна еще не возвращалась с прогулки, а крикливый голос княгини раздавался в мезонине: она бранилась со своей горничной.) — Вам бы надобно учиться, работать — пока вы молоды,— а вы что делаете?

— Вы не можете знать, работаю ли я дома,— возразил я ему не без надменности, но и не без замешательства.

— Какая уж тут работа! у вас не то на уме. Ну, я не спорю... в ваши годы это в порядке вещей. Да выбор-то ваш больно неудачен. Разве вы не видите, что это за дом?

— Я вас не понимаю,— заметил я.

— Не понимаете? тем хуже для вас. Я считаю долгом предостеречь вас. Нашему брату, старому холостяку, можно сюда ходить: что нам делается? мы народ прокаленный, нас ничем не проберешь; а у вас кожица еще нежная; здесь для вас воздух вредный — поверьте мне, заразиться можете.

— Как так?

— Да так же. Разве вы здоровы теперь? Разве вы в нормальном положении? Разве то, что вы чувствуете,— полезно вам, хорошо?

— Да что же я чувствую? — сказал я, а сам в душе сознавал, что доктор прав.

— Эх, молодой человек, молодой человек,— продолжал доктор с таким выражением, как будто в этих двух словах заключалось что-то для меня весьма обидное,— где вам хитрить, ведь у вас еще, слава богу, что на душе, то и на лице. А впрочем, что толковать? я бы и сам сюда не ходил, если б (доктор стиснул зубы)... если б я не был такой же чудак. Только вот чему я удивляюсь: как вы, с вашим умом, не видите, что делается вокруг вас?

— А что же такое делается? — подхватил я и весь насторожился.

Доктор посмотрел на меня с каким-то насмешливым сожалением.

— Хорош же и я,— промолвил он, словно про себя,— очень нужно это ему говорить. Одним словом,— прибавил он, возвысив голос,— повторяю вам: здешняя атмосфера вам не годится. Вам здесь приятно, да мало чего нет! и в оранжерее тоже приятно пахнет — да жить в ней нельзя. Эй! послушайтесь, возьмитесь опять за Кайданова!

Княгиня вошла и начала жаловаться доктору на зубную боль. Потом явилась Зинаида.

— Вот,— прибавила княгиня,— господин доктор, побраните-ка ее. Целый день пьет воду со льдом; разве ей это здорово, при ее слабой груди!

— Зачем вы это делаете? — спросил Лушин.

— А что из этого может выйти?

— Что? вы можете простудиться и умереть.

— В самом деле? Неужели? Ну что ж — туда и дорога!

— Вот как! — проворчал доктор.

Княгиня ушла.

— Вот как,— повторила Зинаида.— Разве жить так весело? оглянитесь-ка кругом... Что — хорошо? Или вы думаете, что я этого не понимаю, не чувствую? Мне доставляет удовольствие — пить воду со льдом, и вы серьезно можете уверять меня, что такая жизнь стоит того, чтоб не рискнуть ею за миг удовольствия,— я уже о счастии не говорю.

— Ну да,— заметил Лушин,— каприз и независимость... Эти два слова вас исчерпывают: вся ваша натура в этих двух словах.

Зинаида нервически засмеялась.

— Опоздали почтой, любезный доктор. Наблюдаете плохо; отстаете. Наденьте очки. Не до капризов мне теперь; вас дурачить, себя дурачить... куда как весело! — а что до независимости... Мсьё Вольдемар,— прибавила вдруг Зинаида и топнула ножкой,— не делайте меланхолической физиономии. Я терпеть не могу, когда обо мне сожалеют.— Она быстро удалилась.

— Вредна, вредна вам здешняя атмосфера, молодой человек,— еще раз сказал мне Лушин.

XI

Вечером того же дня собрались у Засекиных обычные гости; я был в их числе.

Разговор зашел о поэме Майданова; Зинаида чистосердечно ее хвалила.

— Но знаете ли что? — сказала она ему,— если б я была поэтом,— я бы другие брала сюжеты. Может быть, все это вздор,— но мне иногда приходят в голову странные мысли, особенно когда я не сплю, перед утром, когда небо начинает становиться и розовым и серым. Я бы, например... Вы не будете надо мной смеяться?

— Нет! нет! — воскликнули мы все в один голос.

— Я бы представила,— продолжала она, скрестив руки на груди и устремив глаза в сторону,— целое общество молодых девушек, ночью, в большой лодке — на тихой реке. Луна светит, а они все в белом и в венках из белых цветов, и поют, знаете, что-нибудь вроде гимна.

— Понимаю, понимаю, продолжайте,— значительно и мечтательно промолвил Майданов.

— Вдруг — шум, хохот, факелы, бубны на берегу...

Это толпа вакханок бежит с песнями, с криком. Уж тут ваше дело нарисовать картину, господин поэт... только я бы хотела, чтобы факелы были красны и очень бы дымились и чтобы глаза у вакханок блестели под венками, а венки должны быть темные. Не забудьте также тигровых кож и чаш — и золота, много золота.

— Где же должно быть золото? — спросил Майданов, откидывая назад свои плоские волосы и расширяя ноздри.

— Где? на плечах, на руках, на ногах, везде. Говорят, в древности женщины золотые кольца носили на щиколотках. Вакханки зовут к себе девушек в лодке. Девушки перестали петь свой гимн — они не могут его продолжать,— но они не шевелятся: река подносит их к берегу. И вот вдруг одна из них тихо поднимается... Это надо хорошо описать: как она тихо встает при лунном свете и как ее подруги пугаются... Она перешагнула край лодки, вакханки ее окружили, умчали в ночь, в темноту... Представьте тут дым клубами, и все смешалось. Только слышится их визг, да венок ее остался на берегу.

Зинаида умолкла. («О! она полюбила!» — подумал я опять.)

— И только? — спросил Майданов.

— Только,— отвечала она.

— Это не может быть сюжетом для целой поэмы,— важно заметил он,— но для лирического стихотворения я вашей мыслию воспользуюсь.

— В романтическом роде? — спросил Малевский.

— Конечно, в романтическом роде, байроновском.

— А по-моему, Гюго лучше Байрона,— небрежно промолвил молодой граф,— интереснее.

— Гюго — писатель первоклассный,— возразил Майданов,— и мой приятель Тонкошеев, в своем испанском романе «Эль-Тровадор»...

— Ах, это та книга с опрокинутыми вопросительными знаками? — перебила Зинаида.

— Да. Это так принято у испанцев. Я хотел сказать, что Тонкошеев...

— Ну! вы опять заспорите о классицизме и романтизме,— вторично перебила его Зинаида.— Давайте лучше играть...

— В фанты? — подхватил Лушин.

— Нет, в фанты скучно; а в сравненья. (Эту игру придумала сама Зинаида: назывался какой-нибудь предмет,

всякий старался сравнить его с чем-нибудь, и тот, кто подбирал лучшее сравнение, получал приз.)

Она подошла к окну. Солнце только что село: на небе высоко стояли длинные красные облака.

— На что похожи эти облака? — спросила Зинаида и, не дожидаясь нашего ответа, сказала: — Я нахожу, что они похожи на те пурпуровые паруса, которые были на золотом корабле у Клеопатры, когда она ехала навстречу Антонию. Помните, Майданов, вы недавно мне об этом рассказывали?

Все мы, как Полоний в «Гамлете», решили, что облака напоминали именно эти паруса и что лучшего сравнения никто из нас не приищет.

— А сколько лет было тогда Антонию? — спросила Зинаида.

— Уж, наверное, был молодой человек,— заметил Малевский.

— Да, молодой,— уверительно подтвердил Майданов.

— Извините! — воскликнул Лушин,— ему было за сорок лет.

— За сорок лет,— повторила Зинаида, взглянув на него быстрым взглядом.

Я скоро ушел домой. «Она полюбила,— невольно шептали мои губы.— Но кого?»

XII

Дни проходили. Зинаида становилась все странней, все непонятней. Однажды я вошел к ней и увидел ее сидящей на соломенном стуле, с головой, прижатой к острому краю стола. Она выпрямилась... все лицо ее было облито слезами.

— А! вы! — сказала она с жестокой усмешкой.— Подите-ка сюда.

Я подошел к ней: она положила мне руку на голову и, внезапно ухватив меня за волосы, начала крутить их.

— Больно...— проговорил я наконец.

— А! больно! а мне не больно? не больно? — повторила она.

— Ай! — вскрикнула она вдруг, увидав, что выдернула у меня маленькую прядь волос.— Что это я сделала? Бедный мсьё Вольдемар!

Она осторожно расправила вырванные волосы, обмотала их вокруг пальца и свернула их в колечко.

— Я ваши волосы к себе в медальон положу и носить их буду,— сказала она, а у самой на глазах всё блестели слезы.— Это вас, быть может, утешит немного... а теперь прощайте.

Я вернулся домой и застал там неприятность. У матушки происходило объяснение с отцом: она в чем-то упрекала его, а он, по своему обыкновению, холодно и вежливо отмалчивался — и скоро уехал. Я не мог слышать, о чем говорила матушка, да и мне было не до того; помню только, что по окончании объяснения она велела позвать меня к себе в кабинет и с большим неудовольствием отозвалась о моих частых посещениях у княгини, которая, по ее словам была une femme capable de tout[1]. Я подошел к ней к ручке (это я делал всегда, когда хотел прекратить разговор) и ушел к себе. Слезы Зинаиды меня совершенно сбили с толку — я решительно не знал, на какой мысли остановиться, и сам готов был плакать: я все-таки был ребенком, несмотря на мои шестнадцать лет. Уже я не думал более о Малевском, хотя Беловзоров с каждым днем становился все грознее и грознее и глядел на увертливого графа, как волк на барана; да я ни о чем и ни о ком не думал. Я терялся в соображениях и все искал уединенных мест. Особенно полюбил я развалины оранжереи. Взберусь, бывало, на высокую стену, сяду и сижу там таким несчастным, одиноким и грустным юношей, что мне самому становилось себя жалко,— и так мне были отрадны эти горестные ощущения, так упивался я ими!..

Вот однажды сижу я на стене, гляжу вдаль и слушаю колокольный звон... вдруг что-то пробежало по мне — ветерок не ветерок и не дрожь, а словно дуновение, словно ощущение чьей-то близости... Я опустил глаза. Внизу, по дороге, в легком сереньком платье, с розовым зонтиком на плече, поспешно шла Зинаида. Она увидела меня, остановилась и, откинув край соломенной шляпы, подняла на меня свои бархатные глаза.

— Что это вы делаете там, на такой вышине? — спросила она меня с какой-то странной улыбкой.— Вот,— продолжала она,— вы всё уверяете, что вы меня любите,— спрыгните ко мне на дорогу, если вы действительно любите меня.

Не успела Зинаида произнести эти слова, как я уже летел вниз, точно кто подтолкнул меня сзади. В стене

[1] Женщиной, способной на что угодно (*франц.*).

было около двух сажен вышины. Я пришелся о землю ногами, но толчок был так силен, что я не мог удержаться: я упал и на мгновенье лишился сознанья. Когда я пришел в себя, я, не раскрывая глаз, почувствовал возле себя Зинаиду.

— Милый мой мальчик,— говорила она, наклонясь надо мною,— и в голосе ее звучала встревоженная нежность,— как мог ты это сделать, как мог ты послушаться... ведь я люблю тебя... встань.

Ее грудь дышала возле моей, ее руки прикасались моей головы, и вдруг — что сталось со мной тогда! — ее мягкие, свежие губы начали покрывать все мое лицо поцелуями... они коснулись моих губ... Но тут Зинаида, вероятно, догадалась, по выражению моего лица, что я уже пришел в себя, хотя я все глаз не раскрывал,— и, быстро приподнявшись, промолвила:

— Ну вставайте, шалун, безумный; что это вы лежите в пыли?

Я поднялся.

— Подайте мне мой зонтик,— сказала Зинаида,— вишь, я его куда бросила; да не смотрите на меня так... что за глупости? вы не ушиблись? чай, обожглись в крапиве? Говорят вам, не смотрите на меня... Да он ничего не понимает, не отвечает,— прибавила она, словно про себя.— Ступайте домой, мсьё Вольдемар, почиститесь, да не смейте идти за мной — а то я рассержусь, и уже больше никогда...

Она не договорила своей речи и проворно удалилась, а я присел на дорогу... ноги меня не держали. Крапива обожгла мне руки, спина ныла, и голова кружилась; но чувство блаженства, которое я испытал тогда, уже не повторилось в моей жизни. Оно стояло сладкой болью во всех моих членах и разрешилось, наконец, восторженными прыжками и восклицаниями. Точно: я был еще ребенок.

XIII

Я так был весел и горд весь этот день, я так живо сохранял на моем лице ощущение Зинаидиных поцелуев, я с таким содроганием восторга вспоминал каждое ее слово, я так лелеял свое неожиданное счастие, что мне становилось даже страшно, не хотелось даже увидеть ее, виновницу этих новых ощущений. Мне казалось, что уже больше ничего нельзя требовать от судьбы, что теперь бы

следовало «взять, вздохнуть хорошенько в последний раз, да и умереть». Зато на следующий день, отправляясь во флигель, я чувствовал большое смущение, которое напрасно старался скрыть под личиною скромной развязности, приличной человеку, желающему дать знать, что он умеет сохранить тайну. Зинаида приняла меня очень просто, без всякого волнения, только погрозила мне пальцем и спросила: нет ли у меня синих пятен? Вся моя скромная развязность и таинственность исчезли мгновенно, а вместе с ними и смущение мое. Конечно, я ничего не ожидал особенного, но спокойствие Зинаиды меня точно холодной водой окатило. Я понял, что я дитя в ее глазах,— и мне стало очень тяжело! Зинаида ходила взад и вперед по комнате, всякий раз быстро улыбалась, как только взглядывала на меня; но мысли ее были далеко, я это ясно видел... «Заговорить самому о вчерашнем деле,— подумал я,— спросить ее, куда она так спешила, чтобы узнать окончательно...», но я только махнул рукой и присел в уголок.

Беловзоров вошел; я ему обрадовался.

— Не нашел я вам верховой лошади, смирной,— заговорил он суровым голосом.— Фрейтаг мне ручается за одну — да я не уверен. Боюсь.

— Чего же вы боитесь,— спросила Зинаида,— позвольте спросить?

— Чего? Ведь вы не умеете ездить. Сохрани бог, что случится! И что за фантазия пришла вам вдруг в голову?

— Ну, это мое дело, мсьё мой зверь. В таком случае я попрошу Петра Васильевича... (Моего отца звали Петром Васильевичем. Я удивился тому, что она так легко и свободно упомянула его имя, точно она была уверена в его готовности услужить ей.)

— Вот как,— возразил Беловзоров.— Вы это с ним хотите ездить?

— С ним или с другим — это для вас все равно. Только не с вами.

— Не со мной,— повторил Беловзоров.— Как хотите. Что ж? Я вам лошадь доставлю.

— Да только смотрите, не корову какую-нибудь. Я вас предуведомляю, что я хочу скакать.

— Скачите, пожалуй... С кем же это, с Малевским, что ли, вы поедете?

— А почему бы и не с ним, воин? Ну, успокойтесь,— прибавила она,— и не сверкайте глазами. Я и вас возьму.

Вы знаете, что для меня теперь Малевский — фи! — Она тряхнула головой.

— Вы это говорите, чтобы меня утешить,— проворчал Беловзоров.

Зинаида прищурилась.

— Это вас утешает?.. О... о... о... воин! — сказала она наконец, как бы не найдя другого слова.— А вы, мсьё Вольдемар, поехали ли бы вы с нами?

— Я не люблю... в большом обществе...— пробормотал я, не поднимая глаз.

— Вы предпочитаете tête-à-tête?..[1] Ну, вольному воля, спасенному... рай,— промолвила она, вздохнувши.— Ступайте же, Беловзоров, хлопочите. Мне лошадь нужна к завтрашнему дню.

— Да; а деньги откуда взять? — вмешалась княгиня.

Зинаида наморщила брови.

— Я у вас их не прошу; Беловзоров мне поверит.

— Поверит, поверит...— проворчала княгиня — и вдруг во все горло закричала: — Дуняшка!

— Maman, я вам подарила колокольчик,— заметила княжна.

— Дуняшка! — повторила старуха.

Беловзоров откланялся; я ушел вместе с ним. Зинаида меня не удерживала.

XIV

На следующее утро я встал рано, вырезал себе палку и отправился за заставу. Пойду, мол, размыкаю свое горе. День был прекрасный, светлый и не слишком жаркий; веселый, свежий ветер гулял над землею и в меру шумел и играл, все шевеля и ничего не тревожа. Я долго бродил по горам, по лесам; я не чувствовал себя счастливым, я вышел из дому с намерением предаться унынию, но молодость, прекрасная погода, свежий воздух, потеха быстрой ходьбы, нега уединенного лежания на густой траве — взяли свое: воспоминание о тех незабвенных словах, о тех поцелуях опять втеснилось мне в душу. Мне приятно было думать, что Зинаида не может, однако, не отдать справедливость моей решимости, моему героизму... «Другие для нее лучше меня,— думал я,— пускай! Зато другие только скажут, что сделают, а я сделал! И то ли я в состоянии еще сделать для нее!..» Воображение мое заиг-

[1] С глазу на глаз? (*франц.*).

рало. Я начал представлять себе, как я буду спасать ее из рук неприятелей, как я, весь облитый кровью, исторгну ее из темницы, как умру у ее ног. Я вспомнил картину, висевшую у нас в гостиной: Малек-Аделя, уносящего Матильду,— и тут же занялся появлением большого пестрого дятла, который хлопотливо поднимался по тонкому стволу березы и с беспокойством выглядывал из-за нее, то направо, то налево, точно музыкант из-за шейки контрабаса.

Потом я запел: «Не белы снеги» и свел на известный в то время романс: «Я жду тебя, когда зефир игривый»; потом я начал громко читать обращение Ермака к звездам из трагедии Хомякова; попытался было сочинить что-нибудь в чувствительном роде, придумал даже строчку, которой должно было заканчиваться все стихотворение: «О, Зинаида! Зинаида!», но ничего не вышло. Между тем наступало время обеда. Я спустился в долину; узкая песчаная дорожка вилась по ней и вела в город. Я пошел по этой дорожке... Глухой стук лошадиных копыт раздался за мною. Я оглянулся, невольно остановился и снял фуражку: я увидел моего отца и Зинаиду. Они ехали рядом. Отец говорил ей что-то, перегнувшись к ней всем станом и опершись рукою на шею лошади; он улыбался. Зинаида слушала его молча, строго опустив глаза и сжавши губы. Я сперва увидал их одних; только через несколько мгновений, из-за поворота долины, показался Беловзоров в гусарском мундире с ментиком [1], на опененном вороном коне. Добрый конь мотал головою, фыркал и плясал; всадник и сдерживал его и шпорил. Я посторонился. Отец подобрал поводья, отклонился от Зинаиды, она медленно подняла на него глаза — и оба поскакали... Беловзоров промчался вслед за ними, гремя саблей. «Он красен, как рак,— подумал я,— а она... Отчего она такая бледная? ездила верхом целое утро — и бледная?»

Я удвоил шаги и поспел домой перед самым обедом. Отец уже сидел переодетый, вымытый и свежий, возле матушкиного кресла и читал ей своим ровным и звучным голосом фельетон «Journal des Débats» [2]; но матушка слушала его без внимания и, увидавши меня, спросила, где я пропадал целый день, и прибавила, что не любит, ког-

---

[1] Короткая одежда вроде куртки, с несколькими рядами пуговиц, шнурками и петлями. Гусары носили ее сверх мундира.

[2] Название французского журнала.

да таскаются бог знает где и бог знает с кем. «Да я гулял один»,— хотел было я ответить, но посмотрел на отца и почему-то промолчал.

XV

В течение следующих пяти, шести дней я почти не видел Зинаиды: она сказывалась больною, что не мешало, однако, обычным посетителям флигеля являться — как они выражались — на свое дежурство — всем, кроме Майданова, который тотчас падал духом и скучал, как только не имел случая восторгаться. Беловзоров сидел угрюмо в углу, весь застегнутый и красный; на тонком лице графа Малевского постоянно бродила какая-то недобрая улыбка; он действительно впал в немилость Зинаиды и с особенным стараньем подслуживался старой княгине, ездил с ней в ямской карете к генерал-губернатору. Впрочем, эта поездка оказалась неудачной, и Малевскому вышла даже неприятность: ему напомнили какую-то историю с какими-то путейскими офицерами — и он должен был в объяснениях своих сказать, что был тогда неопытен. Лушин приезжал раза по два в день, но оставался недолго; я немножко боялся его после нашего последнего объяснения и в то же время чувствовал к нему искреннее влечение. Он однажды пошел гулять со мною по Нескучному саду, был очень добродушен и любезен, сообщал мне названия и свойства разных трав и цветов и вдруг, как говорится, ни к селу ни к городу, воскликнул, ударив себя по лбу: «А я, дурак, думал, что она кокетка! Видно, жертвовать собою сладко — для иных».

— Что вы хотите этим сказать? — спросил я.

— Вам я ничего не хочу сказать,— отрывисто возразил Лушин.

Меня Зинаида избегала: мое появление — я не мог этого не заметить — производило на нее впечатление неприятное. Она невольно отворачивалась от меня... невольно; вот что было горько, вот что меня сокрушало! Но делать было нечего — и я старался не попадаться ей на глаза и лишь издали ее подкарауливал, что не всегда мне удавалось. С ней по-прежнему происходило что-то непонятное; ее лицо стало другое, вся она другая стала. Особенно поразила меня происшедшая в ней перемена — в один теплый, тихий вечер. Я сидел на низенькой скамеечке под широким кустом бузины; я любил это местечко:

оттуда было видно окно Зинаидиной комнаты. Я сидел; над моей головой в потемневшей листве хлопотливо ворошилась маленькая птичка; серая кошка, вытянув спину, осторожно кралась в сад, и первые жуки тяжело гудели в воздухе, еще прозрачном, хотя уже не светлом. Я сидел и смотрел на окно — и ждал, не отворится ли оно: точно — оно отворилось, и в нем появилась Зинаида. На ней было белое платье — и сама она, ее лицо, плечи, руки — были бледны до белизны. Она долго осталась неподвижной и долго глядела неподвижно и прямо из-под сдвинутых бровей. Я и не знал за ней такого взгляда. Потом она стиснула руки, крепко-крепко, поднесла их к губам, ко лбу — и вдруг, раздернув пальцы, откинула волосы от ушей, встряхнула ими и, с какой-то решительностью кивнув сверху вниз головою, захлопнула окно.

Дня три спустя она встретила меня в саду. Я хотел уклониться в сторону, но она сама меня остановила.

— Дайте мне руку,— сказала она мне с прежней лаской,— мы давно с вами не болтали.

Я взглянул на нее: глаза ее тихо светились, и лицо улыбалось, точно сквозь дымку.

— Вы все еще нездоровы? — спросил я ее.

— Нет, теперь все прошло,— отвечала она и сорвала небольшую красную розу.— Я немножко устала, но и это пройдет.

— И вы опять будете такая же, как прежде? — спросил я.

Зинаида поднесла розу к лицу — и мне показалось, как будто отблеск ярких лепестков упал ей на щеки.

— Разве я изменилась? — спросила она меня.

— Да, изменились,— ответил я вполголоса.

— Я с вами была холодна — я знаю,— начала Зинаида,— но вы не должны были обращать на это внимания... Я не могла иначе... Ну, да что об этом говорить!

— Вы не хотите, чтоб я любил вас — вот что! — воскликнул я мрачно, с невольным порывом.

— Нет, любите меня — но не так, как прежде.

— Как же?

— Будемте друзьями — вот как! — Зинаида дала мне понюхать розу.— Послушайте, ведь я гораздо старше вас — я могла бы быть вашей тетушкой, право; ну, не тетушкой, старшей сестрой. А вы...

— Я для вас ребенок,— перебил я ее.

— Ну да, ребенок, но милый, хороший, умный, которого я очень люблю. Знаете ли что? Я вас с нынешнего же дня жалую к себе в пажи; а вы не забывайте, что пажи не должны отлучаться от своих госпож. Вот вам знак вашего нового достоинства,— прибавила она, вдевая розу в петлю моей курточки,— знак нашей к вам милости.

— Я от вас прежде получал другие милости,— пробормотал я.

— А! — промолвила Зинаида и сбоку посмотрела на меня.— Какая у него память! Что ж! я и теперь готова...

И, склонившись ко мне, она напечатлела мне на лоб чистый, спокойный поцелуй.

Я только посмотрел на нее — а она отвернулась и, сказавши: «Ступайте за мной, мой паж»,— пошла к флигелю. Я отправился вслед за нею — и все недоумевал. «Неужели,— думал я,— эта кроткая, рассудительная девушка — та самая Зинаида, которую я знал?» И походка ее мне казалась тише — вся ее фигура величественнее и стройней...

И боже мой! с какой новой силой разгоралась во мне любовь!

XVI

После обеда опять собрались во флигеле гости — и княжна вышла к ним. Все общество было налицо, в полном составе, как в тот первый, незабвенный для меня вечер: даже Нирмацкий притащился; Майданов пришел в этот раз раньше всех — он принес новые стихи. Начались опять игры в фанты, но уже без прежних странных выходок, без дурачеств и шума — цыганский элемент исчез. Зинаида дала новое настроение нашей сходке. Я сидел подле нее по праву пажа. Между прочим, она предложила, чтобы тот, чей фант вынется, рассказывал свой сон; но это не удалось. Сны выходили либо неинтересные (Беловзоров видел во сне, что накормил свою лошадь карасями и что у ней была деревянная голова), либо неестественные, сочиненные. Майданов угостил нас целою повестью: тут были и могильные склепы, и ангелы с лирами, и говорящие цветы, и несущиеся издалека звуки. Зинаида не дала ему докончить.

— Коли уж дело пошло на сочинения,— сказала она,— так пускай каждый расскажет что-нибудь непременно выдуманное.

Первому досталось говорить тому же Беловзорову.

Молодой гусар смутился.

— Я ничего выдумать не могу! — воскликнул он.

— Какие пустяки! — подхватила Зинаида.— Ну, вообразите себе, например, что вы женаты, и расскажите нам, как бы вы проводили время с вашей женой. Вы бы ее заперли?

— Я бы ее запер.

— И сами бы сидели с ней?

— И сам непременно сидел бы с ней.

— Прекрасно. Ну, а если бы ей это надоело, и она бы изменила вам?

— Я бы ее убил.

— А если б она убежала?

— Я бы догнал ее и все-таки бы убил.

— Так. Ну, а положим, я была бы вашей женой, что бы вы тогда сделали?

Беловзоров помолчал.

— Я бы себя убил...

Зинаида засмеялась.

— Я вижу, у вас недолга песня.

Второй фант вышел Зинаидин. Она подняла глаза к потолку и задумалась.

— Вот, послушайте,— начала она наконец,— что я выдумала... Представьте себе великолепный чертог, летнюю ночь и удивительный бал. Бал этот дает молодая королева. Везде золото, мрамор, хрусталь, шелк, огни, алмазы, цветы, куренья, все прихоти роскоши.

— Вы любите роскошь? — перебил ее Лушин.

— Роскошь красива,— возразила она,— я люблю все красивое.

— Больше прекрасного? — спросил он.

— Это что-то хитро, не понимаю. Не мешайте мне. Итак, бал великолепный. Гостей множество, все они молоды, прекрасны, храбры, все без памяти влюблены в королеву.

— Женщин нет в числе гостей? — спросил Малевский.

— Нет — или погодите — есть.

— Всё некрасивые?

— Прелестные. Но мужчины все влюблены в королеву. Она высока и стройна; у ней маленькая золотая диадема на черных волосах.

Я посмотрел на Зинаиду — и в это мгновение она мне показалась настолько выше всех нас, от ее белого лба, от

ее недвижных бровей веяло таким светлым умом и такою властию, что я подумал: «Ты сама эта королева!»

— Все толпятся вокруг нее,— продолжала Зинаида,— все расточают перед ней самые льстивые речи.

— А она любит лесть? — спросил Лушин.

— Какой несносный! все перебивает... Кто ж не любит лести?

— Еще один, последний вопрос,— заметил Малевский.— У королевы есть муж?

— Я об этом и не подумала. Нет, зачем муж?

— Конечно,— подхватил Малевский,— зачем муж?

— Silence![1] — воскликнул Майданов, который по-французски говорил плохо.

— Merci[2],— сказала ему Зинаида.— Итак, королева слушает эти речи, слушает музыку, но не глядит ни на кого из гостей. Шесть окон раскрыты сверху донизу, от потолка до полу; а за ними темное небо с большими звездами да темный сад с большими деревьями. Королева глядит в сад. Там, около деревьев, фонтан: он белеет во мраке — длинный, длинный, как привидение. Королева слышит сквозь говор и музыку тихий плеск воды. Она смотрит и думает: вы все, господа, благородны, умны, богаты, вы окружили меня, вы дорожите каждым моим словом, вы все готовы умереть у моих ног, я владею вами... а там, возле фонтана, возле этой плещущей воды, стоит и ждет меня тот, кого я люблю, кто мною владеет. На нем нет ни богатого платья, ни драгоценных камней, никто его не знает, но он ждет меня и уверен, что я приду,— и я приду, и нет такой власти, которая бы остановила меня, когда я захочу пойти к нему, и остаться с ним, и потеряться с ним там, в темноте сада, под шорох деревьев, под плеск фонтана...

Зинаида умолкла.

— Это выдумка? — хитро спросил Малевский.

Зинаида даже не посмотрела на него.

— А что бы мы сделали, господа,— вдруг заговорил Лушин,— если бы мы были в числе гостей и знали про этого счастливца у фонтана?

— Постойте, постойте,— перебила Зинаида,— я сама скажу вам, что бы каждый из вас сделал. Вы, Беловзоров, вызвали бы его на дуэль; вы, Майданов, написали бы на него эпиграмму... Впрочем, нет — вы не умеете писать

---

[1] Молчание! (*франц.*)

[2] Спасибо (*франц.*).

эпиграмм: вы сочинили бы на него длинный ямб, вроде Барбье, и поместили бы ваше произведение в «Телеграфе». Вы, Нирмацкий, заняли бы у него... нет, вы бы дали ему взаймы денег за проценты; вы, доктор... — Она остановилась.— Вот я про вас не знаю, что бы вы сделали.

— По званию лейб-медика,— отвечал Лушин,— я бы присоветовал королеве не давать балов, когда ей не до гостей...

— Может быть, вы были бы правы. А вы, граф?..

— А я?..— повторил со своей недоброй улыбкой Малевский.

— А вы бы поднесли ему отравленную конфетку.

Лицо Малевского слегка перекосилось и приняло на миг жидовское выражение, но он тотчас же захохотал.

— Что же касается до вас, Вольдемар...— продолжала Зинаида,— впрочем, довольно; давайте играть в другую игру.

— Мсьё Вольдемар, в качестве пажа королевы, держал бы ей шлейф, когда бы она побежала в сад,— ядовито заметил Малевский.

Я вспыхнул, но Зинаида проворно положила мне на плечо руку и, приподнявшись, промолвила слегка дрожащим голосом:

— Я никогда не давала вашему сиятельству права быть дерзким и потому прошу вас удалиться.— Она указала ему на дверь.

— Помилуйте, княжна,— пробормотал Малевский и весь побледнел.

— Княжна права,— воскликнул Беловзоров и тоже поднялся.

— Я, ей-богу, никак не ожидал,— продолжал Малевский,— в моих словах, кажется, ничего не было такого... у меня и в мыслях не было оскорбить вас... Простите меня.

Зинаида окинула его холодным взглядом и холодно усмехнулась.

— Пожалуй, останьтесь,— промолвила она с небрежным движением руки.— Мы с мсьё Вольдемаром напрасно рассердились. Вам весело жалиться... на здоровье.

— Простите меня,— еще раз повторил Малевский, а я, вспоминая движение Зинаиды, подумал опять, что настоящая королева не могла бы с бо́льшим достоинством указать дерзновенному на дверь.

Игра в фанты продолжалась недолго после этой небольшой сцены; всем немного стало неловко, не столько от самой этой сцены, сколько от другого, не совсем определенного, но тяжелого чувства. Никто о нем не говорил, но всякий сознавал его и в себе и в своем соседе. Майданов прочел нам свои стихи — и Малевский с преувеличенным жаром расхвалил их. «Как ему теперь хочется показаться добрым»,— шепнул мне Лушин. Мы скоро разошлись. На Зинаиду внезапно напало раздумье; княгиня выслала сказать, что у ней голова болит; Нирмацкий стал жаловаться на свои ревматизмы...

Я долго не мог заснуть, меня поразил рассказ Зинаиды.

— Неужели в нем заключался намек? — спрашивал я самого себя,— и на кого, на что она намекала? И если точно есть на что намекнуть... как же решиться? Нет, нет, не может быть,— шептал я, переворачиваясь с одной горячей щеки на другую... Но я вспоминал выражение лица Зинаиды во время ее рассказа... я вспоминал восклицание, вырвавшееся у Лушина в Нескучном, внезапные перемены в ее обращении со мною — и терялся в догадках. «Кто он?» Эти два слова точно стояли перед моими глазами, начертанные во мраке; точно низкое зловещее облако повисло надо мною — и я чувствовал его давление — и ждал, что вот-вот оно разразится. Ко многому я привык в последнее время, на многое насмотрелся у Засекиных; их беспорядочность, сальные огарки, сломанные ножи и вилки, мрачный Вонифатий, обтёрханные горничные, манеры самой княгини — вся эта странная жизнь уже не поражала меня более... Но к тому, что мне смутно чудилось теперь в Зинаиде,— я привыкнуть не мог... «Авантюрьерка» [1],— сказала про нее однажды моя мать. Авантюрьерка — она, мой идол, мое божество! Это название жгло меня, я старался уйти от него в подушку, я негодовал — и в то же время, на что бы я не согласился, чего бы я не дал, чтобы только быть тем счастливцем у фонтана!...

Кровь во мне загорелась и расходилась. «Сад... фонтан...— подумал я.— Пойду-ка я в сад». Я проворно оделся и выскользнул из дому. Ночь была темна, деревья чуть шептали; с неба падал тихий холодок, от огорода тянуло запахом укропа. Я обошел все аллеи; легкий звук

---

[1] Авантюрьерка — то есть авантюристка, искательница приключений.

моих шагов меня и смущал и бодрил; я останавливался, ждал и слушал, как стукало мое сердце — крупно и скоро. Наконец, я приблизился к забору и оперся на тонкую жердь. Вдруг — или это мне почудилось? — в нескольких шагах от меня промелькнула женская фигура... Я усиленно устремил взор в темноту — я притаил дыхание. Что это? Шаги ли мне слышатся — или это опять стучит мое сердце? «Кто здесь?» — пролепетал я едва внятно. Что это опять? подавленный ли смех?.. или шорох в листьях... или вздох над самым ухом? Мне стало страшно... «Кто здесь?» — повторил я еще тише.

Воздух заструился на мгновение; по небу сверкнула огненная полоска: звезда покатилась. «Зинаида?» — хотел спросить я, но звук замер у меня на губах. И вдруг все стало глубоко безмолвно кругом, как это часто бывает в средине ночи... Даже кузнечики перестали трещать в деревьях — только окошко где-то звякнуло. Я постоял, постоял и вернулся в свою комнату, к своей простывшей постели. Я чувствовал странное волнение: точно я ходил на свидание — и остался одиноким и прошел мимо чужого счастия.

XVII

На следующий день я видел Зинаиду только мельком: она ездила куда-то с княгинею на извозчике. Зато я видел Лушина, который, впрочем, едва удостоил меня привета, и Малевского. Молодой граф осклабился и дружелюбно заговорил со мною. Из всех посетителей флигелька он один умел втереться к нам в дом и полюбился матушке. Отец его не жаловал и обращался с ним до оскорбительности вежливо.

— Ah, monsieur le page! [1] — начал Малевский,— очень рад вас встретить. Что делает ваша прекрасная королева?

Его свежее, красивое лицо так мне было противно в эту минуту — и он глядел на меня так презрительно-игриво, что я не отвечал ему вовсе.

— Вы всё сердитесь? — продолжал он.— Напрасно. Ведь не я вас назвал пажем, а пажи бывают преимущественно у королев. Но позвольте вам заметить, что вы худо исполняете свою обязанность.

— Как так?

— Пажи должны быть неотлучны при своих владычицах; пажи должны всё знать, что они делают, они дол-

[1] Ах, господин паж! (*франц.*).

жны даже наблюдать за ними,— прибавил он, понизив голос,— днем и ночью.

— Что вы хотите сказать?

— Что я хочу сказать? Я, кажется, ясно выражаюсь. Днем — и ночью. Днем еще так и сяк; днем светло и людно; но ночью — тут как раз жди беды. Советую вам не спать по ночам и наблюдать, наблюдать из всех сил. Помните — в саду, ночью, у фонтана — вот где надо караулить. Вы мне спасибо скажете.

Малевский засмеялся и повернулся ко мне спиной. Он, вероятно, не придавал особенного значенья тому, что сказал мне; он имел репутацию отличного мистификатора и славился своим умением дурачить людей на маскарадах, чему весьма способствовала та почти бессознательная лживость, которою было проникнуто все его существо... Он хотел только подразнить меня; но каждое его слово протекло ядом по всем моим жилам. Кровь бросилась мне в голову. «А! вот что! — сказал я самому себе,— добро! Стало быть, меня недаром тянуло в сад! Так не бывать же этому!» — воскликнул я громко и ударил кулаком себя в грудь, хотя я, собственно, и не знал — чему не бывать. «Сам ли Малевский пожалует в сад,— думал я (он, может быть, проболтался: на это дерзости у него станет),— другой ли кто (ограда нашего сада была очень низка, и никакого труда не стоило перелезть через нее),— но только несдобровать тому, кто мне попадется! Никому не советую встречаться со мною! Я докажу всему свету и ей, изменнице (я так-таки и назвал ее изменницей), что я умею мстить!»

Я вернулся к себе в комнату, достал из письменного стола недавно купленный английский ножик, пощупал острие лезвия и, нахмурив брови, с холодной и сосредоточенной решительностью сунул его себе в карман, точно мне такие дела делать было не в диво и не впервой. Сердце во мне злобно приподнялось и окаменело; я до самой ночи не раздвинул бровей и не разжал губ, и то и дело похаживал взад и вперед, стискивая рукою в кармане разогревшийся нож и заранее приготовляясь к чему-то страшному. Эти новые, небывалые ощущения до того занимали и даже веселили меня, что, собственно, о Зинаиде я мало думал. Мне все мерещились: Алеко, молодой цыган — «Куда, красавец молодой? — Лежи...», а потом: «Ты весь обрызган кровью!.. О, что ты сделал?..» — «Ничего!» С какой жестокой улыбкой я повторил это:

ничего! Отца не было дома; но матушка, которая с некоторого времени находилась в состоянии почти постоянного глухого раздражения, обратила внимание на мой фатальный вид и сказала мне за ужином: «Чего ты дуешься, как мышь на крупу?» Я только снисходительно усмехнулся ей в ответ и подумал: «Если б они знали!» Пробило одиннадцать часов; я ушел к себе, но не раздевался, я выжидал полночи; наконец пробила и она. «Пора!» — шептал я сквозь зубы и, застегнувшись доверху, засучив даже рукава, отправился в сад.

Я уже заранее выбрал себе место, где караулить. На конце сада, там, где забор, разделявший наши и засекинские владения, упирался в общую стену, росла одинокая ель. Стоя под ее низкими, густыми ветвями, я мог хорошо видеть, насколько позволяла ночная темнота, что происходило вокруг; тут же вилась дорожка, которая мне всегда казалась таинственной: она змеей проползала под забором, носившим в этом месте следы перелезавших ног, и вела к круглой беседке из сплошных акаций. Я добрался до ели, прислонился к ее стволу и начал караулить.

Ночь стояла такая же тихая, как и накануне; но на небе было меньше туч — и очертанья кустов, даже высоких цветов, яснее виднелись. Первые мгновенья ожидания были томительны, почти страшны. Я на все решился, я только соображал: как мне поступить? Загреметь ли: «Куда идешь? Стой! сознайся — или смерть!» — или просто поразить... Каждый звук, каждый шорох и шелест казался мне значительным, необычайным... Я готовился... Я наклонился вперед... Но прошло полчаса, прошел час; кровь моя утихала, холодела; сознание, что я напрасно все это делаю, что я даже несколько смешон, что Малевский подшутил надо мною,— начало прокрадываться мне в душу. Я покинул мою засаду и обошел весь сад. Как нарочно, нигде не было слышно малейшего шума; все покоилось; даже собака наша спала, свернувшись в клубочек у калитки. Я взобрался на развалину оранжереи, увидел пред собою далекое поле, вспомнил встречу с Зинаидой и задумался...

Я вздрогнул... Мне почудился скрип отворявшейся двери, потом легкий треск переломанного сучка. Я в два прыжка спустился с развалины — и замер на месте. Быстрые, легкие, но осторожные шаги явственно раздавались в саду. Они приближались ко мне. «Вот он... Вот он наконец!» — промчалось у меня по сердцу. Я судорожно

выдернул нож из кармана, судорожно раскрыл его — какие-то красные искры закрутились у меня в глазах, от страха и злости на голове зашевелились волосы... Шаги направлялись прямо на меня — я сгибался, я тянулся им навстречу... Показался человек... боже мой! это был мой отец!

Я тотчас узнал его, хотя он весь закутался в темный плащ и шляпу надвинул на лицо. На цыпочках прошел он мимо. Он не заметил меня, хотя меня ничто не скрывало, но я так скорчился и съежился, что, кажется, сравнялся с самою землею. Ревнивый, готовый на убийство Отелло внезапно превратился в школьника... Я до того испугался неожиданного появления отца, что даже на первых порах не заметил, откуда он шел и куда исчез. Я только тогда выпрямился и подумал: «Зачем это отец ходит ночью по саду»,— когда опять все утихло вокруг. Со страху я уронил нож в траву, но даже искать его не стал: мне было очень стыдно. Я разом отрезвился. Возвращаясь домой я, однако, подошел к моей скамеечке под кустом бузины и взглянул на окошко Зинаидиной спальни. Небольшие, немного выгнутые стекла окошка тускло синели при слабом свете, падавшем с ночного неба. Вдруг — цвет их стал изменяться... За ними — я это видел, видел явственно — осторожно и тихо спускалась беловатая штора, спустилась до оконницы — и так и осталась неподвижной.

— Что ж это такое? — проговорил я вслух, почти невольно, когда снова очутился в своей комнате.— Сон, случайность или...— Предположения, которые внезапно вошли мне в голову, так были новы и странны, что я не смел даже предаться им.

XVIII

Я встал поутру с головною болью. Вчерашнее волнение исчезло. Оно заменилось тяжелым недоумением и какою-то еще небывалою грустью — точно во мне что-то умирало.

— Что это вы смотрите кроликом, у которого вынули половину мозга? — сказал мне, встретившись со мною, Лушин.

За завтраком я украдкой взглядывал то на отца, то на мать: он был спокоен, по обыкновению; она, по обыкновению, тайно раздражалась. Я ждал, не заговорит ли

отец со мною дружелюбно, как это иногда с ним случалось... Но он даже не поласкал меня своей вседневною, холодною лаской. «Рассказать все Зинаиде?..— подумал я.— Ведь уж все равно — все кончено между нами». Я отправился к ней, но не только ничего не рассказал ей — даже побеседовать с ней мне не удалось, как бы хотелось. К княгине на вакансию[1] приехал из Петербурга родной ее сын, кадет, лет двенадцати; Зинаида тотчас поручила мне своего брата.

— Вот вам,— сказала она,— мой милый Володя (она в первый раз так меня называла), товарищ. Его тоже зовут Володей. Пожалуйста, полюбите его; он еще дичок, но у него сердце доброе. Покажите ему Нескучное, гуляйте с ним, возьмите его под свое покровительство. Не правда ли, вы это сделаете? вы тоже такой добрый!

Она ласково положила мне обе руки на плечи — а я совсем потерялся. Прибытие этого мальчика превращало меня самого в мальчика. Я глядел молча на кадета, который так же безмолвно уставился на меня. Зинаида расхохоталась и толкнула нас друг на друга.

— Да обнимитесь же, дети!

Мы обнялись.

— Хотите, я вас поведу в сад? — спросил я кадета.

— Извольте-с,— отвечал он сиплым, прямо кадетским голосом.

Зинаида опять рассмеялась... Я успел заметить, что никогда еще не было у ней на лице таких прелестных красок. Мы с кадетом отправились. У нас в саду стояли старенькие качели. Я его посадил на тоненькую дощечку и начал его качать. Он сидел неподвижно, в новом своем мундирчике из толстого сукна, с широкими золотыми позументами, и крепко держался за веревки.

— Да вы расстегните свой воротник,— сказал я ему.

— Ничего-с, мы привыкли-с,— проговорил он и откашлялся.

Он походил на свою сестру: особенно глаза ее напоминали. Мне было и приятно ему услуживать, и в то же время та же ноющая грусть тихо грызла мне сердце. «Теперь уж я точно ребенок,— думал я,— а вчера...» Я вспомнил, где я накануне уронил ножик, и отыскал его. Кадет выпросил его у меня, сорвал толстый стебель зори, вырезал из него дудку и принялся свистать. Отелло посвистал тоже.

---

[1] Каникулы.

Но зато вечером, как он плакал, этот самый Отелло, на руках Зинаиды, когда, отыскав его в уголку сада, она спросила его, отчего он так печален? Слезы мои хлынули с такой силой, что она испугалась.

— Что с вами? что с вами, Володя? — твердила она и, видя, что я не отвечаю ей и не перестаю плакать, вздумала было поцеловать мою мокрую щеку.

Но я отвернулся от нее и прошептал сквозь рыдания:

— Я все знаю; зачем же вы играли мною?.. На что вам нужна была моя любовь?

— Я виновата перед вами, Володя...— промолвила Зинаида.— Ах, я очень виновата...— прибавила она и стиснула руки.— Сколько во мне дурного, темного, грешного... Но я теперь не играю вами, я вас люблю — вы и не подозреваете, почему и как... Однако что же вы знаете?

Что мог я сказать ей? Она стояла передо мною и глядела на меня — а я принадлежал ей весь, с головы до ног, как только она на меня глядела... Четверть часа спустя я уже бегал с кадетом и с Зинаидой взапуски; я не плакал, я смеялся, хотя напухшие веки от смеха роняли слезы; у меня на шее, вместо галстучка, была повязана лента Зинаиды, и я закричал от радости, когда мне удалось поймать ее за талию. Она делала со мной все, что хотела.

XIX

Я пришел бы в большое затруднение, если бы меня заставили рассказать подробно, что происходило со мною в течение недели после моей неудачной ночной экспедиции. Это было странное, лихорадочное время, хаос какой-то, в котором самые противоположные чувства, мысли, подозренья, надежды, радости и страданья кружились вихрем; я страшился заглянуть в себя, если только шестнадцатилетний мальчик может в себя заглянуть, страшился отдать себе отчет в чем бы то ни было; я просто спешил прожить день до вечера; зато ночью я спал... детское легкомыслие мне помогало. Я не хотел знать, любят ли меня, и не хотел сознаться самому себе, что меня не любят, отца я избегал — но Зинаиды избегать я не мог... Меня жгло как огнем в ее присутствии... но к чему мне было знать, что́ это был за огонь, на котором я горел и таял,— благо мне было сладко таять и гореть. Я отдавался всем своим впечатлениям и сам с собой лукавил, отво-

рачивался от воспоминаний и закрывал глаза перед тем, что предчувствовал впереди... Это томление, вероятно, долго бы не продолжилось... громовой удар разом все прекратил и перебросил меня в новую колею.

Вернувшись однажды к обеду с довольно продолжительной прогулки, я с удивлением узнал, что буду обедать один, что отец уехал, а матушка нездорова, не желает кушать и заперлась у себя в спальне. По лицам лакеев я догадывался, что произошло нечто необыкновенное... Расспрашивать их я не смел, но у меня был приятель, молодой буфетчик Филипп, страстный охотник до стихов и артист на гитаре — я к нему обратился. От него я узнал, что между отцом и матушкой произошла страшная сцена (а в девичьей все было слышно до единого слова; многое было сказано по-французски — да горничная Маша пять лет жила у швеи из Парижа и все понимала); что матушка моя упрекала отца в неверности, в знакомстве с соседней барышней, что отец сперва оправдывался, потом вспыхнул и, в свою очередь, сказал какое-то жестокое слово, «якобы об ихних летах», отчего матушка заплакала; что матушка также упомянула о векселе, будто бы данном старой княгине, и очень о ней дурно отзывалась и о барышне также, и что тут отец ей пригрозил.

— А произошла вся беда,— продолжал Филипп,— от безымянного письма; а кто его написал — неизвестно, а то бы как этим делам наружу выйти, причины никакой нет.

— Да разве что-нибудь было? — с трудом проговорил я, между тем как руки и ноги у меня холодели, и что-то задрожало в самой глубине груди.

Филипп знаменательно мигнул.

— Было. Этих делов не скроешь; уж на что батюшка ваш в этом разе осторожен — да ведь надобно ж, примерно, карету нанять или там что... без людей не обойдешься тоже.

Я услал Филиппа — и повалился на постель. Я не зарыдал, не предался отчаянию; я не спрашивал себя, когда и как все это случилось; не удивлялся, как я прежде, как я давно не догадался,— я даже не роптал на отца... То, что я узнал, было мне не под силу: это внезапное откровение раздавило меня... Все было кончено. Все цветы мои были вырваны разом и лежали вокруг меня, разбросанные и истоптанные.

XX

Матушка на следующий день объявила, что переезжает в город. Утром отец вошел к ней в спальню и долго сидел с нею наедине. Никто не слышал, что он сказал ей, но матушка уж не плакала больше; она успокоилась и кушать потребовала — однако не показалась и решения своего не переменила. Помнится, я пробродил целый день, но в сад не заходил и ни разу не взглянул на флигель — а вечером я был свидетелем удивительного происшествия: отец мой вывел графа Малевского под руку через залу в переднюю и, в присутствии лакея, холодно сказал ему: «Несколько дней тому назад вашему сиятельству в одном доме указали на дверь; а теперь я не буду входить с вами в объяснения, но имею честь вам доложить, что если вы еще раз пожалуете ко мне, то я вас выброшу в окошко. Мне ваш почерк не нравится». Граф наклонился, стиснул зубы, съежился и исчез.

Начались сборы к переселению в город, на Арбат, где у нас был дом. Отцу, вероятно, самому уже не хотелось более оставаться на даче; но, видно, он успел упросить матушку не затевать истории. Все делалось тихо, не спеша, матушка велела даже поклониться княгине и изъявить ей сожаление, что по нездоровью не увидится с ней до отъезда. Я бродил, как шальной,— и одного только желал, как бы поскорее все это кончилось. Одна мысль не выходила у меня из головы: как могла она, молодая девушка — ну и все-таки княжна — решиться на такой поступок, зная, что мой отец человек несвободный, и имея возможность выйти замуж хоть, например, за Беловзорова? На что же она надеялась? Как не побоялась погубить всю свою будущность? Да, думал я, вот это — любовь, это — страсть, это — преданность... и вспоминались мне слова Лушина: жертвовать собою сладко для иных. Както пришлось мне увидеть в одном из окон флигеля бледное пятно... «Неужели это лицо Зинаиды?» — подумал я... точно, это было ее лицо. Я не вытерпел. Я не мог расстаться с нею, не сказав ей последнего прости. Я улучил удобное мгновение и отправился во флигель.

В гостиной княгиня встретила меня своим обычным, неопрятно-небрежным приветом.

— Что это, батюшка, ваши так рано всполошились? — промолвила она, забивая табак в обе ноздри.

Я посмотрел на нее, и у меня отлегло от сердца. Слово: вексель, сказанное Филиппом, мучило меня. Она ниче-

го не подозревала... по крайней мере мне тогда так показалось. Зинаида появилась из соседней комнаты, в черном платье, бледная, с развитыми волосами; она молча взяла меня за руку и увела с собой.

— Я услышала ваш голос,— начала она,— и тотчас вышла. И вам так легко было нас покинуть, злой мальчик?

— Я пришел с вами проститься, княжна,— отвечал я,— вероятно, навсегда. Вы, может быть, слышали — мы уезжаем.

Зинаида пристально посмотрела на меня.

— Да, я слышала. Спасибо, что пришли. Я уже думала, что не увижу вас. Не поминайте меня лихом. Я иногда мучила вас; но все-таки я не такая, какою вы меня воображаете.

Она отвернулась и прислонилась к окну.

— Право, я не такая. Я знаю, вы обо мне дурного мнения.

— Я?

— Да, вы... вы.

— Я? — повторил я горестно, и сердце у меня задрожало по-прежнему под влиянием неотразимого, невыразимого обаяния.— Я? Поверьте, Зинаида Александровна, что бы вы ни сделали, как бы вы ни мучили меня, я буду любить и обожать вас до конца дней моих.

Она быстро обернулась ко мне и, раскрыв широко руки, обняла мою голову и крепко и горячо поцеловала меня. Бог знает, кого искал этот долгий, прощальный поцелуй, но я жадно вкусил его сладость. Я знал, что он уже никогда не повторится.

— Прощайте, прощайте... — твердил я.

Она вырвалась и ушла. И я удалился. Я не в состоянии передать чувство, с которым я удалился. Я бы не желал, чтобы оно когда-нибудь повторилось; но я почел бы себя несчастливым, если бы я никогда его не испытал.

Мы переехали в город. Не скоро я отделался от прошедшего, не скоро принялся за работу. Рана моя медленно заживала; но собственно против отца у меня не было никакого дурного чувства. Напротив: он как будто еще вырос в моих глазах... пускай психологи объяснят это противоречие, как знают. Однажды я шел по бульвару и, к неописанной моей радости, столкнулся с Лушиным. Я его любил за его прямой и нелицемерный нрав, да при-

том он был мне дорог по воспоминаниям, которые он во мне возбуждал. Я бросился к нему.

— Ага! — промолвил он и нахмурил брови.— Это вы, молодой человек! Покажите-ка себя. Вы все еще желты, а все-таки в глазах нет прежней дряни. Человеком смотрите, не комнатной собачкой. Это хорошо. Ну, что же вы? работаете?

Я вздохнул. Лгать мне не хотелось, а правду сказать я стыдился.

— Ну, ничего,— продолжал Лушин,— не робейте. Главное дело: жить нормально и не поддаваться увлечениям. А то что пользы? Куда бы волна ни понесла — все худо; человек хоть на камне стой, да на своих ногах. Я вот кашляю... а Беловзоров — слыхали вы?

— Что такое? нет.

— Без вести пропал; говорят, на Кавказ уехал. Урок вам, молодой человек. А вся штука оттого, что не умеют вовремя расстаться, разорвать сети. Вот вы, кажется, выскочили благополучно. Смотрите же, не попадитесь опять. Прощайте.

«Не попадусь... — думал я,— не увижу ее больше»; но мне было суждено еще раз увидеть Зинаиду.

XXI

Отец мой каждый день выезжал верхом; у него была славная рыже-чалая английская лошадь, с длинной тонкой шеей и длинными ногами, неутомимая и злая. Ее звали Электрик. Кроме отца, на ней никто ездить не мог. Однажды он пришел ко мне в добром расположении духа, чего с ним давно не бывало; он собирался выехать и уже надел шпоры. Я стал просить его взять меня с собою.

— Давай лучше играть в чехарду,— отвечал мне отец,— а то ты на своем клепере за мной не поспеешь.

— Поспею; я тоже шпоры надену.

— Ну, пожалуй.

Мы отправились. У меня был вороненький, косматый конек, крепкий на ноги и довольно резвый: правда, ему приходилось скакать во все лопатки, когда Электрик шел полной рысью, но я все-таки не отставал. Я не видывал всадника, подобного отцу; он сидел так красиво и небрежно-ловко, что, казалось, сама лошадь под ним это чувствовала и щеголяла им. Мы проехали по всем бульварам, побывали на Девичьем поле, перепрыгнули чрез

несколько заборов (сперва я боялся прыгать, но отец презирал робких людей,— и я перестал бояться), переехали дважды чрез Москву-реку — и я уже думал, что мы возвращаемся домой, тем более что сам отец заметил, что лошадь моя устала, как вдруг он повернул от меня в сторону от Крымского броду и поскакал вдоль берега. Я пустился вслед за ним. Поравнявшись с высокой грудой сложенных старых бревен, он проворно соскочил с Электрика, велел мне слезть и, отдав мне поводья своего коня, сказал, чтобы я подождал его тут же, у бревен, а сам повернул в небольшой переулок и исчез. Я принялся расхаживать взад и вперед вдоль берега, ведя за собой лошадей и бранясь с Электриком, который на ходу то и дело дергал головой, встряхивался, фыркал, ржал; а когда я останавливался, попеременно рыл копытом землю, с визгом кусал моего клепера в шею, словом, вел себя как избалованный pur sang[1]. Отец не возвращался. От реки несло неприятной сыростью; мелкий дождик тихонько набежал и испестрил крошечными темными пятнами сильно надоевшие мне глупые серые бревна, около которых я скитался. Тоска меня брала, а отца все не было. Какой-то будочник из чухонцев, тоже весь серый, с огромным старым кивером в виде горшка на голове и с алебардой (зачем, кажется, было будочнику находиться на берегу Москвы-реки!), приблизился ко мне и, обратив ко мне свое старушечье, сморщенное лицо, промолвил:

— Что вы здесь делаете с лошадьми, барчук? Дайте-ка я подержу.

Я не отвечал ему; он попросил у меня табаку. Чтобы отвязаться от него (к тому же нетерпение меня мучило), я сделал несколько шагов к тому направлению, куда удалился отец; потом прошел переулочек до конца, повернул за угол и остановился. На улице, в сорока шагах от меня, пред раскрытым окном деревянного домика, спиной ко мне стоял мой отец; он опирался грудью на оконницу, а в домике, до половины скрытая занавеской, сидела женщина в темном платье и разговаривала с отцом; эта женщина была Зинаида.

Я остолбенел. Этого я, признаюсь, никак не ожидал. Первым движением моим было убежать. «Отец оглянется,— подумал я,— и я пропал...» — но странное чув-

---

[1] Чистокровный (*франц.*).

ство, чувство сильнее любопытства, сильнее даже ревности, сильнее страха, остановило меня. Я стал глядеть, я силился прислушаться. Казалось, отец настаивал на чем-то. Зинаида не соглашалась. Я как теперь вижу ее лицо — печальное, серьезное, красивое и с непередаваемым отпечатком преданности, грусти, любви и какого-то отчаяния — я другого слова подобрать не могу. Она произносила односложные слова, не поднимала глаз и только улыбалась — покорно и упрямо. По одной этой улыбке я узнал мою прежнюю Зинаиду. Отец повел плечами и поправил шляпу на голове — что у него всегда служило признаком нетерпения... Потом послышались слова... «Vous devez vous séparer de cette...»[1] Зинаида выпрямилась и протянула руку... Вдруг в глазах моих совершилось невероятное дело: отец внезапно поднял хлыст, которым сбивал пыль с полы своего сюртука,— и послышался резкий удар по этой обнаженной до локтя руке. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть, а Зинаида вздрогнула, молча посмотрела на моего отца и, медленно поднеся свою руку к губам, поцеловала заалевшийся на ней рубец. Отец швырнул в сторону хлыст и, торопливо взбежав на ступеньки крылечка, ворвался в дом... Зинаида обернулась — и, протянув руки, закинув голову, тоже отошла от окна.

С замиранием испуга, с каким-то ужасом недоумения на сердце бросился я назад и, пробежав переулок, чуть не упустив Электрика, вернулся на берег реки. Я не мог ничего сообразить. Я знал, что на моего холодного и сдержанного отца находили иногда порывы бешенства — и все-таки я никак не мог понять, что я такое видел... Но я тут же почувствовал, что, сколько бы я ни жил, забыть это движение, взгляд, улыбку Зинаиды было для меня навсегда невозможно, что образ ее, этот новый, внезапно представший передо мною образ, навсегда запечатлелся в моей памяти. Я глядел бессмысленно на реку и не замечал, что у меня слезы лились. Ее бьют, думал я... бьют... бьют...

— Ну, что же ты — давай мне лошадь! — раздался за мной голос отца.

Я машинально подал ему поводья. Он вскочил на Электрика... прозябший конь взвился на дыбы и прыгнул вперед на полторы сажени... но скоро отец укротил его;

---

[1] Вы должны расстаться с этой... (*франц.*).

он вонзил ему шпоры в бока и ударил его кулаком по шее... «Эх, хлыста нету»,— пробормотал он.

Я вспомнил недавний свист и удар этого самого хлыста и содрогнулся.

— Куда ж ты дел его? — спросил я отца погодя немного.

Отец не отвечал мне и поскакал вперед. Я нагнал его. Мне непременно хотелось видеть его лицо.

— Ты соскучился без меня? — проговорил он сквозь зубы.

— Немножко. Где же ты уронил свой хлыст? — спросил я его опять.

Отец быстро глянул на меня.

— Я его не уронил,— промолвил он,— я его бросил.

Он задумался и опустил голову... и тут-то я в первый и едва ли не в последний раз увидел, сколько нежности и сожаления могли выразить его строгие черты.

Он опять поскакал, и уж я не мог его догнать; я приехал домой четверть часа после него.

«Вот это любовь,— говорил я себе снова, сидя ночью перед своим письменным столом, на котором уже начали появляться тетради и книги,— это страсть!.. Как, кажется, не возмутиться, как снести удар от какой бы то ни было!.. от самой милой руки! А, видно, можно, если любишь... А я-то... я-то воображал...»

Последний месяц меня очень состарил — и моя любовь, со всеми своими волнениями и страданиями, показалась мне самому чем-то таким маленьким, и детским, и мизерным перед тем другим, неизвестным чем-то, о котором я едва мог догадываться и которое меня пугало, как незнакомое, красивое, но грозное лицо, которое напрасно силишься разглядеть в полумраке...

Странный и страшный сон мне приснился в эту самую ночь. Мне чудилось, что я вхожу в низкую темную комнату... Отец стоит с хлыстом в руке и топает ногами; в углу прижалась Зинаида, и не на руке, а на лбу у ней красная черта... а сзади их обоих поднимается весь окровавленный Беловзоров, раскрывает бледные губы и гневно грозит отцу.

Два месяца спустя я поступил в университет, а через полгода отец мой скончался (от удара) в Петербурге, куда только что переселился с моей матерью и со мною. За несколько дней до своей смерти он получил письмо из Москвы, которое его чрезвычайно взволновало... Он хо-

дил просить о чем-то матушку и, говорят, даже заплакал, он, мой отец! В самое утро того дня, когда с ним сделался удар, он начал было письмо ко мне на французском языке. «Сын мой,— писал он мне,— бойся женской любви, бойся этого счастья, этой отравы...» Матушка после его кончины послала довольно значительную сумму денег в Москву.

XXII

Прошло четыре года. Я только что вышел из университета и не знал еще хорошенько, что мне начать с собою, в какую дверь стучаться: шлялся пока без дела. В один прекрасный вечер я в театре встретил Майданова. Он успел жениться и поступить на службу; но я не нашел в нем перемены. Он так же ненужно восторгался и так же внезапно падал духом.

— Вы знаете,— сказал он мне,— между прочим, госпожа Дольская здесь.

— Какая госпожа Дольская?

— Вы разве забыли? бывшая княжна Засекина, в которую мы все были влюблены, да и вы тоже. Помните, на даче, возле Нескучного.

— Она замужем за Дольским?

— Да.

— И она здесь, в театре?

— Нет, в Петербурге, она на днях сюда приехала; собирается за границу.

— Что за человек ее муж? — спросил я.

— Прекрасный малый, с состоянием. Сослуживец мой московский. Вы понимаете — после той истории... вам это все должно быть хорошо известно (Майданов значительно улыбнулся)... ей не легко было составить себе партию; были последствия... но с ее умом все возможно. Ступайте к ней: она вам будет очень рада. Она еще похорошела.

Майданов дал мне адрес Зинаиды. Она остановилась в гостинице Демут. Старые воспоминания во мне расшевелились... я дал себе слово на другой же день посетить бывшую мою «пассию». Но встретились какие-то дела: прошла неделя, другая, и, когда я, наконец, отправился в гостиницу Демут и спросил госпожу Дольскую — я узнал, что она четыре дня тому назад умерла почти внезапно от родов.

Меня как будто что-то в сердце толкнуло. Мысль, что я мог ее увидеть и не увидел и не увижу ее никогда,—

эта горькая мысль впилась в меня со всею силою неотразимого упрека. «Умерла!» — повторил я, тупо глядя на швейцара, тихо выбрался на улицу и пошел, не зная сам куда. Все прошедшее разом всплыло и встало передо мною. И вот чем разрешилась, вот к чему, спеша и волнуясь, стремилась эта молодая, горячая, блистательная жизнь! Я это думал, я воображал себе эти дорогие черты, эти глаза, эти кудри — в тесном ящике, в сырой подземной тьме — тут же, недалеко от меня, пока еще живого, и, может быть, в нескольких шагах от моего отца... Я все это думал, я напрягал свое воображение, а между тем:

Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я [1],—

звучало у меня в душе. О молодость! молодость! тебе нет ни до чего дела, ты как будто бы обладаешь всеми сокровищами вселенной, даже грусть тебя тешит, даже печаль тебе к лицу, ты самоуверенна и дерзка, ты говоришь: я одна живу — смотрите! а у самой дни бегут и исчезают без следа и без счета, и все в тебе исчезает, как воск на солнце, как снег... И, может быть, вся тайна твоей прелести состоит не в возможности все сделать — а в возможности думать, что ты все сделаешь,— состоит именно в том, что ты пускаешь по ветру силы, которые ни на что другое употребить бы не умела,— в том, что каждый из нас не шутя считает себя расточителем, не шутя полагает, что он вправе сказать: «О, что бы я сделал, если б я не потерял времени даром!»

Вот и я... на что я надеялся, чего я ожидал, какую богатую будущность предвидел, когда едва проводил одним вздохом, одним унылым ощущением на миг возникший призрак моей первой любви?

А что сбылось из всего того, на что я надеялся? И теперь, когда уже на жизнь мою начинают набегать вечерние тени, что у меня осталось более свежего, более дорогого, чем воспоминания о той быстро пролетевшей, утренней, весенней грозе?

Но я напрасно клевещу на себя. И тогда, в то легкомысленное молодое время, я не остался глух на печальный голос, воззвавший ко мне, на торжественный звук, долетевший до меня из-за могилы. Помнится, несколько

---

[1] Цитата из стихотворения Пушкина «Под небом голубым страны своей родной...»

дней спустя после того дня, когда я узнал о смерти Зинаиды, я сам, по собственному неотразимому влечению, присутствовал при смерти одной бедной старушки, жившей в одном с нами доме. Покрытая лохмотьями, на жестких досках, с мешком под головою, она трудно и тяжело кончалась. Вся жизнь ее прошла в горькой борьбе с ежедневной нуждою; не видела она радости, не вкушала от меду счастия — казалось, как бы ей не обрадоваться смерти, ее свободе, ее покою? А между тем пока ее ветхое тело еще упорствовало, пока грудь еще мучительно вздымалась под налегшей на нее леденящей рукою, пока ее не покинули последние силы,— старушка все крестилась и все шептала: «Господи, отпусти мне грехи мои»,— и только с последней искрой сознания исчезло в ее глазах выражение страха и ужаса кончины. И помню я, что тут, у одра этой бедной старушки, мне стало страшно за Зинаиду, и захотелось мне помолиться за нее, за отца — и за себя.

1860

ДНЕВНИК ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА

Сельцо Овечьи Воды. 20 марта 18... года.

Доктор сейчас уехал от меня. Наконец добился я толку! Как он ни хитрил, а не мог не высказаться наконец. Да, я скоро, очень скоро умру. Реки вскроются, и я с последним снегом, вероятно, уплыву... куда? бог весть! Тоже в море. Ну, что ж! коли умирать, так умирать весной. Но не смешно ли начинать свой дневник, может быть, за две недели до смерти? Что за беда? И чем четырнадцать дней менее четырнадцати лет, четырнадцати столетий? Перед вечностью, говорят, все пустяки — да; но в таком случае и сама вечность — пустяки. Я, кажется, вдаюсь в умозрение: это плохой знак — уж не трушу ли я? Лучше стану рассказывать что-нибудь. На дворе сыро, ветрено,— выходить мне запрещено. Что же рассказывать? О своих болезнях порядочный человек не говорит; повесть, что ли, сочинить — не мое дело; рассуждения о предметах возвышенных — мне не под силу; описания окружающего меня быта — даже меня занять не могут; а ничего не делать — скучно; читать — лень. Э! расскажу-ка я самому себе всю свою жизнь. Превосходная мысль! Перед смертью оно и прилично и никому не обидно. Начинаю.

Родился я лет тридцать тому назад от довольно богатых помещиков. Отец мой был страстный игрок; мать моя

была дама с характером... очень добродетельная дама. Только я не знавал женщины, которой бы добродетель доставила меньше удовольствия. Она падала под бременем своих достоинств и мучила всех, начиная с самой себя. В течение пятидесяти лет своей жизни она ни разу не отдохнула, не сложила рук; она вечно копошилась и возилась, как муравей,— и без всякой пользы, чего нельзя сказать о муравье. Неугомонный червь ее точил днем и ночью. Один только раз видел я ее совершенно спокойной, а именно: в первый день после ее смерти, в гробу. Глядя на нее, мне, право, показалось, что ее лицо выражало тихое изумление; с полураскрытых губ, с опавших щек и кротко-неподвижных глаз словно веяло словами: «Как хорошо не шевелиться!» Да, хорошо, хорошо отделаться наконец от томящего сознания жизни, от неотвязного и беспокойного чувства существования! Но дело не в том.

Рос я дурно и невесело. Отец и мать оба меня любили, но от этого мне не было легче. Отец не имел в собственном доме никакой власти и никакого значения как человек, явно преданный постыдному и разорительному пороку; он сознавал свое падение и, не имея силы отстать от любимой страсти, старался по крайней мере своим постоянно ласковым и скромным видом, своим уклончивым смирением заслужить снисхождение своей примерной жены. Маменька моя действительно переносила свое несчастие с тем великолепным и пышным долготерпением добродетели, в котором так много самолюбивой гордости. Она никогда ни в чем отца моего не упрекала, молча отдавала ему свои последние деньги и платила его долги; он превозносил ее в глаза и заочно, но дома сидеть не любил и ласкал меня украдкой, как бы сам боясь заразить меня своим присутствием. Но искаженные черты его дышали тогда такой добротой, лихорадочная усмешка на его губах сменялась такой трогательной улыбкой, окруженные тонкими морщинами карие глаза светились такою любовью, что я невольно прижимался моей щекой к его щеке, сырой и теплой от слез. Я утирал моим платком эти слезы, и они снова текли, без усилия, словно вода из переполненного стакана. Я принимался плакать сам, и он утешал меня, гладил меня рукой по спине, целовал меня по всему лицу своими дрожащими губами. Даже вот и теперь, с лишком двадцать лет после его смерти, когда я вспоминаю о бедном моем отце, немые

рыдания подступают мне под горло и сердце бьется, бьется так горячо и горько, томится таким тоскливым сожалением, как будто ему еще долго осталось биться и есть о чем сожалеть!

Мать моя, напротив, обращалась со мной всегда одинаково, ласково, но холодно. В детских книгах часто встречаются такие матери, нравоучительные и справедливые. Она меня любила; но я ее не любил. Да! я чуждался моей добродетельной матери и страстно любил порочного отца.

Но для сегодняшнего дня довольно. Начало есть, а уж о конце, какой бы он ни был, мне нечего заботиться. Это дело моей болезни.

21 марта.

Сегодня удивительная погода. Тепло, ясно; солнце весело играет на талом снеге; все блестит, дымится, каплет; воробьи, как сумасшедшие, кричат около отпотевших темных заборов; влажный воздух сладко и страшно раздражает мне грудь. Весна, весна идет! Я сижу под окном и гляжу через речку в поле. О природа! природа! Я так тебя люблю, а из твоих недр вышел неспособным даже к жизни. Вон прыгает самец воробей с растопыренными крыльями; он кричит — и каждый звук его голоса, каждое взъерошенное перышко на его маленьком теле дышит здоровьем и силой...

Что ж из этого следует? Ничего. Он здоров и имеет право кричать и ерошиться; а я болен и должен умереть — вот и все. Больше об этом говорить не стоит. А слезливые обращения к природе уморительно смешны. Возвратимся к рассказу.

Рос я, как уже сказано, очень дурно и невесело. Братьев и сестер у меня не было. Воспитывался я дома. Да и чем бы стала заниматься моя матушка, если б меня отдали в пансион или в казенное заведение? На то и дети, чтоб родители не скучали. Жили мы большей частью в деревне, иногда приезжали в Москву. Были у меня гувернеры и учителя, как водится; особенно памятным остался мне один худосочный и слезливый немец, Рикман, необыкновенно печальное и судьбою пришибенное существо, бесплодно сгоравшее томительной тоской по далекой родине. Бывало, возле печки, в страшной духоте тесной передней, насквозь пропитанной кислым запахом старого кваса, сидит небритый мой дядька Васи-

лий, по прозвищу Гусыня, в вековечном своем казакине из синей дерюги,— сидит и играет в свои козыри с кучером Потапом, только что обновившим белый, как кипень, овчинный тулуп и несокрушимые смазные сапоги,— а Рикман за перегородкой поет:

Herz, mein Herz, warum so traurig?
Was bekümmert dich so sehr?
S'ist ja schön im fremden Lande —
Herz, mein Herz,— was willst du mehr? [1]

После смерти отца мы окончательно перебрались на житье в Москву. Мне было тогда двенадцать лет. Отец мой умер ночью, от удара. Не забуду я этой ночи. Я спал крепко, как обыкновенно спят все дети; но, помню, мне даже сквозь сон чудилось тяжелое и мерное храпенье. Вдруг я чувствую: кто-то меня берет за плечо и толкает. Открываю глаза: передо мной дядька. «Что такое?..» — «Ступайте, ступайте, Алексей Михайлыч кончается...» Я, как сумасшедший, из постели вон — в спальню. Гляжу: отец лежит с закинутой назад головой, весь красный, и мучительно хрипит. В дверях толпятся люди с перепуганными лицами; в передней кто-то сиплым голосом спрашивает: «Послали за доктором?» На дворе лошадь выводят из конюшни, ворота скрипят, сальная свечка горит в комнате на полу; маменька тут же убивается, не теряя, впрочем, ни приличия, ни сознания собственного достоинства. Я бросился на грудь отцу, обнял его, залепетал: «Папаша, папаша...» Он лежал неподвижно и как-то странно щурился. Я взглянул ему в лицо — невыносимый ужас захватил мне дыхание; я запищал от страха, как грубо схваченная птичка,— меня стащили и отвели. Еще накануне он, словно предчувствуя свою близкую смерть, так горячо и так уныло ласкал меня. Привезли какого-то заспанного и шершавого доктора, с крепким запахом зорной водки. Отец мой умер у него под ланцетом, и на другой же день я, совершенно поглупевший от горя, стоял со свечкою в руках перед столом, на котором лежал покойник, и бессмысленно слушал густой напев дьячка, изредка прерываемый слабым голосом священника; слезы то и дело струились у меня по щекам, по губам, по воротничку, по манишке; я исходил слезами, я

[1] Сердце, сердце мое, почему ты так печально? Что тебя так огорчает? Ведь в чужой стране прекрасно. Сердце, сердце мое, чего же ты еще хочешь? (*нем.*).

глядел неотступно, я внимательно глядел на неподвижное лицо отца, словно ждал от него чего-то; а матушка моя между тем медленно клала земные поклоны, медленно подымалась и, крестясь, сильно прижимала пальцы ко лбу, к плечам и животу. Ни одной мысли у меня не было в голове; я весь отяжелел, но чувствовал, что со мною совершается что-то страшное... Смерть мне тогда заглянула в лицо и заметила меня.

Мы переехали в Москву на житье после смерти отца по весьма простой причине: все наше имение было продано с молотка за долги — так-таки решительно все, исключая одной деревушки, той самой, в которой я теперь вот доживаю свое великолепное существование. Я, признаюсь, даром что был тогда молод, а погрустил о продаже нашего гнезда; то есть по-настоящему я грустил только об одном нашем саде. С этим садом связаны почти единственные мои светлые воспоминания; там я в один тихий весенний вечер похоронил лучшего своего друга, старую собаку с куцым хвостом и кривыми лапками — Триксу; там, бывало, спрятавшись в высокую траву, я ел краденые яблоки, красные, сладкие новогородчины; там наконец я в первый раз увидал между кустами спелой малины горничную Клавдию, которая, несмотря на свой курносый нос и привычку смеяться в платок, возбудила во мне такую нежную страсть, что я в присутствии ее едва дышал, замирал и безмолвствовал, а однажды, в светлое воскресение, когда дошла до нее очередь приложиться к моей барской ручке, чуть не бросился целовать ее стоптанные козловые башмаки. Боже мой! Неужели ж этому всему двадцать лет? Кажется, давно ли еду я на моей рыженькой косматой лошадке вдоль старого плетня нашего сада и, приподнявшись на стременах, срываю двухцветные листья тополей? Пока человек живет, он не чувствует своей собственной жизни: она, как звук, становится ему внятною спустя несколько времени.

О мой сад, о заросшие дорожки возле мелкого пруда! о песчаное местечко под дряхлой плотиной, где я ловил пескарей и гольцов! и вы, высокие березы, с длинными висячими ветками, из-за которых с проселочной дороги, бывало, неслась унылая песенка мужика, неровно прерываемая толчками телеги,— я посылаю вам мое последнее прости!.. Расставаясь с жизнью, я к вам одним простираю мои руки. Я бы хотел еще раз надышаться горькой свежестью полыни, сладким запахом сжатой гре-

чихи на полях моей родины; я бы хотел еще раз услышать издали скромное тяканье надтреснутого колокола в приходской нашей церкви; еще раз полежать в прохладной тени под дубовым кустом на скате знакомого оврага; еще раз проводить глазами подвижный след ветра, темной струей бегущего по золотистой траве нашего луга...

Эх, к чему все это? Но я сегодня не могу продолжать. До завтра.

22 марта.

Сегодня опять холодно и пасмурно. Такая погода гораздо приличнее. Она под лад моей работе. Вчерашний день совершенно некстати возбудил во мне множество ненужных чувств и воспоминаний. Это более не повторится. Чувствительные излияния — словно солодковый корень: сперва пососешь — как будто недурно, а потом очень скверно станет во рту. Стану просто и спокойно рассказывать мою жизнь.

Итак, мы переехали в Москву...

Но мне приходит в голову: точно ли стоит рассказывать мою жизнь?

Нет, решительно не стоит... Жизнь моя ничем не отличалась от жизни множества других людей. Родительский дом, университет, служение в низменных чинах, отставка, маленький кружок знакомых, чистенькая бедность, скромные удовольствия, смиренные занятия, умеренные желания — скажите на милость, кому не известно все это? И потому я не стану рассказывать свою жизнь, тем более что пишу для собственного удовольствия; а коли мое прошедшее даже мне самому не представляет ничего ни слишком веселого, ни даже слишком печального, стало быть, в нем точно нет ничего достойного внимания. Лучше постараюсь изложить самому себе свой характер.

Что я за человек?.. Мне могут заметить, что и этого никто не спрашивает,— согласен. Но ведь я умираю, ей-богу умираю, а перед смертью, право, кажется, простительно желание узнать, что, дескать, я был за птица?

Обдумав хорошенько этот важный вопрос и не имея, впрочем, никакой нужды слишком горько выражаться на свой собственный счет, как это делают люди, сильно уверенные в своих достоинствах, я должен сознаться в одном: я был совершенно лишним человеком на сем свете

или, пожалуй, совершенно лишней птицей. И это я намерен доказать завтра, потому что я сегодня кашляю, как старая овца, и моя нянюшка, Терентьевна, не дает мне покоя: «Лягте, дескать, батюшка вы мой, да напейтесь чайку...» Я знаю, зачем она ко мне пристает: ей самой хочется чаю. Что ж! пожалуй! Отчего не позволить бедной старухе извлечь напоследях всю возможную пользу из своего барина?.. Пока еще время не ушло.

23 марта.

Опять зима. Снег валит хлопьями.

Лишний, лишний... Отличное это придумал я слово. Чем глубже я вникаю в самого себя, чем внимательнее рассматриваю всю свою прошедшую жизнь, тем более убеждаюсь в строгой истине этого выраженья. Лишний — именно. К другим людям это слово не применяется... Люди бывают злые, добрые, умные, глупые, приятные и неприятные; но лишние... нет. То есть поймите меня: и без этих людей могла бы вселенная обойтись... конечно; но бесполезность — не главное их качество, не отличительный их признак, и вам, когда вы говорите о них, слово «лишний» не первое приходит на язык. А я... про меня ничего другого и сказать нельзя: лишний — да и только. Сверхштатный человек — вот и все. На мое появление природа, очевидно, не рассчитывала и вследствие этого обошлась со мной, как с нежданным и незваным гостем. Недаром про меня сказал один шутник, большой охотник до преферанса, что моя матушка мною обремизилась. Я говорю теперь о самом себе спокойно, без всякой желчи... Дело прошлое! Во все продолжение жизни я постоянно находил свое место занятым, может быть, оттого, что искал это место не там, где бы следовало. Я был мнителен, застенчив, раздражителен, как все больные; притом, вероятно по причине излишнего самолюбия или вообще вследствие неудачного устройства моей особы, между моими чувствами и мыслями — и выражением этих чувств и мыслей — находилось какое-то бессмысленное, непонятное и непреоборимое препятствие; и когда я решался насильно победить это препятствие, сломить эту преграду — мои движения, выражение моего лица, все мое существо принимало вид мучительного напряжения: я не только казался — я действительно становился неестественным и натянутым. Я сам это чувство-

вал и спешил опять уйти в себя. Тогда-то поднималась внутри меня страшная тревога. Я разбирал самого себя до последней ниточки, сравнивал себя с другими, припоминал малейшие взгляды, улыбки, слова людей, перед которыми хотел было развернуться, толковал все в дурную сторону, язвительно смеялся над своим притязанием «быть, как все»,— и вдруг, среди смеха, печально опускался весь, впадал в нелепое уныние, а там опять принимался за прежнее,— словом, вертелся, как белка в колесе. Целые дни проходили в этой мучительной, бесплодной работе. Ну, теперь, скажите на милость, скажите сами, кому и на что такой человек нужен? Отчего это со мной происходило, какая причина этой кропотливой возни с самим собою — кто знает? кто скажет?

Помнится, однажды ехал я из Москвы в дилижансе. Дорога была хороша, а ямщик к четверке рядом припрег еще пристяжную. Эта несчастная, пятая, вовсе бесполезная лошадь, кое-как привязанная к передку толстой короткой веревкой, которая немилосердно режет ей ляжку, трет хвост, заставляет ее бежать самым неестественным образом и придает всему ее телу вид запятой, всегда возбуждает мое глубокое сожаление. Я заметил ямщику, что, кажется, можно было на сей раз обойтись без пятой лошади... Он помолчал, тряхнул затылком, стегнул ее взатяжку раз десяток кнутом через худую спину под раздутый живот — и не без усмешки промолвил: «Ведь вишь, в самом деле, приплелась! На кой черт?»

И я вот так же приплелся... Да, благо, станция недалеко.

Лишний... Я обещался доказать справедливость моего мнения и исполню свое обещание. Не считаю нужным упоминать о тысяче мелочей, ежедневных происшествий и случаев, которые, впрочем, в глазах всякого мыслящего человека могли бы послужить неопровержимыми доказательствами в мою пользу, то есть в пользу моего воззрения; лучше начну прямо с одного довольно важного случая, после которого, вероятно, уже не останется никакого сомнения насчет точности слова: лишний. Повторяю: я не намерен вдаваться в подробности, но не могу пройти молчанием одно довольно любопытное и замечательное обстоятельство, а именно: странное обращение со мной моих приятелей (у меня тоже были приятe-

ли) всякий раз, когда я им попадался навстречу или даже к ним заходил. Им становилось словно неловко; они, идя мне навстречу, как-то не совсем естественно улыбались, глядели мне не в глаза, не на ноги, как иные это делают, а больше в щеки, торопливо пожимали мне руку, торопливо произносили: «А! здравствуй, Чулкатурин!» (меня судьба одолжила таким прозванием) или «А, вот и Чулкатурин», тотчас отходили в сторону и даже некоторое время оставались потом неподвижными, словно силились что-то припомнить. Я все это замечал, потому что не лишен проницательности и дара наблюдения; я вообще неглуп; мне даже иногда в голову приходят мысли, довольно забавные, не совсем обыкновенные; но так как я человек лишний и с замочком внутри, то мне и жутко высказать свою мысль, тем более что я наперед знаю, что я ее прескверно выскажу. Мне даже иногда странным кажется, как это люди говорят, и так просто, свободно... Экая прыть, подумаешь. То есть, признаться сказать, и у меня, несмотря на мой замочек, частенько чесался язык; но действительно произносил слова я только в молодости, а в более зрелые лета почти всякий раз мне удавалось переломить себя. Скажу, бывало, вполголоса: «А вот мы лучше немножко помолчим», и успокоюсь. На молчание-то мы все горазды; особенно наши женщины этим взяли: иная возвышенная русская девица так могущественно молчит, что даже в подготовленном человеке подобное зрелище способно произвести легкую дрожь и холодный пот. Но дело не в том, и не мне критиковать других. Приступаю к обещанному рассказу.

Несколько лет тому назад, благодаря стечению весьма ничтожных, но для меня очень важных обстоятельств, пришлось мне провести месяцев шесть в уездном городе О... Город этот весь выстроен на косогоре, и очень неудобно выстроен. Жителей в нем считается около восьмисот, бедности необыкновенной, домишки совершенно ни на что не похожи, на главной улице, под предлогом мостовой, изредка белеют грозные плиты неотесанного известняка, вследствие чего ее объезжают даже телеги; по самой середине изумительно неопрятной площади возвышается крошечное желтоватое строение с темными дирами, а в дирах сидят люди в больших картузах и притворяются, будто торгуют; тут же торчит необыкновенно высокий пестрый шест, а возле шеста, для порядка, по приказу начальства, держится воз желтого сена и ходит

одна казенная курица. Словом, в городе О... житье хоть куда. В первые дни моего пребывания в этом городе я чуть с ума не сошел от скуки. Я должен сказать о себе, что я хотя, конечно, и лишний человек, но не по собственной охоте; я сам болен, а все больное терпеть не могу... Я и от счастья бы не прочь, я даже старался подойти к нему и справа и слева... И потому не удивительно, что и я могу скучать, как всякий другой смертный. Я находился в городе О... по служебным делам...

Терентьевна решительно поклялась уморить меня. Вот образчик нашего разговора:

Терентьевна. О-ох, батюшка! что вы это все пишете? вам нездорово писать-то.

Я. Да скучно, Терентьевна!

Она. А вы напейтесь чайку да лягте. Бог даст, вспотеете, соснете маненько.

Я. Да я не хочу спать.

Она. Ах, батюшка! что вы это? Господь с вами! Лягте-ка, лягте: оно лучше.

Я. Я и без того умру, Терентьевна!

Она. Сохрани господь и помилуй... Что ж, прикажете чайку?

Я. Я недели не проживу, Терентьевна!

Она. И-и, батюшка! что вы это?.. Так я пойду самоварчик поставлю.

О дряхлое, желтое, беззубое существо! Неужели и для тебя я не человек!

24 марта. Трескучий мороз.

В самый день моего прибытия в город О... вышеупомянутые служебные дела заставили меня сходить к некоему Ожогину, Кирилле Матвеичу, одному из главных чиновников уезда; но познакомился я с ним, или, как говорится, сблизился, спустя две недели. Дом его находился на главной улице и отличался от всех других величиной, крашеной крышей и двумя львами на воротах, из той породы львов, необыкновенно похожих на неудавшихся собак, родина которым Москва. По одним уже этим львам можно было заключить, что Ожогин человек с достатком. И действительно: у него было душ четыреста крестьян; он принимал у себя все лучшее общество города О... и слыл хлебосолом. К нему ездил и городничий на широких рыжих дрожках парой, необыкновенно крупный, словно из залежалого материала скроенный человек; ездили про-

чие чиновники: стряпчий, желтенькое и злобненькое существо; остряк землемер — немецкого происхождения, с татарским лицом; офицер путей сообщения — нежная душа, певец, но сплетник; бывший уездный предводитель — господин с крашеными волосами, взбитой манишкой, панталонами в обтяжку и тем благороднейшим выражением лица, которое так свойственно людям, побывавшим под судом; ездили также два помещика, друзья неразлучные, оба уже немолодые и даже потертые, из которых младший постоянно уничтожал старшего и зажимал ему рот одним и тем же упреком: «Да полноте, Сергей Сергеич; куда вам? Ведь вы слово: пробка — пишете с буки. Да, господа,— продолжал он со всем жаром убеждения, обращаясь к присутствующим,— Сергей Сергеич пишет не пробка, а бробка». И все присутствующие смеялись, хотя, вероятно, ни один из них не отличался особенным искусством в правописании; а несчастный Сергей Сергеич умолкал и с замирающей улыбкой преклонял голову. Но я забываю, что мое время рассчитано, и вдаюсь в слишком подробные описания. Итак, без дальних околичностей: Ожогин был женат, у него была дочь, Елизавета Кирилловна, и я в эту дочь влюбился.

Сам Ожогин был человек дюжинный, не дурной и не хороший; жена его сбивалась на застарелого цыпленка; но дочь их вышла не в своих родителей. Она была очень недурна собой, живого и кроткого нрава. Ее серые, светлые глаза глядели добродушно и прямо из-под ребячески приподнятых бровей; она почти постоянно улыбалась и смеялась тоже довольно часто. Свежий голос ее звучал очень приятно; двигалась она вольно, быстро — и весело краснела. Одевалась она не слишком изящно; к ней шли одни простые платья. Я вообще не скоро знакомился, и если мне с кем-нибудь было с первого раза легко — что, впрочем почти никогда не случалось,— это, признаюсь, сильно говорило в пользу нового знакомства. С женщинами же я вовсе не умел обращаться и в присутствии их либо хмурился и принимал свирепый вид, либо глупейшим образом скалил зубы и от замешательства вертел языком во рту. С Елизаветой Кирилловной, напротив, я с первого же раза почувствовал себя дома. Вот каким образом это случилось. Прихожу я однажды перед обедом к Ожогину, спрашиваю: «Дома?» Говорят: «Дома, одеваются; пожалуйте в залу». Я в залу; смотрю, у окна стоит, ко мне спиной, девица в белом платье и держит в

руках клетку. Меня, по обыкновению, слегка покоробило; однако я ничего, только кашлянул для приличия. Девица быстро обернулась, так быстро, что локоны ее ударили ей в лицо, увидела меня, поклонилась и с улыбкой показала мне ящичек, до половины наполненный зернами. «Вы позволите?» Я, разумеется, как водится в таких случаях, сперва наклонил голову и в то же время быстро согнул и выпрямил колени (словно кто ударил меня сзади в поджилки), что, как известно, служит признаком отличного воспитания и приятной развязности в обхождении, а потом улыбнулся, поднял руку и раза два осторожно и мягко провел ею по воздуху. Девица тотчас отвернулась от меня, вынула из клетки дощечку, начала сильно скрести по ней ножом и вдруг, не переменяя положения, произнесла следующие слова: «Это папенькин снегирь... Вы любите снегирей?» — «Я предпочитаю чижей», — отвечал я не без некоторого усилия. «А! Я тоже люблю чижей; но посмотрите на него, какой он хорошенький. Посмотрите, он не боится. (Меня удивляло то, что я не боялся.) Подойдите. Его зовут Попка». Я подошел, нагнулся. «Не правда ли, какой он милый?» Она обернулась ко мне лицом; но мы так близко стояли друг к другу, что ей пришлось немного откинуть голову, чтобы взглянуть на меня своими светлыми глазками. Я посмотрел на нее: все ее молодое, розовое лицо так дружелюбно улыбалось, что и я улыбнулся и чуть не засмеялся от удовольствия. Дверь растворилась: вошел господин Ожогин. Я тотчас подошел к нему, заговорил с ним очень непринужденно, сам не знаю, как остался обедать, высидел весь вечер; а на другой день лакей Ожогина, длинноватый и подслеповатый человек, уже улыбался мне, как другу дома, стаскивая с меня шинель.

Найти приют, свить себе хотя временное гнездо, знать отраду ежедневных отношений и привычек — этого счастия я, лишний, без семейных воспоминаний человек, до тех пор не испытал. Если б во мне хоть что-нибудь напоминало цветок и если б это сравнение не было так избито, я бы решился сказать, что я с того дня расцвел душою. Все во мне и вокруг меня так мгновенно переменилось! Вся жизнь моя озарилась любовью, именно вся, до самых мелочей, словно темная, заброшенная комната, в которую внесли свечку. Я ложился спать и вставал, одевался, завтракал, трубку курил — иначе, чем прежде; я даже на ходу подпрыгивал — право, словно крылья вдруг

выросли у меня за плечами. Я, помнится, ни минуты не находился в неизвестности насчет чувства, внушенного мне Елизаветой Кирилловной: я с первого дня влюбился в нее страстно и с первого же дня знал, что влюбился. В течение трех недель я каждый день ее видел. Эти три недели были счастливейшим временем в моей жизни; но воспоминание о них мне тягостно. Я не могу думать о них одних: мне невольно представляется то, что последовало за ними, и ядовитая горечь медлительно охватит только что разнежившееся сердце.

Когда человеку очень хорошо, мозг его, как известно, весьма мало действует. Спокойное и радостное чувство, чувство удовлетворения, проникает все его существо; он поглощен им; сознание личности в нем исчезает — он блаженствует, как говорят дурно воспитанные поэты. Но когда наконец минует это «очарование», человеку иногда становится досадно и жаль, что он посреди счастия так мало наблюдал за самим собою, что он размышлением, воспоминанием не удвоил, не продолжал своих наслаждений... как будто «блаженствующему» человеку есть когда, да и стоит размышлять о своих чувствах! Счастливый человек — что муха на солнце. Оттого-то и мне, когда я вспоминаю об этих трех неделях, почти невозможно удержать в уме точное, определенное впечатление, тем более что в течение всего этого времени ничего особенно замечательного не произошло между нами... Эти двадцать дней являются мне чем-то теплым, молодым и пахучим, какой-то светлой полосою в моей тусклой и серенькой жизни. Память моя становится вдруг неумолимо верна и ясна только с того мгновения, когда на меня, говоря словами тех же дурно воспитанных сочинителей, обрушились удары судьбы.

Да, эти три недели... Впрочем, они не то чтобы не оставили во мне никаких образов. Иногда, когда мне случается долго думать о том времени, иные воспоминания внезапно выплывают из мрака прошедшего — вот как звезды неожиданно выступают на вечернем небе навстречу внимательно устремленным глазам. Особенно памятной осталась мне одна прогулка в роще за городом. Нас было четверо: старуха Ожогина, Лиза, я и некто Бизьмёнков, мелкий чиновник города О..., белокуренький, добренький и смирненький человек. Мне еще о нем придется поговорить. Сам г. Ожогин остался дома: у него от слишком продолжительного сна голова разболелась. День был

чудесный, теплый и тихий. Должно заметить, что увеселительные сады и общественные гулянья не в духе русского человека. В губернских городах, в так называемых публичных садах, вы ни в какое время года не встретите живой души; разве какая-нибудь старуха, кряхтя, присядет на пропеченную солнцем зеленую скамейку, в соседстве больного деревца, да и то коли поблизости нет засаленной лавочки у подворотни. Но если в соседстве города находится жиденькая березовая рощица, купцы, а иногда и чиновники, по воскресным и праздничным дням, охотно туда ездят с самоварами, пирогами, арбузами, становят всю эту благодать на пыльную траву возле самой дороги, садятся кругом и кушают и чайничают в поте лица до самого вечера. Именно такого рода рощица существовала тогда в двух верстах от города О... Мы приехали туда после обеда, напились как следует чаю и потом все четверо отправились походить по роще. Бизьмёнков взял под руку старуху Ожогину, я — Лизу. День уже склонялся к вечеру. Я находился тогда в самом разгаре первой любви (не более двух недель прошло со времени нашего знакомства), в том состоянии страстного и внимательного обожания, когда вся ваша душа невинно и невольно следит за каждым движением любимого существа, когда вы не можете насытиться его присутствием, наслушаться его голоса, когда вы улыбаетесь и смотрите выздоровевшим ребенком, и несколько опытный человек на сто шагов с первого взгляда, должен узнать, что с вами происходит. Мне до того дня еще ни разу не случалось держать Лизу под руку. Мы шли с ней рядом, тихо выступая по зеленой траве. Легкий ветерок словно порхал вокруг нас, между белыми стволами берез, изредка бросая мне в лицо ленту ее шляпки. Я неотступно следил за ее взором, пока она наконец весело не обращалась ко мне, и мы оба улыбались друг другу. Птицы одобрительно чирикали над нами, голубое небо ласково сквозило сквозь мелкую листву. Голова моя кружилась от избытка удовольствия. Спешу заметить: Лиза нисколько не была в меня влюблена. Я ей нравился; она вообще никого не дичилась, но не мне было суждено возмутить ее детское спокойствие. Она шла под руку со мной, как бы с братом. Ей было тогда семнадцать лет... И, между тем в тот самый вечер, при мне, началось в ней то внутреннее, тихое брожение, которое предшествует превращению ребенка в женщину... Я был свидетелем этой перемены всего существа, этого невин-

ного недоумения, этой тревожной задумчивости; я первый подметил эту внезапную мягкость взора, эту звенящую неверность голоса — и, о глупец! о лишний человек! в течение целой недели я не устыдился предполагать, что я, *я* был причиной этой перемены.

Вот каким образом это случилось.

Мы гуляли довольно долго, до самого вечера, и мало разговаривали. Я молчал, как все неопытные любовники, а ей, вероятно, нечего было мне сказать; но она словно о чем-то размышляла и как-то особенно покачивала головой, задумчиво кусая сорванный лист. Иногда она принималась идти вперед, так решительно... а потом вдруг останавливалась, ждала меня и оглядывалась кругом с приподнятыми бровями и рассеянной усмешкой. Накануне мы с ней вместе прочли «Кавказского пленника». С какой жадностью она меня слушала, опершись лицом на обе руки и прислонясь грудью к столу! Я было заговорил о вчерашнем чтении; она покраснела, спросила меня, дал ли я перед отъездом снегирю конопляного семени, громко запела какую-то песенку и вдруг замолчала. Роща с одной стороны кончалась довольно высоким и крутым обрывом; внизу текла извилистая речка, а за ней на необозримое пространство тянулись, то слегка вздымаясь как волны, то широко расстилаясь скатертью, бесконечные луга, кой-где перерезанные оврагами. Мы с Лизой первые вышли на край рощи; Бизьмёнков остался позади с старухой. Мы вышли, остановились, и оба невольно прищурили глаза: прямо против нас, среди раскаленного тумана, садилось багровое, огромное солнце. Полнеба разгоралось и рдело; красные лучи били вскользь по лугам, бросая алый отблеск даже на тенистую сторону оврагов, ложились огнистым свинцом по речке, там, где она не пряталась под нависшие кусты, и словно упирались в грудь обрыву и роще. Мы стояли, облитые горячим сиянием. Я не в состоянии передать всю страстную торжественность этой картины. Говорят, одному слепому красный цвет представлялся трубным звуком; не знаю, насколько это сравнение справедливо, но действительно было что-то призывное в этом пылающем золоте вечернего воздуха, в багряном блеске неба и земли. Я вскрикнул от восторга и тотчас обратился к Лизе. Она глядела прямо на солнце. Помнится, пожар зари отражался маленькими огненными пятнышками в ее глазах. Она была поражена, глубоко тронута. Она ничего не отвечала на мое восклицание,

долго не шевелилась, потупила голову... Я протянул к ней руку; она отвернулась от меня и вдруг залилась слезами. Я глядел на нее с тайным, почти радостным недоумением... Голос Бизьмёнкова раздался в двух шагах от нас. Лиза быстро отерла слезы и с нерешительной улыбкой посмотрела на меня. Старуха вышла из рощи, опираясь на руку своего белокурого вожатая; оба в свою очередь любовались видом. Старуха спросила что-то у Лизы, и я, помню, невольно вздрогнул, когда ей в ответ прозвучал, как надтреснувшее стекло, разбитый голосок ее дочери. Между тем солнце закатилось, заря начала гаснуть. Мы пошли назад. Я опять взял Лизу под руку. В роще было еще светло, и я ясно мог различить ее черты. Она была смущена и не поднимала глаз. Румянец, разлитый по всему ее лицу, не исчезал: словно она все еще стояла в лучах заходящего солнца... Рука ее чуть касалась моей. Я долго не мог начать речи: так сильно билось во мне сердце. Сквозь деревья вдали замелькала карета; кучер ехал к нам навстречу по рыхлому песку дороги.

— Лизавета Кирилловна,— промолвил я наконец,— отчего вы плакали?

— Не знаю,— возразила она после небольшого молчания, посмотрела на меня своими кроткими, еще влажными от слез глазами — взгляд их показался мне измененным — и опять умолкла.

— Вы, я вижу, любите природу...— продолжал я.

Я совсем не то хотел сказать, да и эту последнюю фразу язык мой едва пролепетал до конца. Она покачала головой. Я более не мог произнести слова... я ждал чего-то... не признанья — где! я ждал доверчивого взгляда, вопроса... Но Лиза глядела на землю и молчала. Я повторил еще раз вполголоса: «Отчего?» — и не получил ответа. Ей, я это видел, становилось неловко, почти стыдно.

Спустя четверть часа мы уже сидели в карете и подъезжали к городу. Дружной рысью бежали лошади; мы быстро мчались сквозь темнеющий, влажный воздух. Я вдруг разговорился, беспрестанно обращался то к Бизьмёнкову, то к Ожогиной, не глядел на Лизу, но мог заметить, что из угла кареты взор ее не раз останавливался на мне. Дома она встрепенулась, однако не захотела читать со мной и скоро отправилась спать. Перелом, тот перелом, о котором я говорил, в ней совершился. Она перестала быть девочкой, она тоже начала ждать... как я... чего-то. Она недолго ждала.

Но я в ту же ночь вернулся к себе на квартиру в совершенном очаровании. Смутное — не то предчувствие, не то подозрение, которое возникло было во мне, исчезло: внезапную принужденность в обхождении Лизы со мною я приписывал девической стыдливости, робости... Разве я не читал тысячи раз во многих сочинениях, что первое появление любви всегда волнует и пугает девицу? Я чувствовал себя весьма счастливым и уже строил в уме различные планы...

Если б кто-нибудь сказал мне тогда на ухо: «Врешь, любезный! Тебе совсем не то предстоит, братец: тебе предстоит умереть одиноко, в дрянном домишке, под несносное ворчанье старой бабы, которая ждет не дождется твоей смерти, чтобы продать за бесценок твои сапоги...»

Да, поневоле скажешь с одним русским философом: «Как знать, чего не знаешь?» До завтра.

25 марта. Белый зимний день.

Я перечел то, что вчера написал, и чуть-чуть не изорвал всей тетради. Мне кажется, я слишком пространно и слишком сладко рассказываю. Впрочем, так как остальные мои воспоминания о том времени не представляют ничего отрадного, кроме той отрады особенного рода, которую Лермонтов имел в виду, когда говорил, что весело и больно тревожить язвы старых ран, то почему же и не побаловать себя? Но надобно и честь знать. И потому продолжаю без всякой сладости.

В течение целой недели, после прогулки за городом, положение мое, в сущности, нисколько не улучшилось, хотя перемена в Лизе становилась заметнее с каждым днем. Я, как уже сказано, толковал эту перемену в самую для меня выгодную сторону... Несчастие людей одиноких и робких — от самолюбия робких — состоит именно в том, что они, имея глаза и даже растаращив их, ничего не видят или видят все в ложном свете, словно сквозь окрашенные очки. Их же собственные мысли и наблюдения мешают им на каждом шагу. В начале нашего знакомства Лиза обращалась со мной доверчиво и вольно, как ребенок; может быть, даже в ее расположении ко мне было нечто более простой, детской привязанности... Но когда совершился в ней тот странный, почти внезапный перелом, она, после небольшого недоумения, почувствовала себя стесненной в моем присутствии; она невольно отво-

рачивалась от меня и в то же время грустила и задумывалась... Она ждала... чего? сама не знала... а я... я, как уже сказано, радовался этой перемене... Я, ей-богу, чуть-чуть не замирал, как говорится, от восторга. Впрочем, я готов согласиться, что и другой на моем месте мог бы обмануться... У кого нет самолюбия? Нечего и говорить, что это все мне стало ясным только в последствии времени, когда мне пришлось опустить свои ошибенные, и без того несильные, крылья.

Недоразумение, возникшее между мной и Лизой, продолжалось целую неделю,— и в этом нет ничего удивительного: мне случалось быть свидетелем недоразумений, продолжавшихся годы за годами. Да и кто сказал, что одна истина действительна? Ложь так же живуча, как и истина, если не более. Точно, помнится, во мне даже в течение этой недели изредка шевелился червь... но наш брат, одинокий человек, опять-таки скажу, так же не способен понять то, что в нем происходит, как и то, что совершается перед его глазами. Да и притом: разве любовь — естественное чувство? Разве человеку свойственно любить? Любовь — болезнь; а для болезни закон не писан. Положим, у меня сердце иногда неприятно сжималось; да ведь все во мне было перевернуто кверху дном. Как тут прикажете узнать, что ладно и что неладно, какая причина, какое значение каждого отдельного ощущения?

Но как бы то ни было, все эти недоразумения, предчувствия и надежды разрешились следующим образом.

Однажды — дело было утром, часу в двенадцатом — не успел я войти в переднюю г. Ожогина, как незнакомый звонкий голос раздался в зале, дверь распахнулась, и, в сопровождении хозяина, показался на пороге стройный и высокий мужчина лет двадцати пяти, быстро накинул на себя военную шинель, лежавшую на прилавке, ласково простился с Кириллом Матвеичем, проходя мимо меня, небрежно коснулся своей фуражки — и исчез, звеня шпорами.

— Кто это? — спросил я Ожогина.

— Князь Н *,— отвечал мне тот с озабоченным лицом,— из Петербурга прислан: рекрутов принимать. Да где ж это люди? — продолжал он с досадой,— шинели ему никто не подал.

Мы вошли в залу.

— Давно он приехал? — спросил я.

— Говорят, вчера вечером. Я ему предложил комнату у себя, да он отказался. Впрочем, он, кажется, очень милый малый.

— Долго он у вас пробыл?

— С час. Он просил меня представить его Олимпиаде Никитичне.

— И вы представили его?

— Как же.

— А с Лизаветой Кирилловной он...

— Он и с ней познакомился — как же.

Я помолчал.

— Надолго он сюда приехал, вы не знаете?

— Да я думаю, ему здесь недели две придется пробыть с лишком.

И Кирилла Матвеич побежал одеваться.

Я прошелся несколько раз по зале. Не помню, чтобы приезд князя Н * произвел во мне тогда же какое-нибудь особенное впечатление, кроме того неприязненного чувства, которое обыкновенно овладевает нами при появлении нового лица в нашем домашнем кружку. Может быть, к этому чувству примешивалось еще нечто вроде зависти робкого и темного москвича к блестящему петербургскому офицеру. «Князь,— думал я,— столичная штучка: на нас свысока смотреть будет...» Не более минуты видел я его, но успел заметить, что он был хорош собой, ловок и развязен. Походив некоторое время по зале, я наконец остановился перед зеркалом, достал из кармана гребешок, придал моим волосам живописную небрежность и, как это иногда случается, внезапно углубился в созерцание моего собственного лица. Помнится, мое внимание было заботливо сосредоточено на моем носе; мягковатые и неопределенные очертания этого члена не доставляли мне особенного удовольствия — как вдруг, в темной глубине наклоненного стекла, отражавшего почти всю комнату, отворилась дверь и показалась стройная фигура Лизы. Не знаю, почему я не шевельнулся и удержал на лице прежнее выражение. Лиза протянула голову, внимательно посмотрела на меня и, подняв брови, закусив губы и притаив дыхание, как человек, который рад, что его не заметили, осторожно подалась назад и тихонько потянула за собою дверь. Дверь слабо скрипнула. Лиза вздрогнула и замерла на месте... Я все не шевелился... Она потянула за ручку опять и скрылась. Не было возможности сомневаться: выражение Лизина лица при ви-

де моей особы, это выражение, в котором не замечалось ничего, кроме желания благополучно убраться назад, избегнуть неприятного свидания, быстрый отблеск удовольствия, который я успел уловить в ее глазах, когда ей показалось, что ей точно удалось ускользнуть незамеченной,— все это говорило слишком ясно: эта девушка меня не любит. Я долго, долго не мог отвести взора от неподвижной, немой двери, снова белым пятном появившейся в глубине зеркала; хотел было улыбнуться своей собственной вытянутой фигуре — опустил голову, вернулся домой и бросился на диван. Мне было необыкновенно тяжело, так тяжело, что я не мог плакать... да и о чем было плакать?.. «Неужели? — твердил я беспрестанно, лежа, как убитый, на спине и сложив руки на груди,— неужели?..» Как вам нравится это «неужели»?

26 марта. Оттепель.

Когда я на другой день, после долгих колебаний и внутренно замирая, вошел в знакомую гостиную Ожогиных, я уже был не тем человеком, каким они меня знали в течение трех недель. Все мои прежние замашки, от которых я было начал отвыкать под влиянием нового для меня чувства, внезапно появились опять и завладели мною, как хозяева, вернувшиеся в свой дом. Люди, подобные мне, вообще руководствуются не столько положительными фактами, сколько собственными впечатлениями: я, не далее как вчера мечтавший о «восторгах взаимной любви», сегодня уже нимало не сомневался в своем «несчастии» и совершенно отчаивался, хотя я сам не был в состоянии сыскать какой-нибудь разумный предлог своему отчаянию. Не мог же я ревновать к князю Н *, и какие бы за ним ни водились достоинства, одного его появления не было достаточно, чтобы разом искоренить то расположение Лизы ко мне... Да полно, существовало ли это расположение? Я припоминал прошедшее. «А прогулка в лесу? — спрашивал я самого себя.— А выражение ее лица в зеркале? Но,— продолжал я,— прогулка в лесу, кажется... Фу ты, боже мой! что я за ничтожное существо!» — восклицал я вслух наконец. Вот какого рода недосказанные, недодуманные мысли, тысячу раз возвращаясь, однообразным вихрем кружились в голове моей. Повторяю, я вернулся к Ожогиным тем же мнительным, подозрительным, натянутым человеком, каким был с детства...

Я застал все семейство в гостиной; Бизьмёнков тут же сидел, в уголку. Все казались в духе: особенно Ожогин так и сиял и с первого же слова сообщил мне, что князь Н * пробыл у них вчера целый вечер. Лиза спокойно приветствовала меня. «Ну,— сказал я сам себе,— теперь я понимаю, отчего вы в духе». Признаюсь, вторичное посещение князя меня озадачило. Я этого не ожидал. Вообще наш брат ожидает всего на свете, кроме того, что в естественном порядке вещей должно случиться. Я надулся и принял вид оскорбленного, но великодушного человека; хотел наказать Лизу своею немилостью, из чего, впрочем, должно заключить, что я все-таки еще не совершенно отчаивался. Говорят, в иных случаях, когда вас действительно любят, даже полезно помучить обожаемое существо; но в моем положении это было невыразимо глупо: Лиза самым невинным образом не обратила на меня внимания. Одна старуха Ожогина заметила мою торжественную молчаливость и заботливо осведомилась о моем здоровье. Я, разумеется, с горькою улыбкой отвечал ей, что я, слава богу, совершенно здоров. Ожогин продолжал распространяться насчет своего гостя; но, заметив, что я неохотно отвечал ему, он обращался более к Бизьмёнкову, который слушал его с большим вниманием, как вдруг вошел человек и доложил о князе Н*. Хозяин вскочил и побежал ему навстречу; Лиза, на которую я тотчас устремил орлиный взор, покраснела от удовольствия и зашевелилась на стуле. Князь вошел, раздушенный, веселый, ласковый...

Так как я не сочиняю повести для благосклонного читателя, а просто пишу для собственного удовольствия, то мне, стало быть, не для чего прибегать к обычным уловкам господ литераторов. Скажу сейчас же, без дальнего отлагательства, что Лиза с первого же дня страстно влюбилась в князя, и князь ее полюбил — отчасти от нечего делать, отчасти от привычки кружить женщинам голову, но также оттого, что Лиза точно была очень милое существо. В том, что они полюбили друг друга, не было ничего удивительного. Он, вероятно, никак не ожидал найти подобную жемчужину в такой скверной раковине (я говорю о богомерзком городе О...), а она до тех пор и во сне не видала ничего хотя несколько похожего на этого блестящего, умного, пленительного аристократа.

После первых приветствий Ожогин представил меня князю, который обошелся со мной очень вежливо. Он во-

обще был очень вежлив со всеми и, несмотря на несоразмерное расстояние, находящееся между ним и нашим темным уездным кружком, умел не только никого не стеснять, но даже показать вид, как будто он был нам равный и только случайным образом жил в С.-Петербурге.

Этот первый вечер... О, этот первый вечер! В счастливые дни нашего детства учители рассказывали нам и поставляли в пример черту мужественного терпения того молодого лакедемонца, который, украв лисицу и спрятав ее под свою хламиду, ни разу не пикнув, позволил ей съесть все свои потроха и таким образом предпочел самую смерть позору... Я не могу найти лучшего сравнения для выражения моих несказанных страданий в течение того вечера, когда я в первый раз увидел князя подле Лизы. Моя постоянно напряженная улыбка, мучительная наблюдательность, мое глупое молчание, тоскливое и напрасное желание уйти — все это, вероятно, было весьма замечательно в своем роде. Не одна лисица рылась в моих внутренностях: ревность, зависть, чувство своего ничтожества, бессильная злость меня терзали. Я не мог не сознаться, что князь был действительно весьма любезный молодой человек... Я пожирал его глазами; я, право, кажется, забывал мигать, глядя на него. Он разговаривал не с одной Лизой, но, конечно, говорил только для нее одной. Я, должно быть, сильно надоедал ему... Он, вероятно, скоро догадался, что имел дело с устраненным любовником, но из сожаления ко мне, а также из глубокого сознания моей совершенной безопасности обращался со мной необыкновенно мягко. Можете себе представить, как это меня оскорбляло! В течение вечера я, помнится, попытался загладить свою вину; я (не смейтесь надо мной, кто бы вы ни были, кому попадутся эти строки на глаза, тем более что это было моей последней мечтой)... я, ей-богу, посреди моих разнообразных терзаний вдруг вообразил, что Лиза хочет наказать меня за мою надменную холодность в начале моего посещения, что она сердится на меня и только с досады кокетничает с князем... Я улучил время и, с смиренной, но ласковой улыбкой подойдя к ней, пробормотал: «Довольно, простите меня... впрочем, я это не оттого, чтобы я боялся»,— и вдруг, не дожидаясь ее ответа, придал лицу своему необыкновенно живое и развязное выражение, криво усмехнулся, протянул руку над головой в направлении потолка (я помнит-

ся, желал поправить шейный платок) и даже собирался повернуться на одной ножке, как бы желая сказать: «Все кончено, я в духе, будемте все в духе», однако не повернулся, боясь упасть по причине какой-то неестественной окоченелости в коленях... Лиза решительно не поняла меня, с удивлением посмотрела мне в лицо, торопливо улыбнулась, как бы желая поскорее отделаться, и снова подошла к князю. Как я ни был слеп и глух, но не мог внутренно не сознаться, что она вовсе не сердилась и не досадовала на меня в эту минуту: она просто и не думала обо мне. Удар был решительный: последние мои надежды с треском рухнули, как ледяная глыба, прохваченная весенним солнцем, внезапно рассыпается на мелкие куски. Я был разбит наголову с первого же натиска и, как пруссаки под Иеной, в один день, разом все потерял. Нет, она не сердилась на меня?..

Увы, напротив! Ее самое — я это видел — подмывало, как волной. Словно молодое деревцо, уже до половины отставшее от берега, она с жадностью наклонялась над потоком, готовая отдать ему навсегда и первый расцвет своей весны, и всю жизнь свою. Кому довелось быть свидетелем подобного увлечения, тот пережил горькие минуты, если он сам любил и не был любимым. Я вечно буду помнить это пожирающее внимание, эту нежную веселость, это невинное самозабвение, этот взгляд, еще детский и уже женский, эту счастливую, словно расцветающую улыбку, не покидавшую полураскрытых губ и зардевшихся щек... Все, что Лиза смутно предчувствовала во время нашей прогулки в роще, сбылось теперь,— и она, отдаваясь вся любви, в то же время вся утихала и светлела, как молодое вино, которое перестает бродить, потому что его время настало...

Я имел терпение высидеть этот первый вечер и последующие вечера... все до конца! Я ни на что не мог надеяться. Лиза и князь с каждым днем более и более привязывались друг к другу... Но я решительно потерял чувство собственного достоинства и не мог оторваться от зрелища своего несчастия. Помнится, однажды я попытался было не пойти, с утра дал себе честное слово остаться дома... и в восемь часов вечера (я обыкновенно выходил в семь), как сумасшедший, вскочил, надел шапку и, задыхаясь, прибежал в гостиную Кирилла Матвеича. Положение мое было необыкновенно нелепо: я упорно молчал, иногда по целым дням не произносил звука. Я, как

уже сказано, никогда не отличался красноречием; но теперь все, что было во мне ума, словно улетучивалось в присутствии князя и я оставался гол как сокол. Притом я наедине до того заставлял работать мой несчастный мозг, медленно передумывая все замеченное или подмеченное мною в течение вчерашнего дня, что, когда я возвращался к Ожогиным, у меня едва доставало силы опять наблюдать. Меня щадили, как больного: я это видел. Я каждое утро принимал новое, окончательное решение, большею частью мучительно высиженное в течение бесонной ночи: я то собирался объясниться с Лизой, дать ей дружеский совет... но когда мне случалось быть с ней наедине, язык мой вдруг переставал действовать, словно застывал, и мы оба с тоской ожидали прибытия третьего лица; то хотел бежать, разумеется навсегда, оставив моему предмету письмо, исполненное упреков, и уже однажды начал было это письмо, но чувство справедливости во мне еще не совсем исчезло: я понял, что не вправе никого ни в чем упрекать, и бросил в огонь свою цидулу; то я вдруг великодушно приносил всего себя в жертву, благословлял Лизу на счастливую любовь и из угла кротко и дружелюбно улыбался князю. Но жестокосердые любовники не только не благодарили меня за мою жертву, даже не замечали ее и, по-видимому, не нуждались ни в моих благословениях, ни в моих улыбках... Тогда я, с досады, внезапно переходил в совершенно противоположные настроения духа. Я давал себе слово, закутавшись плащом наподобие испанца, из-за угла зарезать счастливого соперника и с зверской радостью воображал себе отчаяние Лизы... Но, во-первых, в городе О... подобных углов было очень немного, а во-вторых — бревенчатый забор, фонарь, будочник в отдалении... нет! у такого угла как-то приличнее торговать бубликами, чем проливать кровь человеческую. Я должен признаться, что между прочими средствами к избавлению, как я весьма неопределенно выражался, беседуя с самим собою, я вздумал было обратиться к самому Ожогину... направить внимание этого дворянина на опасное положение его дочери, на печальные последствия ее легкомыслия... Я даже однажды заговорил с ним об этом щекотливом предмете, но так хитро и туманно повел речь, что он слушал, слушал меня — и вдруг, словно спросонья, сильно и быстро потер ладонью по всему лицу, не щадя носа, фыркнул и отошел от меня в сторону. Нечего и говорить, что я, приняв

это решение, уверял себя, что действую из самых бескорыстных видов, желаю общего блага, исполняю долг друга дома... Но смею думать, что если б даже Кирилла Матвеич не пресек моих излияний, у меня все-таки недостало бы храбрости докончить свой монолог. Я иногда принимался с важностью древнего мудреца взвешивать достоинства князя; иногда утешал себя надеждою, что это только так, что Лиза опомнится, что ее любовь — ненастоящая любовь... о нет! Словом, я не знаю мысли, над которой не повозился бы я тогда. Одно только средство, признаюсь откровенно, никогда мне не приходило в голову, а именно: я ни разу не подумал лишить себя жизни. Отчего это мне не пришло в голову, не знаю... Может быть, я уже тогда предчувствовал, что мне и без того жить недолго.

Понятно, что при таких невыгодных данных поведение мое, обхождение с людьми более чем когда-нибудь отличалось неестественностию и напряжением. Даже старуха Ожогина — это тупорожденное существо — начинала дичиться меня и, бывало, не знала, с какой стороны ко мне подойти. Бизьмёнков, всегда вежливый и готовый к услугам, избегал меня. Мне уже тогда казалось, что я в нем имел собрата, что и он любил Лизу. Но он никогда не отвечал на мои намеки и вообще неохотно со мной разговаривал. Князь обращался с ним весьма дружелюбно; князь, можно сказать, уважал его. Ни Бизьмёнков, ни я — мы не мешали князю и Лизе; но он не чуждался их, как я, не глядел ни волком, ни жертвой — и охотно присоединялся к ним, когда они этого желали. Правда, он в этих случаях не отличался особенно шутливостью; но в его веселости и прежде было что-то тихое.

Таким образом прошло около двух недель. Князь не только был собой хорош и умен: он играл на фортепьяно, пел, довольно порядочно рисовал, умел рассказывать. Его анекдоты, почерпнутые из высших кругов столичной жизни, всегда производили сильное впечатление на слушателей, тем более сильное, что он как будто не придавал им особенного значения...

Следствием этой, если хотите, простой уловки князя было то, что он в течение своего непродолжительного пребывания в городе О... решительно очаровал все тамошнее общество. Очаровать нашего брата-степняка всегда очень легко человеку из высшего круга. Частые посещения князя у Ожогиных (он проводил у них все вечера),

конечно, возбуждали зависть других господ дворян и чиновников; но князь, как человек светский и умный, не обошел ни одного из них, побывал у всех, всем барыням и барышням сказал хотя по одному ласковому слову, позволял кормить себя вычурно тяжелыми кушаньями и поить дрянными винами с великолепными названиями — словом, вел себя отлично, осторожно и ловко. Князь Н * вообще был человек веселого нрава, общежительный, любезный по наклонности, да тут еще, кстати, по расчету: как же ему было не успеть совершенно и во всем?

Со времени его приезда все в доме находили, что время летело с быстротой необыкновенной, все шло прекрасно; старик Ожогин хотя и притворялся, что ничего не замечает, но, вероятно, тайком потирал себе руки при мысли иметь такого зятя; сам князь вел все дело очень тихо и пристойно, как вдруг одно неожиданное происшествие...

До завтра. Сегодня я устал. Эти воспоминания раздражают меня даже на краю гроба. Терентьевна сегодня нашла, что мой носик уже завострился; а это, говорят, плохой знак.

27 марта. Оттепель продолжается.

Дела находились в вышеизложенном положении; князь и Лиза любили друг друга, старики Ожогины ждали, что-то будет; Бизьмёнков тут же присутствовал — о нем нечего было сказать другого; я бился как рыба о лед и наблюдал что было мочи,— помнится, я в то время поставил себе задачей по крайней мере не дать Лизе погибнуть в сетях обольстителя и вследствие этого начал обращать особенное внимание на горничных и на роковое «заднее» крыльцо, хотя я, с другой стороны, иногда по целым ночам мечтал о том, с каким трогательным великодушием я со временем протяну руку обманутой жертве и скажу ей: «Коварный изменил тебе; но я твой верный друг... забудем прошедшее и будем счастливы!» — как вдруг по всему городу распространилась радостная весть: уездный предводитель намерен был дать большой бал, в честь почетного посетителя, в собственном своем имении Горностаевке, Губнякове тож. Все чины и власти города О... получили приглашение, начиная с городничего и кончая аптекарем, необыкновенно чирым немцем с жестокими притязаниями на уменье говорить чисто по-русски, вследствие чего он беспрестанно и вовсе некстати употреблял сильные выражения, как, например: «Я, черт

меня завзем побери, сиводнэ, маладец завзем...». Поднялись, как водится, страшные приготовления. Один косметик-лавочник продал шестнадцать темно-синих банок помады с надписью «à la jesminъ»[1], с ером на конце. Барышни сооружали себе тугие платья с мучительным перехватом и мысом на желудке; матушки воздвигали на своих собственных головах какие-то грозные украшения, под предлогом чепцов; захлопотавшиеся отцы лежали, как говорится, без задних ног... Желанный день настал наконец. Я был в числе приглашенных. От города до Горностаевки считалось девять верст. Кирилла Матвеич предложил мне место в своей карете; но я отказался... Так наказанные дети, желая хорошенько отомстить своим родителям, за столом отказываются от любимых кушаний. Притом я чувствовал, что мое присутствие стеснило бы Лизу. Бизьмёнков заменил меня. Князь поехал в своей коляске, я — на дрянных дрожках, нанятых мною за большие деньги для этого торжественного случая. Я не стану описывать этот бал. Все в нем было как водится: музыканты с необыкновенно фальшивыми трубами на хорах, ошеломленные помещики с застарелыми семействами, лиловое мороженое, слизистый оршад, люди в стоптанных сапогах и вязаных бумажных перчатках, провинциальные львы с судорожно искаженными лицами и т. д., и т. д. И весь этот маленький мир вертелся вокруг своего солнца — вокруг князя. Потерянный в толпе, не замеченный даже сорокавосьмилетними девицами с красными прыщами на лбу и голубыми цветами на темени, я беспрестанно глядел то на князя, то на Лизу. Она была очень мило одета и очень хороша собой в тот вечер. Они только два раза танцевали друг с другом (правда, он с ней танцевал мазурку!), но по крайней мере *мне* казалось, что между ними существовало какое-то тайное, непрерывное сообщение. Он, и не глядя на нее, не говоря с ней, все как будто обращался к ней, и к ней одной; он был хорош, и блестящ, и мил с другими — для ней одной. Она, видимо, сознавала себя царицей бала — и любимой: ее лицо в одно и то же время сияло детской радостью, невинной гордостью и внезапно озарялось другим, более глубоким чувством. От ней веяло счастием. Я все это замечал... Не в первый раз мне приходилось наблюдать за ними... Сперва это меня сильно огорчило, потом как будто тронуло, а

[1] «Жасминная» (*франц.*).

наконец взбесило. Я внезапно почувствовал себя необыкновенно злым и, помнится, необыкновенно обрадовался этому новому ощущению и даже возымел некоторое к себе уважение. «Покажем им, что мы еще не погибли»,— сказал я самому себе. Когда загремели первые призывные звуки мазурки, я спокойно оглянулся, холодно и развязно подошел к одной длиннолицей барышне с красным и глянцевитым носом, неловко раскрытым, словно растегнутым ртом и жилистой шеей, напоминавшей ручку контрабаса,— подошел к ней и, сухо щелкнув каблуками, пригласил ее. На ней было розовое, словно недавно и еще не совсем выздоровевшее платье; над головой у ней дрожала какая-то полинявшая, унылая муха на претолстой медной пружине, и вообще эта девица была, если можно так выразиться, вся насквозь наспиртована какой-то кислой скукой и застарелой неудачей. С самого начала вечера она не тронулась с места: никто не думал пригласить ее. Один шестнадцатилетний белокурый юноша хотел было, за неимением другой дамы, обратиться к этой девице и уже сделал шаг в направлении к ней, да подумал, поглядел и проворно спрятался в толпу. Можете себе представить, с каким радостным изумлением она согласилась на мое предложение! Я торжественно повел ее через всю залу, отыскал два стула и сел с ней в кругу мазурки, в десятых парах, почти напротив князя, которому, разумеется, предоставили первое место. Князь, как уже сказано, танцевал с Лизой. Ни меня, ни моей дамы не беспокоили приглашениями; стало быть, времени для разговора у нас было достаточно. Правду сказать, моя дама не отличалась способностью произносить слова в связной речи: она употребляла свой рот более для исполнения какой-то странной и дотоле мною невиданной улыбки вниз; причем глаза она поднимала вверх, словно невидимая сила растягивала ей лицо; но я и не нуждался в ее красноречии. Благо, я чувствовал себя злым и моя дама не внушала мне робости. Я пустился критиковать все и всех на свете, особенно напирая на столичных молодчиков и петербургских мирлифлеров, и до того наконец расходился, что моя дама понемногу перестала улыбаться и, вместо того чтоб поднимать глаза кверху, начала вдруг — от изумления, должно быть,— коситься, и притом так странно, словно она в первый раз заметила, что у ней есть нос на лице; а мой сосед, один из тех львов, о которых говорено было выше, не раз окинул меня взором, даже

оборотился ко мне с выражением актера на сцене, просыпающегося в незнакомой стороне, как бы желая сказать: «И ты туда же?» Впрочем, распевая, как говорится, соловьем, я все продолжал наблюдать за князем и Лизой. Их беспрестанно приглашали; но я менее страдал, когда они оба танцевали, и даже тогда, когда они сидели рядом и, разговаривая друг с другом, улыбались той кроткой улыбкой, которая не хочет сойти с лица счастливых любовников,— даже тогда я не столько томился; но когда Лиза порхала по зале с каким-нибудь ухарским фертом, а князь, с ее голубым газовым шарфом на коленях, словно любуясь своей победой, задумчиво следил за ней глазами,— тогда, о, тогда я испытывал невыносимые мучения и с досады отпускал такие злостные замечания, что зрачки моей дамы с обеих сторон совершенно упирались в нос! Между тем мазурка склонялась к концу... Начали делать фигуру, называемую la confidente [1]. В этой фигуре дама садится на середине круга, выбирает другую даму в доверенные и шепчет ей на ухо имя господина, с которым она желает танцевать; кавалер подводит ей поодиночке танцоров, а доверенная дама им отказывает, пока наконец появится заранее назначенный счастливчик. Лиза села в середину круга и выбрала хозяйскую дочь, девицу из числа тех, о которых говорят, что они «бог с ними». Князь пустился отыскивать избранника. Напрасно представив около десяти молодых людей (хозяйская дочь отказала им всем с приятнейшей улыбкой), он наконец обратился ко мне. Нечто необыкновенное произошло во мне в это мгновение: я словно мигнул всем телом и хотел было отказаться, однако встал и пошел. Князь подвел меня к Лизе... Она даже не посмотрела на меня; хозяйская дочь отрицательно покачала головой, князь обернулся ко мне и, вероятно, возбужденный гусиным выражением моего лица, глубоко мне поклонился. Этот насмешливый поклон, этот отказ, переданный мне торжествующим соперником, его небрежная улыбка, равнодушное невнимание Лизы — все это меня взорвало... Я пододвинулся к князю и с бешенством прошептал: «Вы, кажется, изволите смеяться надо мной?»

Князь поглядел на меня с презрительным удивлением, снова взял меня за руку и, показывая вид, что провожает меня до моего места, холодно ответил мне: «Я?»

---

[1] Доверенная (*франц.*).

— Да, вы! — продолжал я шепотом, повинуясь, однако, ему, то есть идя за ним к своему месту,— вы; но я не намерен позволять какому-нибудь пустому петербургскому выскочке...

Князь усмехнулся спокойно, почти снисходительно, стиснул мне руку, прошептал: «Я вас понимаю; но здесь не место: мы поговорим»,— отвернулся от меня, подошел к Визьмёнкову и подвел его к Лизе. Бледненький чиновничек оказался избранником. Лиза встала ему навстречу.

Садясь возле своей дамы с унылой мухой на голове, я чувствовал себя почти героем. Сердце во мне билось сильно, грудь благородно поднималась под накрахмаленной манишкой, я дышал глубоко и скоро — и вдруг так великолепно посмотрел на соседнего льва, что тот невольно дрыгнул обращенной ко мне ножкой. Отделав этого человека, я обвел глазами весь круг танцующих... Мне показалось, что два-три господина не без недоумения глядели на меня; но вообще наш разговор с князем не был замечен... Соперник мой уже сидел на своем стуле, совершенно спокойный и с прежней улыбкой на лице. Бизьмёнков довел Лизу до ее места. Она дружелюбно ему поклонилась и тотчас обратилась к князю, как мне показалось, с некоторой тревогой; но он засмеялся ей в ответ, грациозно махнул рукой и, должно быть, сказал ей что-то очень приятное, потому что она вся зарделась от удовольствия, опустила глаза и потом с ласковым упреком устремила их опять на него.

Геройское расположение, внезапно развившееся во мне, не исчезло до конца мазурки; но я более уже не острил и не «критиканствовал», а только изредка мрачно и строго взлядывал на свою даму, которая, видимо, начинала бояться меня и уже совершенно заикалась и беспрерывно моргала, когда я ее отвел под природное укрепление ее матери, очень толстой женщины с рыжим током на голове... Вручив запуганную девицу по принадлежности, я отошел к окну, скрестил руки и начал ждать, что-то будет. Я ждал довольно долго. Князь все время был окружен хозяином, именно окружен, как Англия окружена морем, не говоря уже о прочих членах семейства уездного предводителя и остальных гостях; да и притом он не мог, не возбудив всеобщего изумления, подойти к такому незначительному человеку, как я, заговорить с ним. Эта моя незначительность, помнится, даже радовала меня тогда. «Шалишь! — думал я, глядя, как он вежливо обращался

то к одному, то к другому почетному лицу, добивавшемуся чести быть им замеченным хотя на «миг», как говорят поэты,— шалишь, голубчик... подойдешь ко мне ужо — ведь я тебя оскорбил». Наконец князь, как-то ловко отделавшись от толпы своих обожателей, прошел мимо меня, взглянул — не то на окно, не то на мои волосы, отвернулся было и вдруг остановился, словно что-то вспомнил.

— Ах да! — сказал он, обращаясь ко мне с улыбкой,— кстати, у меня есть до вас дельце.

Два помещика, из самых неотвязчивых, упорно следившие за князем, вероятно, подумали, что «дельце» служебное, и почтительно отступили назад. Князь взял меня под руку и отвел в сторону. Сердце у меня стучало в груди.

— Вы, кажется,— начал он, растянув слово *вы* и глядя мне в подбородок с презрительным выражением, которое, странным образом, как нельзя лучше шло к его свежему и красивому лицу,— вы мне сказали дерзость?

— Я сказал, что думал,— возразил я, повысив голос.

— Тсс... тише,— заметил он,— порядочные люди не кричат. Вам, может быть, угодно драться со мной?

— Это ваше дело,— отвечал я, выпрямившись.

— Я буду принужден вызвать вас,— заговорил он небрежно,— если вы не откажетесь от ваших выражений...

— Я ни от чего не намерен отказываться,— возразил я с гордостью.

— В самом деле? — заметил он не без насмешливой улыбки.— В таком случае,— продолжал он, помолчав,— я буду иметь честь прислать к вам завтра своего секунданта.

— Очень хорошо-с,— проговорил я голосом как можно более равнодушным.

Князь слегка поклонился.

— Я не могу запретить вам находить меня пустым человеком,— прибавил он, надменно прищурив глаза,— но князья Н* не могут быть выскочками. До свидания, господин... господин Штукатурин.

Он быстро обернулся ко мне спиной и снова подошел к хозяину, уже начинавшему волноваться.

Господин Штукатурин!.. Меня зовут Чулкатуриным... Я ничего не нашелся сказать ему в ответ на это последнее оскорбление и только с бешенством посмотрел ему вслед. «До завтра»,— прошептал я, стиснув зубы, и тотчас отыскал одного мне знакомого офицера, уланского

ротмистра Колобердяева, отчаянного гуляку и славного малого, рассказал ему в немногих словах мою ссору с князем и попросил его быть моим секундантом. Он, разумеется, немедленно согласился, и я отправился домой.

Я не мог заснуть всю ночь— от волнения, не от трусости. Я не трус. Я даже весьма мало думал о предстоящей мне возможности лишиться жизни, этого, как уверяют немцы, высшего блага на земле. Я думал об одной Лизе, о моих погибших надеждах, о том, что мне следовало сделать. «Должен ли я постараться убить князя? — спрашивал я самого себя и, разумеется, хотел убить его, не из мести, а из желания добра Лизе.— Но она не перенесет этого удара,— продолжал я.— Нет, уж пусть лучше он меня убьет!» Признаюсь, мне тоже приятно было думать, что я, темный уездный человек, принудил такую важную особу драться со мной.

Утро застало меня в этих размышлениях; а вслед за утром появился Колобердяев.

— Ну,— спросил он меня, со стуком входя в мою спальню,— где же княжеский секундант?

— Да, помилуйте,— отвечал я с досадой,— теперь всего семь часов утра; князь еще, чай, спит теперь.

— В таком случае,— возразил неугомонный ротмистр,— прикажите мне дать чаю. У меня со вчерашнего вечера голова болит... Я и не раздевался. Впрочем,— прибавил он, зевнув,— я вообще редко раздеваюсь.

Ему дали чаю. Он выпил шесть стаканов с ромом, выкурил четыре трубки, рассказал мне, что он накануне за бесценок купил лошадь, от которой кучера отказались, и что намерен ее выездить, подвязав ей переднюю ногу,— и заснул, не раздеваясь, на диване, с трубкой во рту. Я встал и привел в порядок свои бумаги. Одну пригласительную записку Лизы, единственную записку, полученную мною от нее, я положил было себе на грудь, но подумал и бросил ее в ящик. Колобердяев слабо похрапывал, свесив голову с кожаной подушки... Я, помнится, долго рассматривал его взъерошенное, удалое, беззаботное и доброе лицо. В десять часов мой слуга доложил о приезде Бизьмёнкова. Князь его выбрал в секунданты!

Мы вдвоем разбудили разоспавшегося ротмистра. Он приподнялся, поглядел на нас осоловелыми глазами, хриплым голосом попросил водки, оправился и, раскланявшись с Бизьмёнковым, вышел с ним в другую комнату для совещания. Совещания господ секундантов продол-

жалось недолго. Четверть часа спустя они оба вошли ко мне в спальню; Колобердяев объявил мне, что «мы будем драться сегодня же, в три часа, на пистолетах». Я молча наклонил голову в знак согласия. Бизьмёнков тотчас же простился с нами и уехал. Он был несколько бледен и внутренно взволнован, как человек, очень вежлив и холоден. Мне было как будто совестно перед ним, и я не смел взглянуть ему в глаза. Колобердяев начал опять рассказывать о своей лошади. Этот разговор был мне очень по нутру. Я боялся, как бы он не упомянул о Лизе. Но мой добрый ротмистр не был сплетником, да и, сверх того, презирал всех женщин, называя их, бог знает почему, салатом. В два часа мы закусили, а в три уже находились на месте действия — в той самой березовой роще, где я некогда гулял с Лизой, в двух шагах от того обрыва.

Мы приехали первые. Но князь с Бизьмёнковым недолго заставили ждать себя. Князь был, без преувеличения, свеж, как розан: карие глаза его чрезвычайно приветно глядели из-под козырька его фуражки. Он курил соломенную сигарку и, увидев Колобердяева, ласково пожал ему руку. Даже мне он очень мило поклонился. Я, напротив, сам чувствовал себя бледным, и руки мои, к страшной моей досаде, слегка дрожали... горло сохло... Я никогда еще до сих пор не дрался на дуэли. «О боже! — думал я,— лишь бы этот насмешливый господин не принял моего волнения за робость!» Я внутренно посылал свой нервы ко всем чертям; но, взглянув наконец прямо в лицо князю и уловив на губах его почти незаметную усмешку, вдруг опять разозлился и тотчас успокоился. Между тем секунданты наши устроили барьер, отмерили шаги, зарядили пистолеты. Колобердяев больше действовал; Бизьмёнков больше наблюдал за ним. День был великолепный — не хуже дня незабвенной прогулки. Густая синева неба по-прежнему сквозила сквозь раззолоченную зелень листьев. Их лепет, казалось, дразнил меня. Князь продолжал курить свою сигарку, прислонясь плечом к стволу молодой липы...

— Извольте стать, господа: готово,— произнес наконец Колобердяев, вручая нам пистолеты.

Князь отошел несколько шагов, остановился и, повернув голову назад, через плечо спросил меня: «А вы все не отказываетесь от своих слов?» Я хотел отвечать ему; но голос изменил мне, и я удовольствовался презритель-

ным движением руки. Князь усмехнулся опять и стал на свое место. Мы начали сходиться. Я поднял пистолет, прицелился было в грудь моего врага — в это мгновение он точно был моим врагом,— но вдруг поднял дуло, словно кто толкнул меня под локоть, и выстрелил. Князь пошатнулся, поднес левую руку к левому виску — струйка крови потекла по его щеке из-под белой замшевой перчатки. Бизьмёнков бросился к нему.

— Ничего,— сказал он, снимая простреленную фуражку,— коли в голову и не упал, значит, царапина.

Он спокойно достал из кармана батистовый платок и приложил его к смоченным кровью кудрям. Я глядел на него, словно остолбенелый, и не двигался с места.

— Извольте идти к барьеру! — строго заметил мне Колобердяев.

Я повиновался.

— Поединок продолжается? — прибавил он, обратясь к Бизьмёнкову.

Бизьмёнков ничего не отвечал ему; но князь, не отнимая платка от раны и не давая себе даже удовольствия помучить меня у барьера, с улыбкой возразил: «Поединок кончен»,— и выстрелил на воздух. Я чуть было не заплакал от досады и бешенства. Этот человек своим великодушием окончательно втоптал меня в грязь, зарезал меня. Я хотел было противиться, хотел было потребовать, чтобы он выстрелил в меня; но он подошел ко мне и протянул мне руку.

— Ведь все позабыто меж нами, не правда ли? — промолвил он ласковым голосом.

Я взглянул на его побледневшее лицо, на этот окровавленный платок и, совершенно потерявшись, пристыженный и уничтоженный, стиснул ему руку...

— Господа! — прибавил он, обращаясь к секундантам,— я надеюсь, что все останется в тайне?

— Разумеется! — воскликнул Колобердяев, — но, князь, позвольте...

И он сам повязал ему голову.

Князь, уходя, еще раз поклонился мне; но Бизьмёнков даже не взглянул на меня. Убитый,— нравственно убитый,— возвратился я с Колобердяевым домой.

— Да что с вами? — спрашивал меня ротмистр.— Успокойтесь: рана неопасная. Он завтра же может танцевать, коли хочет. Или вам жаль, что вы его не убили? В таком случае напрасно: он славный малый.

— Зачем он пощадил меня? — пробормотал я наконец.

— Вот тебе на! — спокойно возразил ротмистр...— Ох, уж эти мне сочинители!

Я не знаю, почему ему вздумалось назвать меня сочинителем.

Я решительно отказываюсь от описания моих терзаний в течение вечера, последовавшего за этим несчастным поединком. Мое самолюбие страдало неизъяснимо. Не совесть меня мучила: сознание моей глупости меня уничтожало. «Я, я сам нанес себе последний, окончательный удар! — твердил я, ходя большими шагами по комнате.— Князь, раненный мною и простивший меня... да, Лиза теперь его. Теперь уже ничего ее не может спасти, удержать на краю пропасти». Я очень хорошо знал, что наш поединок не мог остаться в тайне, несмотря на слова князя; во всяком случае для Лизы он не мог остаться тайной. «Князь не так глуп,— шептал я с бешенством,— чтобы не воспользоваться...» А между тем я ошибался: о поединке и о настоящей его причине узнал весь город,— на другой же день, конечно; но проболтался не князь, напротив; когда он, с повязанной головой и с наперед сочиненным предлогом явился перед Лизой, она уже все знала... Бизьмёнков ли выдал меня, другими ли путями дошло до ней это известие, не могу сказать. Да и, наконец, разве в небольшом городе возможно что-нибудь скрыть? Можете себе представить, как Лиза его приняла, как все семейство Ожогиных его приняло! Что же до меня касается, то я внезапно стал предметом общего негодования, омерзения, извергом, сумасбродным ревнивцем и людоедом. Мои немногие знакомые от меня отказались, как от прокаженного. Городские власти немедленно обратились к князю с предложением примерно и строго наказать меня; одни настоятельные и неотступные просьбы самого князя отвратили бедствие, грозившее моей голове. Этому человеку суждено было всячески меня уничтожить. Он своим великодушием прихлопнул меня как гробовою крышей. Нечего и говорить, что дом Ожогиных тотчас же закрылся для меня. Кирилла Матвеич возратил мне даже простой карандаш, позабытый у него мною. По-настоящему ему-то именно и не следовало на меня сердиться. Моя, как выражались в городе, «сумасбродная» ревность определила, уяснила, так сказать, отношения князя к Лизе. На него и сами старики Ожогины, и прочие обы-

ватели стали глядеть почти как на жениха. В сущности, это ему не совсем должно было быть приятно; но Лиза ему очень нравилась; притом он еще тогда не достиг своих целей... Со всею ловкостью умного и светского человека приспособился он к новому своему положению, тотчас вошел, как говорится, в дух своей новой роли...

Но я!.. Я на свой счет, на счет своей будущности, махнул тогда рукой. Когда страдания доходят до того, что заставляют всю нашу внутренность трещать и кряхтеть, как перегруженную телегу, им бы следовало перестать быть смешными... но нет! смех не только сопровождает слезы до конца, до истощения, до невозможности проливать их более — где! он еще звенит и раздается там, где язык немеет и замирает сама жалоба... И потому, во-первых, так как я не намерен даже самому себе казаться смешным, а во-вторых, так как я устал ужасно, то и откладываю продолжение и, если бог даст, окончание своего рассказа до следующего дня...

29 марта. Легкий мороз; вчера была оттепель.

Вчера я не был в силах продолжать мой дневник: я, как Поприщин, большею частью лежал на постели и беседовал с Терентьевной. Вот еще женщина! Шестьдесят лет тому назад она потеряла своего первого жениха от чумы, всех детей своих пережила, сама непростительно стара, пьет чай сколько душе угодно, сыта, одета тепло; а о чем, вы думаете, она вчера целый день мне говорила? Другой, уже вовсе ощипанной старухе я велел дать на жилет (она носит нагрудники в виде жилета) воротник ветхой ливреи, до половины съеденный молью... так вот отчего не ей? «А кажется, я няня ваша... О-ох, батюшка вы мой, грешно вам... А уж я-то вас, кажись, на что холила!..» и т. д. Безжалостная старуха совершенно заездила меня своими упреками... Но возвратимся к рассказу.

Итак, я страдал, как собака, которой заднюю часть тела переехали колесом. Я только тогда, только после изгнания моего из дома Ожогиных, окончательно узнал, сколько удовольствия может человек почерпнуть из созерцания своего собственного несчастия. О люди! точно, жалкий род!.. Ну, однако, в сторону философические замечания... Я проводил дни в совершенном одиночестве и только самыми окольными и даже низменными путями мог узнавать, что происходило в семействе Ожогиных,

что делал князь: мой слуга познакомился с двоюродной теткой жены его кучера. Это знакомство доставило мне некоторое облегчение, и мой слуга скоро, по моим намекам и подарочкам, мог догадаться, о чем следовало ему разговаривать с своим барином, когда он стаскивал с него сапоги по вечерам. Иногда мне случалось встретить на улице кого-нибудь из семейства Ожогиных, Бизьмёнкова, князя... С князем и Бизьмёнковым я раскланивался, но не вступал в разговор. Лизу я видел всего три раза: раз — с ее маменькой, в модном магазине, раз — в открытой коляске, с отцом, матерью и князем, раз — в церкви. Разумеется, я не дерзал подойти к ней и глядел на нее только издали. В магазине она была очень озабочена, но весела... Она заказывала себе что-то и хлопотливо примеряла ленты. Матушка глядела на нее, скрестив на желудке руки, приподняв нос и улыбаясь той глупой и преданной улыбкой, которая позволительна одним любящим матерям. В коляске с князем Лиза была... Я никогда не забуду этой встречи! Старики Ожогины сидели на задних местах коляски, князь с Лизой впереди. Она была бледнее обыкновенного; на щеках ее чуть виднелись две розовые полоски. Она была до половины обращена к князю; опираясь на свою выпрямленную правую руку (в левой она держала зонтик) и томно склонив головку, она глядела прямо ему в лицо своими выразительными глазами. В это мгновение она отдавалась ему вся, безвозвратно доверялась ему. Я не успел хорошенько заметить его лица — коляска слишком быстро промчалась мимо,— но мне показалось, что и он был глубоко тронут.

В третий раз я ее видел в церкви. Не более десяти дней прошло с того дня, когда я встретил ее в коляске с князем, не более трех недель со дня моей дуэли. Дело, по которому князь прибыл в О..., уже было окончено; но он все еще медлил своим отъездом: он отозвался в Петербург больным. В городе каждый день ожидали формального предложения с его стороны Кирилле Матвеичу. Я сам ждал только этого последнего удара, чтобы удалиться навсегда. Мне город О... опротивел. Я не мог сидеть дома и с утра до вечера таскался по окрестностям. В один серый, ненастный день, возвращаясь с прогулки, прерванной дождем, зашел я в церковь. Вечернее служение только что начиналось, народу было очень немного; я оглянулся и вдруг возле одного окна увидел знакомый профиль. Я его сперва не узнал: это бледное лицо, этот

погасший взор, эти впалые щеки — неужели это та же Лиза, которую я видел две недели тому назад? Завернутая в плащ, без шляпы на голове, освещенная сбоку холодным лучом, падавшим из широкого белого окна, она неподвижно глядела на иконостас и, казалось, силилась молиться, силилась выйти из какого-то унылого оцепенения. Краснощекий, толстый казачок, с желтыми патронами на груди, стоял за нею, сложа руки на спину, и с сонливым недоумением посматривал на свою барышню. Я вздрогнул весь, хотел было подойти к ней, но остановился. Мучительное предчувствие стеснило мне грудь. До самого конца вечерни Лиза не шевельнулась. Народ весь вышел, дьячок стал подметать церковь, она все не трогалась с места. Казачок подошел к ней, сказал ей что-то, коснулся ее платья; она оглянулась, провела рукой по лицу и ушла. Я издали проводил ее до дому и вернулся к себе.

«Она погибла!» — воскликнул я, входя в свою комнату.

Как честный человек, я до сих пор не знаю, какого рода были мои ощущения тогда; я, помнится, скрестив руки, бросился на диван и уставил глаза на пол; но, я не знаю, я посреди своей тоски как будто был чем-то доволен... Я бы ни за что в этом не сознался, если б я не писал для самого себя... Меня точно терзали мучительные, страшные предчувствия... и кто знает, я, может быть, был бы весьма озадачен, если б они не сбылись. «Таково сердце человеческое!» — воскликнул бы теперь выразительным голосом какой-нибудь русский учитель средних лет, подняв кверху жирный указательный палец, украшенный перстнем из корналинки; но что нам за дело до мнения русского учителя с выразительным голосом и корналинкой на пальце?

Как бы то ни было, мои предчувствия оказались справедливыми. Внезапно по городу разнеслась весть, что князь уехал будто вследствие полученного приказа из Петербурга; что он уехал, не сделавши никакого предложения ни Кирилле Матвеичу, ни супруге его, и что Лизе остается до конца дней своих оплакивать его вероломство. Отъезд князя был совершенно неожиданный, потому что еще накануне кучер его, по уверениям моего слуги, нисколько не подозревал намерения своего барина. Новость эта меня бросила в жар; я тотчас оделся и побежал к Ожогиным, но, обдумавши дело, почел приличным по-

дождать до следующего дня. Впрочем, я ничего не потерял, оставшись дома. В тот же вечер забежал ко мне некто Пандопипопуло, проезжий грек, случайным образом застрявший в городе О.., сплетник первой величины, больше всех других закипевший негодованием против меня за мою дуэль с князем. Он не дал даже времени слуге моему доложить о себе, так и ворвался в мою комнату, крепко стиснул мою руку, тысячу раз извинился передо мной, назвал меня образцом великодушия и смелости, расписал князя самыми черными красками, не пощадил стариков Ожогиных, которых, по его мнению, судьба наказала поделом; мимоходом задел и Лизу и убежал, поцеловавши меня в плечо. Между прочим, я узнал от него, что князь en vrai grand seigneur[1], накануне отъезда, на деликатный намек Кириллы Матвеича холодно отвечал, что не намерен никого обманывать и не думает жениться, встал, раскланялся и был таков...

На другой день я отправился к Ожогиным. Подслеповатый лакей, при моем появлении, вскочил с прилавка с быстротою молнии, я велел доложить о себе; лакей побежал и тотчас вернулся: пожалуйте, дескать, приказали просить. Я вошел в кабинет Кириллы Матвеича... До завтра.

30 марта. Мороз.

Итак, я вошел в кабинет Кириллы Матвеича. Я бы дорого заплатил тому, кто бы мог показать мне теперь мое собственное лицо в ту минуту, когда этот почтенный чиновник, торопливо запахнув свой бухарский халат, подошел ко мне с протянутыми руками. От меня, должно быть, так и веяло скромным торжеством, снисходительным участием и беспредельным великодушием... Я чувствовал себя чем-то вроде Сципиона Африканского. Ожогин был, видимо, смущен и опечален, избегал моего взора, семенил на месте. Я также заметил, что он говорил как-то неестественно громко и вообще выражался весьма неопределенно; неопределенно, но с жаром, попросил у меня извинения, неопределенно упомянул об уехавшем госте, присовокупил несколько общих и неопределенных замечаний об обманчивости и непостоянстве земных благ и вдруг, почувствовав у себя на глазах слезу, поспешил понюхать табаку, вероятно для того, чтобы обмануть меня насчет причины, заставившей его прослезиться... Он упот-

[1] Настоящий вельможа (*франц.*).

реблял русский зеленый табак, а известно, что это растение даже старцев заставляет проливать слезы, сквозь которые человеческий глаз глядит тупо и бессмысленно в течение нескольких мгновений. Я, разумеется, обошелся весьма бережно с стариком, спросил о здоровье его супруги и дочери и тотчас искусно направил разговор на любопытный вопрос о плодопеременном хозяйстве. Я был одет по-обыкновенному; но исполнявшее меня чувство мягкого приличия и кроткой снисходительности доставляло мне ощущение праздничное и свежее, словно на мне был белый жилет и белый галстук. Одно меня волновало: мысль о свидании с Лизой... Ожогин наконец сам предложил повести меня к своей жене. Эта добрая, но глупая женщина, увидав меня, сперва сконфузилась страшно; но мозг ее не был способен сохранить долго одно и то же впечатление, и потому она скоро успокоилась. Наконец я увидал Лизу... Она вошла в комнату...

Я ожидал, что найду в ней пристыженную, раскаивающуюся грешницу, и уже наперед предал лицу своему самое ласковое, ободряющее выражение... К чему лгать? я действительно любил ее и жаждал счастия простить ее, протянуть ей руку; но, к несказанному моему удивлению, она, в ответ на мой значительный поклон, холодно рассмеялась, небрежно заметила: «А? это вы?» — и тотчас отвернулась от меня. Правда, смех ее мне показался принужденным и во всяком случае плохо шел к ее страшно похудевшему лицу... но все-таки я не ожидал такого приема... Я с изумлением смотрел на нее... какая перемена произошла в ней! Между прежним ребенком и этой женщиной не было ничего общего. Она как будто выросла, выпрямилась; все черты ее лица, особенно губы, словно определились... взгляд стал глубже, тверже и темнее. Я высидел у Ожогиных до обеда; она вставала, выходила из комнаты и возвращалась, спокойно отвечала на вопросы и с намерением не обращала на меня внимания. Она, я это видел, — она хотела дать мне почувствовать, что я не стою даже ее гнева, хотя чуть-чуть не убил ее любовника. Я наконец потерял терпение: ядовитый намек сорвался с губ моих... Она вздрогнула, быстро взглянула на меня, встала и, подойдя к окну, промолвила слегка дрожащим голосом: «Вы все можете говорить, что вам угодно, но знайте, что я этого человека люблю, и всегда любить буду, и нисколько не считаю его виноватым предо мною, напротив...» Голос ее зазвенел, она остановилась...

хотела было переломить себя, но не могла, залилась слезами и вышла вон из комнаты... Старики Ожогины смутились... я пожал им обоим руки, вздохнул, вознес взоры горé и удалился.

Я слишком слаб, времени у меня остается слишком мало, я не в состоянии с прежнею подробностью описывать тот новый ряд мучительных соображений, твердых намерений и прочих плодов так называемой внутренней борьбы, которые возникли во мне после возобновления моего знакомства с Ожогиными. Я не сомневался в том, что Лиза все еще любит и долго будет любить князя... но, как человек присмиренный обстоятельствами и сам присмирившийся, я даже и не мечтал о ее любви: я желал только ее дружбы, желал добиться ее доверенности, ее уважения, которое, по уверению опытных людей, почитается надежнейшей опорой счастия в браке... К сожалению, я упускал из виду одно довольно важное обстоятельство, а именно то, что Лиза со дня дуэли меня возненавидела. Я узнал это слишком поздно. Я начал по-прежнему посещать дом Ожогиных. Кирилла Матвеич более чем когда-нибудь ласкал и холил меня. Я даже имею причины думать, что он в то время с удовольствием отдал бы свою дочь за меня, хотя и незавидный был я жених: общественное мнение преследовало его и Лизу, а меня, напротив, превозносило до небес. Обращение Лизы со мной не изменялось: она большею частию молчала, повиновалась, когда ее просили кушать, не показывала никаких внешних знаков горя, но, со всем тем, таяла как свечка. Кирилле Матвеичу надобно отдать эту справедливость: он щадил ее всячески; старуха Ожогина только хохлилась, глядя на свое бедное дитятко. Одного человека Лиза не чуждалась, хотя и с ним не много говорила, а именно Бизьмёнкова. Старики Ожогины круто, даже грубо обращались с ним: они не могли простить ему его секундантства; но он продолжал ходить к ним, будто не замечая их немилости. Со мной он был очень холоден и — странное дело! — я словно его боялся. Это продолжалось около двух недель. Наконец я, после одной бессонной ночи, решился объясниться с Лизой, разоблачить перед ней мое сердце, сказать ей, что, несмотря на прошедшее, несмотря на всевозможные толки и сплетни, я почту себя слишком счастливым, если она удостоит меня своей руки, возвратит мне свое доверие. Я, право, не шутя воображал, что оказываю, как выражаются хрестоматии, несказан-

ный пример великодушия и что она от одного изумления согласится. Во всяком случае, я хотел объясниться с ней и выйти наконец из неизвестности.

За домом Ожогиных находился довольно большой сад, оканчивавшийся липовой рощицей, заброшенной и заросшей. Посредине этой рощи возвышалась старинная беседка в китайском вкусе; бревенчатый забор отделял сад от глухого проулка. Лиза иногда по целым часам гуляла одна в этом саду. Кирилла Матвеич это знал и запретил ее беспокоить, следить за ней: пусть, дескать, горе в ней умается. Когда ее не находили в доме, стоило только позвонить перед обедом в колокольчик на крыльце, и она тотчас появлялась, с тем же упорным молчанием на губах и во взгляде, с каким-нибудь измятым листком в руке. Вот однажды, заметив, что ее не было в доме, я показал вид, что собираюсь уйти, простился с Кириллом Матвеичем, надел шляпу и вышел из передней на двор, а со двора на улицу, но тотчас же с необыкновенной быстротою шмыгнул назад в ворота и мимо кухни пробрался в сад. К счастию, никто меня не заметил. Не думая долго, я скорыми шагами вошел в рощу. Передо мной, на тропинке, стояла Лиза. Сердце во мне забилось сильно. Я остановился, вздохнул глубоко и уже хотел было подойти к ней, как вдруг она, не оборачиваясь, подняла руку и стала прислушиваться... Из-за деревьев, в направлении проулка, ясно раздались два удара, словно кто стучал в забор. Лиза хлопнула в ладоши, послышался слабый скрип калитки, и из чащи вышел Бизьмёнков. Я проворно спрятался за дерево. Лиза молча обратилась к нему... Он молча взял ее под руку, и оба тихо пошли по дорожке. Я с изумлением глядел за ними. Они остановились, посмотрели кругом, исчезли было за кустами, появились снова и вошли наконец в беседку. Эта беседка была круглое, крошечное строеньице, с одной дверью и одним маленьким окном; посредине виднелся старый стол на одной ножке, поросший мелким зеленым мохом; два дощатых полинялых диванчика стояли по бокам, в некотором отдалении от сырых и потемневших стен. Здесь в необыкновенно жаркие дни, и то раз в год, и то в прежние времена, пивали чай. Дверь не затворялась вовсе, рама давно вывалилась из окна и, зацепившись одним углом, висела печально, как перешибенное птичье крыло. Я подкрался к беседке и осторожно взглянул сквозь скважину окна. Лиза сидела на одном из диванчиков,

потупив голову; ее правая рука лежала у ней на коленях, левую держал Бизьмёнков в обеих своих руках. Он с участием глядел на нее.

— Как вы себя сегодня чувствуете? — спросил он ее вполголоса.

— Все так же, — возразила она, — ни хуже, ни лучше. Пустота, страшная пустота! — прибавила она, уныло подняв глаза.

Бизьмёнков ничего не отвечал ей.

— Как вы думаете, — продолжала она, — напишет мне он еще раз?

— Не думаю, Лизавета Кирилловна!

Она молчала.

— И в самом деле, о чем ему писать? Он сказал мне все в первом своем письме. Я не могла быть его женой; но я была счастлива... недолго... я была счастлива.

Бизьмёнков потупился.

— Ах, — продолжала она с живостью, — если б вы знали, как этот Чулкатурин мне противен... Мне все кажется, что я вижу на руках этого человека... его кровь. (Меня покоробило за моей скважиной.) Впрочем, — прибавила она задумчиво, — кто знает, может быть, без этого поединка... Ах, когда я увидела его раненого, я тотчас же почувствовала, что я вся была его.

— Чулкатурин вас любит,— заметил Бизьмёнков.

— Так что мне в том? разве мне нужна чья-нибудь любовь?.. — Она остановилась и медленно прибавила: — кроме вашей. Да, мой друг, ваша любовь мне необходима: без вас я бы погибла. Вы помогли мне перенести страшные минуты...

Она умолкла... Бизьмёнков начал с отеческой нежностью гладить ее по руке.

— Что делать, что делать, Лизавета Кирилловна! — повторил он несколько раз сряду.

— Да и теперь, — промолвила она глухо, — я бы, кажется, умерла без вас. Вы одни меня поддерживаете; притом вы мне его напоминаете... Ведь вы все знали. Помните, как он был хорош в тот день... Но извините меня: вам, должно быть, тяжело...

— Говорите, говорите! Что вы! Бог с вами! — прервал ее Бизьмёнков.

Она стиснула ему руку.

— Вы очень добры, Бизьмёнков,— продолжала она,— вы добры, как ангел. Что делать! я чувствую, что я до

гроба его любить буду. Я простила ему, я благодарна ему. Дай бог ему счастья! дай бог ему жену по сердцу! — И глаза ее наполнились слезами. — Лишь бы он не позабыл меня, лишь бы он хоть изредка вспоминал о своей Лизе... Выйдемте, — прибавила она после небольшого молчания.

Бизьмёнков поднес ее руку с своим губам.

— Я знаю — заговорила она с жаром, — все меня теперь обвиняют, все бросают в меня каменьями. Пусть! Я бы все-таки не променяла своего несчастия на их счастье... нет! нет!.. Он недолго меня любил, но он любил меня! Он никогда меня не обманывал: он не говорил мне, что я буду его женой; я сама никогда не думала об этом. Один бедный папаша надеялся. И теперь я еще не совсем несчастна: мне остается воспоминание, и, как бы ни были страшны последствия... Мне душно здесь... здесь я в последний раз с ним виделась... Пойдемте на воздух.

Они встали. Я едва успел отскочить в сторону и спрятаться за толстую липу. Они вышли из беседки и, сколько я мог судить по шуму шагов, ушли в рощу. Не знаю, сколько я времени простоял, не двигаясь с места, погруженный в какое-то бессмысленное недоумение, как вдруг снова послышались шаги. Я встрепенулся и осторожно выглянул из моей засады, Бизьмёнков и Лиза возвращались по той же дорожке. Оба были очень взволнованы, особенно Бизьмёнков. Он, казалось, плакал. Лиза остановилась, поглядела на него и явственно произнесла следующие слова: «Я согласна, Бизьмёнков. Я бы не согласилась, если бы вы только хотели спасти меня, вывести меня из страшного положения; но вы меня любите, вы все знаете — и любите меня; я никогда не найду более надежного, верного друга. Я буду вашей женой».

Бизьмёнков поцеловал ей руку; она печально ему улыбнулась и пошла домой. Бизьмёнков бросился в чащу, а я отправился восвояси. Так как Бизьмёнков, вероятно, сказал Лизе именно то, что я намерен был ей сказать, и так как она ответила ему именно то, что я бы желал услышать от нее, то мне нечего было более беспокоиться. Через две недели она вышла за него замуж. Старики Ожогины рады были всякому жениху.

Ну, скажите теперь, не лишний ли я человек? Не разыграл ли я во всей этой истории роль лишнего человека? Роль князя... о ней нечего и говорить; роль Бизьмёнкова также понятна... Но я? я-то к чему тут примешался?.. что

за глупое пятое колесо в телеге!.. Ах, горько, горько мне!.. Да вот, как бурлаки говорят: «Еще разик, еще раз»,— еще денек, другой, и мне уже ни горько не будет, ни сладко.

31 марта.

Плохо. Я пишу эти строки в постели. Со вчерашнего вечера погода вдруг переменилась. Сегодня жарко, почти летний день. Все тает, валится, течет. В воздухе пахнет разрытой землей: тяжелый, сильный, душный запах. Пар поднимается отовсюду. Солнце так и бьет, так и разит. Плохо мне. Я чувствую, что разлагаюсь.

Я хотел написать свой дневник, и вместо того что я сделал? рассказал один случай из моей жизни. Я разболтался, уснувшие воспоминания пробудились и увлекли меня. Я писал не торопясь, подробно, словно мне еще предстояли годы; а теперь вот и некогда продолжать. Смерть, смерть идет. Мне уже слышится ее грозное crescendo...[1] Пора... Пора!..

Да и что за беда! Не все ли равно, что бы я ни рассказал? В виду смерти исчезают последние земные суетности. Я чувствую, что утихаю; я становлюсь проще, яснее. Поздно я схватился за ум!.. Странное дело! Я утихаю — точно, и вместе с тем... жутко мне. Да, мне жутко. До половины наклоненный над безмолвной, зияющей бездной, я содрогаюсь, отворачиваюсь, с жадным вниманием осматриваю все кругом. Всякий предмет мне вдвойне дорог. Я не нагляжусь на мою бедную, невеселую комнату, прощаюсь с каждым пятнышком на моих стенах! Насыщайтесь в последний раз, глаза мои! Жизнь удаляется; она ровно и тихо бежит от меня прочь, как берег от взоров мореходца. Старое, желтое лицо моей няни, повязанное темным платком, шипящий самовар на столе, горшок герани перед окном и ты, мой бедный пес Трезор, перо, которым я пишу эти строки, собственная рука моя, я вижу вас теперь... вот вы, вот... Неужели же... может быть, сегодня... я никогда более не увижу вас? Тяжело живому существу расставаться с жизнью! Что ты ластишься ко мне, бедная собака? что прислоняешься грудью к постели, судорожно поджимая свой хвост и не сводя с меня своих добрых, грустных глаз? Или тебе жаль меня? или ты уже чуешь, что хозяина твоего скоро не станет? Ах, если б я мог так же пройти мыслью по всем моим

[1] Нарастание (*итал.*).

воспоминаниям, как прохожу глазами по всем предметам моей комнаты! Я знаю, что эти воспоминания невеселы и незначительны, да других у меня нет. Пустота, страшная пустота! как говорила Лиза.

О боже мой, боже мой! Я вот умираю... Сердце, способное и готовое любить, скоро перестанет биться... И неужели же оно затихнет навсегда, не изведав ни разу счастия, не расширясь ни разу под сладостным бременем радости? Увы! это невозможно, невозможно, я знаю... Если б по крайней мере теперь, перед смертью — ведь смерть все-таки святое дело, ведь она возвышает всякое существо, — если б какой-нибудь милый, грустный, дружеский голос пропел надо мною прощальную песнь о собственном моем горе, я бы, может быть, помирился с ним. Но умереть глухо, глупо...

Я, кажется, начинаю бредить.

Прощай, жизнь, прощай, мой сад, и вы, мои липы! Когда придет лето, смотрите не забудьте сверху донизу покрыться цветами... и пусть хорошо будет людям лежать в вашей пахучей тени, на свежей траве, под лепечущий говор ваших листьев, слегка возмущенных ветром. Прощайте, прощайте! Прощай все и навсегда!

Прощай, Лиза! Я написал эти два слова — и чуть-чуть не засмеялся. Это восклицание мне кажется книжным. Я как будто сочиняю чувствительную повесть или оканчиваю отчаянное письмо...

Завтра первое апреля. Неужели я умру завтра? Это было бы как-то даже неприлично. А впрочем, оно ко мне идет...

Уж как же доктор лотошил сегодня!..

1 апреля.

Кончено... Жизнь кончена. Я точно умру сегодня. На дворе жарко... почти душно... или уже грудь моя отказывается дышать? Моя маленькая комедия разыграна. Занавес падает.

Уничтожаясь, я перестаю быть лишним...

Ах, как это солнце ярко! Эти могучие лучи дышат вечностью...

Прощай, Терентьевна!.. Сегодня поутру она, сидя у окна, всплакнула... может быть, обо мне... а может быть, и о том, что ей самой скоро придется умереть. Я взял с нее слово не «пришибить» Трезора.

Мне тяжело писать... бросаю перо... Пора! Смерть уже не приближается с возрастающим громом, как карета ночью по мостовой: она здесь, она порхает вокруг меня, как то легкое дуновение, от которого поднялись дыбом волосы у пророка...

Я умираю... Живите, живые!

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять!

Примечание издателя. Под этой последней строкой находится профиль головы с большим хохлом и усами, с глазом en face и лучеобразными ресницами; а под головой кто-то написал следующие слова:

Сѣю рукопись. Читалъ
И Содѣржаніе Онной Нѣ одобрилъ
Пѣтръ Зудотѣшинъ
М М М М
Милостивый Государь
Пѣтръ Зудотѣшинъ
Милостивый Государь мой.

Но так как почерк этих строк нисколько не походил на почерк, которым написана остальная часть тетради, то издатель и почитает себя вправе заключить, что вышеупомянутые строки прибавлены были впоследствии другим лицом, тем более что до сведения его (издателя) дошло, что г-н Чулкатурин действительно умер в ночь с 1 на 2 апреля 18... года, в родовом своем поместье Овечьи Воды.

1850

ТРИ ВСТРЕЧИ

Passa que'colli e vieni allegramente;
Non ti curar di tanta compagnia —
Vieni, pensando a me segretamente —
Ch'io t'accampagni per tutta la via [1].

I

Никуда я, бывало, не ездил так часто на охоту в течение лета, как в село Глинное, лежащее в двадцати верстах от моей деревни. Около этого села находятся самые, может быть, лучшие места для дичи в целом нашем уезде. Выходив все окрестные кусты и поля, я непременно к концу дня заворачивал в соседнее, почти единственное в околотке болото и уже оттуда возвращался к радушному моему хозяину, глинскому старосте, у которого я постоянно останавливался. От болота до Глинного не более двух верст; дорога идет все лощиной, и только на половине пути приходится перебраться через небольшой холм. На вершине этого холма лежит усадьба, состоящая из одного необитаемого господского домика и сада. Мне почти всегда случалось проходить мимо нее в самый раз-

[1] Перейди через эти холмы и приди весело ко мне; не заботься о слишком большом обществе. Приди один и во все время дороги думай обо мне, так чтоб я была твоим товарищем на всем пути. *(Прим. И. С. Тургенева.)*

гар вечерней зари, и, помнится, всякий раз этот дом, со своими наглухо заколоченными окнами, представлялся мне слепым стариком, вышедшим погреться на солнце. Сидит он, сердечный, близ дороги; солнечный блеск давно сменился для него вечной мглою; но он чувствует его по крайней мере на приподнятом и вытянутом лице, на согретых щеках. Казалось, давно никто не жил в самом доме; но в крошечном флигельке, на дворе, помещался дряхлый вольноотпущенный человек, высокий, сутуловатый и седой, с выразительными и неподвижными чертами лица. Он, бывало, все посиживал на лавочке под единственным окошком флигеля, с горестной задумчивостью поглядывая вдаль, а увидав меня, приподнимался немного и кланялся с той медлительной важностью, которою отличаются старые дворовые, принадлежащие к поколению не отцов наших, а дедов. Я заговаривал с ним, но он не был словоохотлив: я только узнал от него, что усадьба, в которой он жил, принадлежала внучке его старого барина, вдове, у которой была младшая сестра; что обе они живут в городах да за морем, а домой и не показываются; что ему самому поскорей хочется дожить свой век, потому что «жуешь, жуешь хлеб, инда и тоска возьмет: так давно жуешь». Старика этого звали Лукьянычем.

Однажды я как-то долго замешкался в поле; дичи попалось порядочно, да и день вышел такой для охоты хороший — с самого утра тихий, серый, словно весь проникнутый вечером. Я забрел далеко, и уже не только совершенно стемнело, но луна взошла, а ночь, как говорится, давно *стала* на небе, когда я достиг знакомой усадьбы. Мне пришлось идти вдоль сада... Кругом была такая тишина...

Я перешел через широкую дорогу, осторожно пробрался сквозь запыленную крапиву и прислонился к низкому плетню. Неподвижно лежал передо мною небольшой сад, весь озаренный и как бы успокоенный серебристыми лучами луны, — весь благовонный и влажный; разбитый по-старинному, он состоял из одной продолговатой поляны. Прямые дорожки сходились на самой ее середине в круглую клумбу, густо заросшую астрами; высокие липы окружали ее ровной каймой. В одном только месте прерывалась эта кайма сажени на две, и сквозь отверстие виднелась часть низенького дома с двумя, к удивлению моему, освещенными окнами. Молодые яблони кое-где возвышались над поляной; сквозь их жидкие

ветки кротко синело ночное небо, лился дремотный свет луны; перед каждой яблоней лежала на белеющей траве ее слабая, пестрая тень. С одной стороны сада липы смутно зеленели, облитые неподвижным, бледно-ярким светом; с другой — они стояли все черные и непрозрачные; странный, сдержанный шорох возникал по временам в их сплошной листве; они как будто звали на пропадавшие под ними дорожки, как будто манили под свою глухую сень. Все небо было испещрено звездами; таинственно струилось с вышины их голубое, мягкое мерцанье; они, казалось, с тихим вниманьем глядели на далекую землю. Малые, тонкие облака, изредка налетая на луну, превращали на мгновение ее спокойное сияние в неясный, но светлый туман... Все дремало. Воздух, весь теплый, весь пахучий, даже не колыхался; он только изредка дрожал, как дрожит вода, возмущенная падением ветки... Какая-то жажда чувствовалась в нем, какое-то мление... Я нагнулся через плетень: передо мной красный полевой мак поднимал из заглохшей травы свой прямой стебелек; большая круглая капля ночной росы блестела темным блеском на дне раскрытого цветка. Все дремало, все нежилось вокруг; все как будто глядело вверх, вытянувшись, не шевелясь и выжидая... Чего ждала эта теплая, эта не заснувшая ночь?

Звука ждала она; живого голоса ждала эта чуткая тишина — но все молчало. Соловьи давно перестали петь... а внезапное гудение мимолетного жука, легкое чмоканье мелкой рыбы в сажалке за липами на конце сада, сонливый свист встрепенувшейся птички, далекий крик в поле, — до того далекий, что ухо не могло различить, человек ли то прокричал, или зверь, или птица, — короткий, быстрый топот по дороге — все эти слабые звуки, эти шелесты только усугубляли тишину... Сердце во мне томилось неизъяснимым чувством, похожим не то на ожиданье, не то на воспоминание счастия; я не смел шевельнуться, я стоял неподвижно пред этим неподвижным садом, облитым и лунным светом, и росой, и, не знаю сам почему, неотступно глядел на те два окна, тускло красневшие в мягкой полутени, как вдруг раздался в доме аккорд, — раздался и прокатился волною... Раздражительно-звонкий воздух отгрянул эхом... я невольно вздрогнул.

Вслед за аккордом раздался женский голос... Я жадно стал вслушиваться — и... могу ли выразить мое изумле-

ние?.. два года тому назад, в Италии, в Сорренто, слышал я ту же самую песню, тот же самый голос... Да, да...

Vieni, pensando a me segretamente...

Это они, я узнал их, это те звуки... Вот как это было. Я возвращался домой после долгой прогулки на берегу моря. Я быстро шел по улице; уже давно настала ночь, — великолепная ночь, южная, не тихая и грустно задумчивая, как у нас, нет! вся светлая, роскошная и прекрасная, как счастливая женщина в цвете лет; луна светила невероятно ярко; большие лучистые звезды так и шевелились на темно-синем небе; резко отделялись черные тени от освещенной до желтизны земли. С обеих сторон улицы тянулись каменные ограды садов; апельсинные деревья поднимали над ними свои кривые ветки, золотые шары тяжелых плодов то чуть виднелись, спрятанные между перепутанными листьями, то ярко рдели, пышно выставившись на луну. На многих деревьях нежно белели цветы; воздух весь был напоен благовонием, томительно сильным, острым и почти тяжелым, хотя невыразимо сладким. Я шел и, признаться, успев уже привыкнуть ко всем этим чудесам, думал только о том, как бы поскорей добраться до моей гостиницы, как вдруг из одного небольшого павильона, надстроенного над самой стеной ограды, вдоль которой я спешил, раздался женский голос. Он пел какую-то песню, мне не знакомую, и в звуках его было что-то до того призывное, он до того казался сам проникнут страстным и радостным ожиданьем, выраженным словами песни, что я тотчас невольно остановился и поднял голову. В павильоне было два окна; но в обоих жалузи были спущены и сквозь узкие их трещинки едва струился матовый свет. Повторив два раза — vieni, vieni, голос замер; послышался легкий звон струн, как бы от гитары, упавшей на ковер, платье зашелестело, пол слегка скрипнул. Полоски света в одном окне исчезли... кто-то изнутри подошел и прислонился к нему. Я сделал два шага назад. Вдруг жалузи стукнуло и распахнулось; стройная женщина, вся в белом, быстро выставила из окна свою прелестную головку и, протянув ко мне руки, проговорила: «Sei tu?»[1] Я потерялся, не знал, что сказать, но в то же мгновение незнакомка с легким криком откинулась назад, жалузи захлопнулось, и огонь в павильоне еще более померк, как будто вынесенный в другую комнату. Я ос-

[1] Это ты? (*итал.*).

тался неподвижен и долго не мог опомниться. Лицо женщины, так внезапно появившейся передо мною, было поразительно прекрасно. Оно слишком быстро мелькнуло перед моими глазами для того, чтобы я мог тотчас же запомнить каждую отдельную черту; но общее впечатление было несказанно сильно и глубоко... Я тогда же почувствовал, что этого лица я ввек не забуду. Месяц ударил прямо в стену павильона, в то окно, откуда она мне показалась, и, боже мой! Как великолепно блеснули в его сиянии ее большие темные глаза! какой тяжелой волной упали ее полураспущенные черные волосы на приподнятое круглое плечо! Сколько было стыдливой неги в мягком склонении ее стана, сколько ласки в ее голосе, когда она окликнула меня — в этом торопливом, но все еще звонком шепоте! Простояв довольно долго на одном и том же месте, я наконец отошел немного в сторону, в тень противоположной ограды, и стал оттуда с каким-то глупым недоумением и ожиданием поглядывать на павильон. Я слушал... слушал с напряженным вниманием... Мне то будто чудилось чье-то тихое дыхание за потемневшим окном, то слышался какой-то шорох и тихий смех. Наконец раздались в отдалении шаги... они приблизились; мужчина такого же почти роста, как я, показался на конце улицы, быстро подошел к калитке подле самого павильона, которой я прежде не заметил, стукнул, не оглядываясь, два раза железным ее кольцом, подождал, стукнул опять и запел вполголоса: «Ecco ridente...» [1] Калитка отворилась... он без шуму скользнул в нее. Я встрепенулся, покачал головой, расставил руки и, сурово надвинув шляпу на брови, с неудовольствием отправился домой. На другой день я совершенно напрасно и в самый жар проходил часа два по улице мимо павильона и в тот же вечер уехал из Сорренто, не посетив даже Тассова дома.

Пусть же теперь вообразят читатели то изумление, которое внезапно овладело мной, когда я в степи, в одной из самых глухих сторон России, услыхал тот же самый голос, ту же песню... Как и тогда, теперь была ночь; как и тогда, голос раздался вдруг из освещенной незнакомой комнатки; как и тогда, я был один. Сердце во мне сильно билось. «Не сон ли это?» — думал я. И вот раздалось снова последнее vieni... Неужели растворится окно? неужели в нем покажется женщина? Окно растворилось.

[1] «Вот веселый...» (*итал.*).

В окне показалась женщина. Я ее тотчас узнал, хотя между нами было шагов пятьдесят расстояния, хотя легкое облачко заволакивало луну. Это была она, моя сорентская незнакомка. Но она не протянула вперед, попрежнему, свои обнаженные руки: она тихо их скрестила и, опершись ими на окно, стала молча и неподвижно глядеть куда-то в сад. Да, это была она, это были ее незабвенные черты, ее глаза, которым я не видал подобных. Широкое белое платье облекало и теперь ее члены. Она казалась несколько полнее, чем в Сорренто. Все в ней дышало уверенностью и отдыхом любви, торжеством красоты, успокоенной счастием. Она долго не шевелилась, потом оглянулась назад, в комнату, и, внезапно выпрямившись, три раза громким и звенящим голосом воскликнула: «Addio!»[1] Далеко, далеко разнеслись прекрасные звуки, и долго дрожали они, слабея и замирая над липами сада, и в поле за мною, и повсюду. Все вокруг меня на несколько мгновений наполнилось голосом этой женщины, все звенело ей в ответ, — звенело ею. Она закрыла окно, и через несколько мгновений огонь погас в доме.

Как только я пришел в себя,— а это, признаюсь, случилось не скоро, — я тотчас отправился вдоль сада к усадьбе, подошел к запертым воротам и посмотрел через забор. На дворе не замечалось ничего необыкновенного; в одном углу, под навесом, стояла коляска. Передняя ее половина, вся забрызганная сухой грязью, резко белела при луне. Ставни в доме были закрыты по-прежнему. Я забыл сказать, что я перед тем днем около недели не заезжал в Глинное. Более получаса расхаживал я в недоумении перед забором, так что обратил на себя наконец внимание старой дворовой собаки, которая, однако, не стала на меня лаять, а только необыкновенно иронически посмотрела на меня из подворотни своими прищуренными и подслеповатыми глазами. Я понял ее намек и удалился. Но не успел я отойти полверсты, как вдруг услышал за собою конский топот... Через несколько мгновений всадник, на вороной лошади, крупной рысью промчался мимо и, быстро повернувшись ко мне лицом, причем я только мог заметить орлиный нос и прекрасные усы под надвинутой фуражкой, съехал с дороги направо и тотчас же исчез за лесом. «Так вот он», — подумал я, и сердце во мне как-то странно шевельнулось. Мне показалось, что я узнал его; его фигура действительно напоми-

[1] «Прощай!» (*итал.*).

нала фигуру мужчины, вошедшего при мне в калитку сада в Сорренто. Через полчаса я уже был в Глинном, у моего хозяина, разбудил его и тотчас же начал его расспрашивать о том, кто такой приехал в соседнюю усадьбу. Он мне с усилием отвечал, что приехали помещицы.

— Да какие помещицы? — возразил я с нетерпением.

— Известно какие — барыни,— отвечал он очень вяло.

— Да какие барыни?

— Известно, какие бывают барыни.

— Русские?

— А то какие же? известно русские.

— Не иностранки?

— Ась?

— Давно ли они приехали?

— А это неизвестно.

— Богаты они?

— А это нам неизвестно. Может, и богаты.

— С ними никакого барина не приезжало?

— Барина?

— Да, барина.

Староста вздохнул.

— О, ох, господи! — проговорил он, зевая.— Н-нет, барина... нет... барина, кажись, нет. Неизвестно! — прибавил он вдруг.

— А какие тут еще соседи живут?

— Какие, известно какие — всякие.

— Всякие? А как их зовут?

— Кого, помещиц-то? аль соседей?

— Помещиц.

Староста опять вздохнул.

— Как их зовут? — пробормотал он.— А бог их знает, как их зовут! Старшую-то, кажись, Анной Федоровной, а другую-то... Нет, ту не знаю, как зовут.

— Ну, фамилья их какая по крайней мере?

— Фамилья?

— Да, фамилья, прозвище.

— Прозвище... Да. А ей-богу же, не знаю.

— Они молодые?

— Ну, нет. Этого нет.

— А как?

— Да младшей-то лет сорок с лишком будет.

— Ты все врешь.

Староста помолчал.

— Что ж — вам лучше знать. А нам неизвестно.

— Ну, зарядил одно слово! — вскрикнул я с досадой.

Зная по опыту, что из русского человека, когда он примется отвечать таким образом, нет никакой возможности извлечь что-нибудь толковое (притом же мой хозяин только что было завалился спать и перед каждым ответом слегка покачивался вперед, с младенческим изумлением расширяя глаза и с трудом расклеивая губы, смазанные медом первого сладкого сна), я махнул рукой и, отказавшись от ужина, пошел в сарай.

Я долго не мог заснуть. «Кто она такая? — беспрестанно спрашивал я самого себя.— Русская? Если русская, отчего она говорит по-итальянски?.. Староста толкует, что она немолодая... Да он врет... И кто этот счастливец?.. Решительно ничего понять нельзя... Но какое странное приключение! Возможно ли этак два раза сряду... Однако я узнаю непременно, кто она и зачем сюда приехала...» Волнуемый такими беспорядочными, отрывчатыми мыслями, я заснул поздно и видел странные сны... То мне казалось, что я брожу где-то в пустыне, в самый жар полудня — и вдруг, я вижу, передо мной, по раскаленному желтому песку, бежит большое пятно тени... я поднимаю голову — она, моя красавица, мчится по воздуху, вся белая, с длинными белыми крыльями, и манит меня к себе. Я бросаюсь вслед за нею; но она плывет легко и быстро, а я не могу подняться от земли и напрасно простираю жадные руки... «Addio! — говорит она мне, улетая.— Зачем нет у тебя крыльев... Addio...» И вот со всех сторон раздается: Addio! Каждая песчинка кричит и пищит мне: Addio... нестерпимой, острой трелью звенит это i... я отмахиваюсь от него, как от комара,— я ищу ее глазами... а уж она стала облачком и тихо поднимается к солнцу; солнце дрожит, колышется, смеется, простирает к ней навстречу золотые длинные нити, и вот уж опутали ее эти нити, и тает она в них, а я кричу во все горло, как исступленный: «Это не солнце, это не солнце, это итальянский паук; кто ему дал паспорт в Россию? я его выведу на свежую воду: я видел, как он крадет апельсины в чужих садах...» То мне чудилось, что я иду по узкой горной тропинке... Я спешу: мне надо дойти поскорей куда-то, меня ждет какое-то неслыханное счастье; вдруг громадная скала воздвигается передо мною. Я ищу прохода: иду направо, иду налево — нет прохода! и вот за скалой внезапно раздается голос: «Passa, passa quei colli...» Он зовет меня, этот голос, он повторяет свой грустный призыв.

Я мечусь в тоске, ищу хотя малейшей расселины... увы! отвесная стена, гранит повсюду... Passa quei colli — жалобно повторяет голос. Сердце во мне ноет, я бросаюсь грудью на гладкий камень, я в исступлении царапаю его ногтями... Темный проход открывается вдруг передо мною... Замирая от радости, устремляюсь я вперед... «Шалишь! — кричит мне кто-то,— не пройдешь...» Я гляжу: Лукьяныч стоит передо мною, и грозит, и машет руками... Я торопливо роюсь в карманах: хочу подкупить его; но в карманах ничего нет... «Лукьяныч,— говорю я ему,— Лукьяныч, пропусти меня, я тебя после награжу». — «Вы ошибаетесь, синьор,— отвечает мне Лукьяныч, и лицо его принимает странное выражение,— я не дворовый человек; узнайте во мне Дон-Кихота Ламанчского, известного странствующего рыцаря; целую жизнь отыскивал я свою Дульцинею — и не мог найти ее, и не потерплю, чтобы вы нашли свою...» Passa quei colli...— раздается опять почти рыдающий голос. «Посторонитесь, синьор!» — восклицаю я с яростью и готов уже ринуться... но длинное копье рыцаря поражает меня в самое сердце... я падаю замертво, я лежу на спине... я не могу пошевелиться... и вот вижу — она входит с лампадой в руке, красиво подымает ее выше головы, озирается во мраке и, осторожно подкравшись, наклоняется надо мною... «Так вот он, этот шут! — говорит она с презрительным смехом.— Это он-то хотел узнать, кто я»,— и жгучее масло ее лампады капает мне прямо на раненое сердце... «Психея!» — восклицаю я с усилием и просыпаюсь...

Всю ночь я спал плохо и до света был уже на ногах. Наскоро одевшись и вооружившись, отправился я прямо к усадьбе. Нетерпение мое было так велико, что заря только что разгоралась, когда я подошел к знакомым воротам. Кругом пели жаворонки, галки покрикивали на березах; но в доме все еще спало утренним, мертвенным сном. Собака даже храпела за забором. С тоской ожидания, раздраженного почти до злобы, похаживал я по росистой траве и беспрестанно поглядывал на низенький и неказистый домик, заключавший в стенах своих то загадочное существо... Вдруг калитка слабо визгнула, отворилась, и появился на пороге Лукьяныч, в каком-то полосатом казакине. Его взъерошенное, вытянутое лицо показалось мне еще угрюмее, чем когда-либо. Не без изумления посмотрев на меня, он уже было хотел опять затворить калитку.

— Любезный, любезный! — воскликнул я торопливо.

— Что вам надо в такую раннюю пору? — возразил он медленно и глухо.

— Скажи, пожалуйста, к вам, говорят, ваша барыня приехала?

Лукьяныч помолчал.

— Приехала...

— Одна?

— С сестрой.

— Не было у них вчера гостей?

— Не было.

И он потянул к себе калитку.

— Постой, постой, любезный... Сделай одолжение...

Лукьяныч кашлянул и поежился от холода.

— Да что вам такое надо?

— Скажи, пожалуйста, сколько твоей барыне лет?

Лукьяныч подозрительно взглянул на меня.

— Сколько барыне лет? Не знаю. Лет за сорок будет.

— За сорок! А сестре ее сколько будет?

— А той под сорок.

— Неужто! И хороша она собой?

— Кто, сестра-то?

— Да, сестра.

Лукьяныч усмехнулся.

— Не знаю, как кому покажется. По-моему, нехороша.

— А что?

— Так, неказиста больно. Мозглявата маленько.

— Вот как! и, кроме их, никто к вам не приехал?

— Никто. Кому приезжать!

— Да это быть не может!.. Я...

— Э, барин! с вами, знать, всего не переговоришь,— возразил старик с досадой.— Вишь, холод какой! Прощенья просим.

— Постой, постой... вот тебе... — И я протянул ему наперед приготовленный четвертак, но рука моя толкнулась в быстро захлопнутую калитку. Серебряная монета упала на землю, прокатилась и легла у моих ног.

«А, старый плут,— подумал я,— Дон-Кихот Ламанчский! тебе, видно, приказали молчать... Да погоди, меня ты не проведешь...»

Я дал себе слово во что бы то ни стало добиться толку. Около получаса ходил я взад и вперед, не зная, на что решиться. Наконец я положил сперва разузнать

в деревне, кто именно приехал в усадьбу и чья она, потом опять-таки вернуться и, как говорится, не отстать, пока не разъяснится дело. Выйдет же незнакомка из дома, увижу же я ее наконец днем, вблизи, как живую женщину, не как виденье. До деревни было с версту, и я тотчас отправился туда, легко и бодро выступая: странная отвага кипела и разыгрывалась в крови моей; крепительная свежесть утра раздражала меня после беспокойной ночи. В деревне я от двух отправлявшихся на работу мужиков узнал все, что мог только узнать от них; а именно: я узнал, что ту усадьбу вместе с деревней, в которую я зашел, звали Михайловским, что она принадлежала вдове, майорше Анне Федоровне Шлыковой, что у ней была сестра, незамужняя девица Пелагея Федоровна Бадаева, что обе они в летах, богаты, дома почти не живут, всё в разъездах, никого при себе, кроме двух дворовых девушек и повара, не держат, что Анна Федоровна на днях вернулась из Москвы с одной только своей сестрой... Это последнее обстоятельство меня сильно смутило: нельзя ж было предполагать, что и мужику приказано было молчать о моей незнакомке. Допустить же, что Анна Федоровна Шлыкова, вдова сорока пяти лет, и та молодая, прелестная женщина, виденная мною вчера, одно и то же лицо — было совершенно невозможно. Пелагея Федоровна, по описаниям, также не отличалась красотою, да и сверх того, при одной мысли, что женщину, виденную мною в Сорренто, могли звать Пелагеей, да еще Бадаевой, я пожимал плечами и злобно смеялся. И, однако ж, я ее видел вчера, в этом доме... видел, своими глазами видел, думал я. Раздосадованный, взбешенный, но еще более непреклонный в своем намерении, я было хотел тотчас же вернуться к усадьбе... но взглянул на часы: еще шести часов не было. Я решился подождать. В усадьбе, вероятно, все еще спали... а с теперешних пор бродить около дома значило бы только напрасно возбуждать подозрение; притом передо мной расстилались кусты, за ними виднелся осиновый лес... Я должен отдать себе ту справедливость, что, несмотря на волновавшие меня мысли, благородная страсть к охоте не совсем еще замолкла во мне; «Авось,— подумал я,— наткнусь на выводок,— время и пройдет». Я вошел в кусты. Но, правду сказать, ходил я весьма небрежно и уже вовсе несообразно с правилами искусства: не следил постоянно глазами за собакой, не фыркал над густым

кустом в надежде, что оттуда с громом и треском вылетит краснобровый черныш, и беспрестанно взглядывал на часы, что уже совсем никуда не годится. Вот наконец наступил девятый час. «Пора!» — воскликнул я вслух и уже повернул было назад к усадьбе, как вдруг огромный черныш действительно затрепыхался из густой травы, в двух шагах от меня; я выстрелил по великолепной птице, ранил ее в подкрылок; она чуть не свалилась, но справилась, потянула, дробя крыльями и ныряя, к лесу, попыталась было подняться выше первых осинок опушки, но ослабела и кубарем покатилась в чащу. Бросить такую добычу было бы совершенно непростительно; я проворно пустился вслед за нею, вошел в лес, сделал знак Дианке и через несколько мгновений услышал бессильное клохтанье и хлопанье: то бился несчастный черныш под лапами чуткой собаки. Я поднял его, положил в ягдташ, оглянулся — и, как пригвожденный, остался на месте...

Лес, в который я вошел, был очень част и глух, так что я с трудом добрался до места, где упала птица; но в недальнем расстоянии от меня извивалась тележная дорога, и по этой дороге ехали верхом, шагом и рядом, моя красавица и тот мужчина, который обогнал меня накануне; я его узнал по усам. Они ехали тихо, молча, держа друг друга за руку; их лошади чуть выступали, лениво покачиваясь с боку на бок и красиво вытянув длинные шеи. Опомнившись от первого испуга... именно испуга: другого названия я не могу дать чувству, внезапно меня охватившему... я так и впился в нее глазами. Как она была хороша! как очаровательно несся мне навстречу, среди изумрудной зелени, ее стройный образ! Мягкие тени, нежные отблески тихо скользили по ней — по ее длинному серому платью, по тонкой, слегка наклоненной шее, по бледно-розовому лицу, по лоснистым черным волосам, пышно выбегавшим из-под низенькой шляпы. Но как передать то выражение полного, страстного, до безмолвия страстного блаженства, которым дышали ее черты! Голова ее как будто склонилась под его бременем; золотые влажные искорки просвечивались в ее темных глазах, до половины закрытых ресницами; они никуда не глядели, эти счастливые глаза, и тонкие брови опустились над ними. Неопределенная, младенческая улыбка — улыбка глубокой радости блуждала на ее губах; казалось, избыток счастья утомлял и как бы

надломлял ее слегка, вот как распустившийся цветок иногда надламывает свой стебель; обе руки ее бессильно лежали: одна — в руке ехавшего с ней мужчины, другая — на холке лошади. Я успел рассмотреть ее — но и его тож... Это был красивый, статный мужчина, с нерусским лицом. Он глядел на нее смело и весело и, сколько я мог заметить, не без тайной гордости любовался ею. Он любовался ею, злодей, и был очень собой доволен и не довольно тронут, не довольно умилен, именно умилен... Да и в самом деле, какой человек заслуживает такую преданность, какая самая прекрасная душа достойна доставить другой душе такое счастье... Признаться сказать, завидовал я ему!.. Между тем оба они поравнялись со мною... собака моя вдруг выскочила на дорогу и залаяла... Незнакомка вздрогнула, быстро оглянулась и, увидав меня, сильно ударила хлыстом по шее лошади. Лошадь фыркнула, взвилась на дыбы, вынесла разом вперед обе ноги и помчалась галопом... Мужчина тотчас же пришпорил своего вороного коня, и когда я через несколько мгновений вышел по дороге на опушку, они уже оба скакали в золотистой дали, через поле, красиво и мерно колыхаясь на седлах... и скакали не в направлении усадьбы...

Я глядел... Они скоро исчезли за холмом, в последний раз ярко озарившись солнцем на темной черте небосклона. Я постоял, постоял, тихими шагами вернулся в лес и сел, закрыв глаза рукою, на дорожке. Я заметил, что при встрече с незнакомыми стоит только закрыть глаза — и черты их тотчас же возникнут перед вами; всякий может поверить справедливость моего замечания на улице. Чем знакомее лица, тем труднее являются они, тем неяснее их впечатление; их помнишь, а не видишь... а своего собственного лица никак и не представишь... Малейшая отдельная черта известна, а целого образа не составляется. Итак, я сел, закрыл глаза — и тотчас увидал и незнакомку, и ее товарища, и лошадей их, и все... особенно резко и отчетливо стояло передо мною улыбающееся лицо мужчины. Я стал вглядываться в него... оно смешалось и растаяло в какой-то багровой мгле, а вслед за ним и ее образ тоже понесся прочь и утонул и уже более не хотел возвратиться. Я приподнялся. «Ну, что ж! — подумал я,— по крайней мере я их видел, ясно видел обоих... Остается узнать их имена». Стараться узнать их имена! Какое неуместное, мелкое любопытство!

Но, клянусь, не любопытство во мне разгоралось: мне, право, просто казалось невозможным не добиться наконец, кто ж они по крайней мере такие, после того как случай так странно и так упорно сводил меня с ними. Впрочем, нетерпеливого, прежнего недоумения во мне уже не было: оно сменилось каким-то смутным, печальным чувством, которого я немного стыдился... Я завидовал...

Я не спешил назад к усадьбе. Мне, признаться, становилось совестно допытываться чужой тайны. Притом появленье любящей четы днем, при солнечном свете, хотя все-таки неожиданное и, повторяю, странное — не то чтобы успокоило, а как-то расхолодило меня. Я уже не находил во всем этом происшествии ничего сверхъестественного, чудесного... ничего похожего на несбыточный сон...

Я начал опять охотиться, с большим вниманием, чем прежде; но все-таки настоящих восторгов не было. Выводок мне попался и задержал меня часа полтора... Молодые тетеревята долго не откликивались на мой свист,— вероятно, оттого, что я свистел не довольно «объективно». Солнце взошло уже очень высоко (часы показывали двенадцать), когда я направил шаги свои к усадьбе. Я шел не торопясь. Вот глянул наконец с холма низенький домик... сердце во мне опять задрожало. Я приблизился... и не без тайного удовольствия увидел Лукьяныча. Он по-прежнему неподвижно сидел на лавочке перед флигелем. Ворота были заперты... и ставни тоже.

— Здравствуй, дядя! — крикнул я еще издали.— Аль погреться вышел?

Лукьяныч повернул ко мне свое худое лицо и молча приподнял фуражку.

Я подошел к нему.

— Здравствуй, дядя, здравствуй,— повторил я, желая его задобрить.— Что ж ты,— прибавил я, нечаянно увидев на земле мой новенький четвертак,— не видал, что ли, его?

И я указал ему на серебряный кружок, до половины высунувшийся из-под короткой травки.

— Нет, видел.

— Так что ж ты его не поднял?

— Да так: не мои деньги, так и не поднял.

— Экой ты, братец! — возразил я не без замешательства и, подняв четвертак, протянул ему его опять,— возьми, возьми на чай.

— Много благодарны,— отвечал мне Лукьяныч, спокойно улыбнувшись.— Не нужно; поживем и так. Много благодарны.

— Да я тебе готов с удовольствием дать еще больше! — возразил я с смущением.

— За что же? Не извольте беспокоиться — много благодарны за расположенье, а хлеба с нас и в краюхе будет. И той, пожалуй, не доешь — какой час выдет.

И он встал и протянул руку к калитке.

— Постой, постой, старик,— заговорил я почти с отчаянием,— какой ты, право, сегодня неразговорчивый... Скажи мне по крайней мере, твоя барыня — встала она, что ли?

— Они встали.

— И... дома она?

— Нет, их дома нет-с.

— В гости выехала, что ли?

— Никак нет-с: в Москву уехала.

— Как в Москву? Да она сегодня поутру здесь была?

— Здесь.

— И ночевала здесь?

— Здесь ночевали-с.

— И недавно сюда приехала?

— Недавно.

— Так как же, братец?

— А вот, этак с час будет времени, изволили обратно отправиться в Москву.

— В Москву!

Я с остолбенением глядел на Лукьяныча: этого, признаюсь, я не ожидал...

И Лукьяныч глядел на меня... Старчески лукавая улыбка стягивала его сухие губы и чуть светилась в печальных глазах.

— И с сестрой уехала? — проговорил я наконец.

— С сестрицей.

— Так что никого теперь в доме нет?

— Никого...

«Этот старик меня обманывает,— сверкнуло у меня в голове.— Недаром он так лукаво ухмыляется».— Послушай, Лукьяныч,— проговорил я вслух,— хочешь ты мне сделать одно одолжение?..

— Что такое вам угодно? — медленно проговорил он, видимо начиная тяготиться моими расспросами.

— В доме, ты говоришь, никого нет; можешь ты пока-

зать мне его? Я бы очень был тебе благодарен.

— То есть вы хотите комнаты посмотреть?

— Да, комнаты.

Лукьяныч помолчал.

— Извольте, — произнес он наконец. — Пожалуйте...

И он, нагнувшись, шагнул через порог калитки. Я отправился вслед за ним. Перейдя через небольшой дворик, мы взобрались на шаткие ступеньки крыльца. Старик толкнул дверь; в ней и замка не было: веревочка с узлом торчала из ключевой скважины... Мы вошли в дом. Он весь состоял из пяти-шести низеньких комнат, и, сколько я мог различить при слабом свете, скупо струившемся сквозь трещины ставен, мебель в этих комнатах была весьма простая и дряхлая. В одной из них (именно в той, которая выходила в сад) стояло маленькое и старенькое фортепьяно... я поднял его погнутую крышку и ударил по клавишам: кислый, шипящий звук раздался и болезненно замер, как бы жалуясь на мою дерзость. Ни по чем нельзя было заметить, что из этого дома недавно выехали люди; в нем и пахло чем-то мертвенным и душным — нежилым; разве кое-где валявшаяся бумажка своей белизной давала знать, что попала сюда недавно. Я поднял одну такую бумажку; она оказалась клочком письма; на одной стороне бойким женским почерком были начертаны слова: «se taire?» [1], на другой я разобрал слово: «bonheur...» [2]. На круглом столике подле окна стоял букет полузавядших цветов в стакане и лежала зелененькая смятая ленточка... я взял эту ленточку на память. Лукьяныч отворил узкую дверь, заклеенную обоями.

— Вот,— сказал он, протянув руку,— это вот спальня, а там, за нею, еще девичья, а то других покоев нет...

Мы пошли назад по коридору.

— А там что за комната? — спросил я, указав на широкую белую дверь с замком.

— Это? — отвечал мне Лукьяныч глухим голосом.— Это так.

— Как так?

— Да так... Кладовая... — И он пошел было в переднюю.

---

[1] «молчать?» (*франц.*).
[2] «счастье...» (*франц.*).

— Кладовая? Нельзя ли ее посмотреть?..

— Да что вам за охота, барин, право! — возразил Лукьяныч с неудовольствием.— Что вам смотреть? Сундуки, посуда старая... кладовая, и больше ничего...

— Все-таки покажи мне ее, пожалуйста, старик,— сказал я, хоть внутренно стыдился своей неприличной настойчивости.— Я вот, видишь ли, я желал бы... я хочу у себя в деревне точно такой дом...

Мне стало совестно: я не мог докончить начатой речи.

Лукьяныч стоял, наклонив на грудь седую голову, и как-то странно посматривал на меня исподлобья.

— Покажи,— проговорил я.

— Ну, извольте,— возразил он наконец, достал ключ и неохотно отпер дверь.

Я заглянул в кладовую. В ней действительно не было ничего замечательного. На стенах висели старые портреты, с мрачными, почти черными лицами и злыми глазами. На полу валялся всякий хлам.

— Ну, насмотрелись? — угрюмо спросил меня Лукьяныч.

— Да; спасибо! — торопливо возразил я.

Он захлопнул дверь. Я вышел в переднюю, а из передней на двор.

Лукьяныч проводил меня, пробормотал: «Прощенья просим-с»,— и пошел в свой флигелек.

— А какая это у вас госпожа вчера гостила? — крикнул я ему вслед.— Я ее сегодня встретил в роще!

Я надеялся озадачить его моим внезапным вопросом, вызвать необдуманный ответ. Но старик только глухо засмеялся и, уходя к себе, хлопнул дверью.

Я отправился назад в Глинное. Мне было неловко, как пристыженному мальчику.

«Нет,— сказал я самому себе,— видно, мне не добиться разрешения этой загадки. Бог с ней! Не стану больше думать обо всем этом».

Через час я уже ехал домой, рассерженный и раздраженный.

Прошла неделя. Как ни старался я отгонять от себя прочь воспоминание о незнакомке, о ее спутнике, о моих встречах с ними, оно то и дело возвращалось и приставало ко мне со всей докучной настойчивостью послеобеденной мухи... Лукьяныч, с своими таинственными взглядами и сдержанными речами, с своей холодно-печальной улыбкой, тоже беспрестанно приходил мне на память.

Самый дом, когда я вспоминал о нем, самый тот дом, казалось, хитро и тупо поглядывал на меня сквозь свои полузакрытые ставни и как будто поддразнивал меня, как будто говорил мне: а все же ты ничего не узнаешь! Я наконец не выдержал и в один прекрасный день поехал в Глинное, а из Глинного отправился пешком... куда? читатель легко догадается.

Я должен сознаться, что, подходя к таинственной усадьбе, я чувствовал довольно сильное волненье. В наружности дома не произошло никакой перемены: те же закрытые окна, тот же унылый и осиротелый вид; только на лавочке, перед флигелем, вместо старика Лукьяныча сидел какой-то молодой дворовый парень лет двадцати, в длинном нанковом кафтане и красной рубахе. Он сидел, положив на ладонь кудрявую голову, и дремал, изредка покачиваясь и вздрагивая.

— Здравствуй, брат! — промолвил я громко.

Он тотчас вскочил и выпучил на меня свои оторопелые глаза.

— Здравствуй, брат! — повторил я,— а где старик?

— Какой старик? — медленно проговорил малый.

— Лукьяныч.

— А, Лукьяныч! — Он глянул в сторону.— Вам Лукьяныча надо?

— Да, Лукьяныча. Что он, дома?

— Н-нет,— произнес малый с расстановкой,— он того... как бы вам... того... сказать...

— Нездоров он, что ли?

— Нет.

— Так что же?

— Да его совсем нет.

— Как нет?

— Так. С ним такое... недоброе приключилось.

— Он умер? — спросил я с изумлением.

— Удавился.

— Удавился! — с испугом воскликнул я и всплеснул руками.

Мы оба молча посмотрели в глаза друг другу.

— Давно ли? — проговорил я наконец.

— Да вот пятый день сегодня. Вчера его похоронили.

— Да отчего он это удавился?

— Господь его знает. Человек он был вольный, на жалованье; нужды ни в чем не знал, господа его как родного ласкали. Ведь у нас господа — дай бог им здо-

ровья! Просто ума не приложишь, что с ним такое подеялось. Знать, лукавый попутал.

— Да как это он сделал?

— Да так. Взял да удавился.

— И ничего прежде в нем не замечали?

— Как вам сказать... Особенного этакого, чтобы... ничего. Он всегда скучный такой был, сумнительный человек. Закряхтит, закряхтит, бывало. Скучно, дескать, мне. Ну, да ведь уж лета его какие были. В последнее время он точно что-то задумываться начал. Придет, бывало, к нам на деревню; я-то ему племянником довожусь: «Что, брат Вася, скажет, приди-ка, брат, переночуй-ка у меня!» — «А что, дяденька?» — «Да так, страшно что-то; скучно одному». Ну и пойдешь к нему. Бывало, выдет на двор, посмотрит, посмотрит этак на дом, закачает головой, да как вздохнет... Перед самой той ночью, как ему то есть жизнь покончить, он тоже пришел к нам, позвал меня. Ну, я и пошел. Вот пришли мы к нему во флигелек, посидел он маленько на лавочке, встал да и вышел. Я жду,— что, мол, долго он не идет, вышел на двор, крикнул: «Дяденька! а, дядя?» Не откликается дяденька. Я думаю: куда, мол, он это пошел, не в дом ли? да и пошел в дом. Уж смеркаться начинало. Вот прохожу я мимо кладовой, слышу, скребет там что-то за дверью; я взял да дверь и отворил; глядь, а он там сидит, прикорнул под окном. «Что, мол, говорю, дяденька, вы тут делаете?» А он как обернется да как гикнет на меня, а глаза-то у него такие быстрые, быстрые, так и горят, как у кота. «Что тебе? Разве не видишь — бреюсь?» И голос такой хриплый. У меня вдруг волосы так дыбом и поднялись, и, сам не знаю отчего, так мне страшно стало... знать, о ту пору бесы-то его уж обступили. «Впотьмах-то»,— говорю я, а у самого так колени и дрожат. «Ну, говорит, хорошо, ступай». Я пошел, и он из кладовой вышел и дверь на замок запер. Вот пришли мы опять во флигелек, страх с меня тотчас и соскочил. «Что, мол, говорю я, дяденька, ты в кладовой делал?» Он так и всполохнулся. «А ты молчи, говорит, молчи!» — да и полез на лежанку. «Ну,— думаю я,— лучше не стану я с ним заговаривать: вишь, он сегодня что-то того, нездоров, должно быть». Вот я взял да и лег тоже на лежанку. А ночник горит в углу. Вот лежу я, и так, знаете, дремится мне... вдруг, слышу, дверь тихонько скрип... да и отворилась... так, немножко. А дяденька-то к двери спи-

ной лежал, да и на ухо он всегда, вы, может, припомните, туг бывал. А тут как вскочит вдруг... «Кто меня зовет, а? кто? за мной пришел, за мной!» — да без шапки на двор... Я подумал: «Что с ним это?» — да, грешный человек, тут же и заснул. На другое утро просыпаюсь... нет Лукьяныча. Вышел из комнатки, стал его кликать — нету нигде. Спрашиваю у сторожа: «Не видал, мол, не выходил дяденька?» — «Нет, говорит, не видал».— «Что, брат, говорю, нет его что-то...» — «Ой!» Мы так оба и струхнули. «Пойдем, говорю, Федосеич, пойдем, говорю, посмотрим, нет ли его в доме».— «Пойдем, говорит, Василий Тимофеич», а сам бел, как глина. Пошли мы в дом... стал я проходить мимо кладовой, да как глянул, а замок-то висит на пробое открытый, я толк в дверь, а дверь-то изнутри заперта... Федосеич тотчас обежал кругом, посмотрел в окно. «Василий Тимофеич! кричит, ноги висят, ноги!..» Я к окну. А ноги-то это его, Лукьянычевы ноги. Так посереди комнаты и повесился... Ну, послали за судом... Сняли его с веревки: двенадцатью узлами завязана была веревка.

— Ну, что же суд?

— Да что суд? Ничего. Подумали, подумали, какая может быть причина? Нет никакой причины. Так и решили, что, должно полагать, не в своем был уме. У него ж в последнее время голова болела, часто все головой жаловался...

Я еще около получаса потолковал с малым и ушел наконец в совершенном смущении. Признаюсь, я не мог без тайного, суеверного страха смотреть на этот дряхлый дом... Через месяц я уехал из деревни; и понемногу все эти ужасы, эти таинственные встречи вышли у меня из головы.

II

Прошло три года. Большую часть этого времени я провел в Петербурге да за границей, и если когда я и заезжал к себе в деревню, то не более как на несколько дней, так что мне ни разу не пришлось побывать ни в Глинном, ни в Михайловском. Ни красавицу мою я не видал нигде, ни того мужчину. Однажды, на исходе третьего года, в Москве, мне случилось встретиться с г-жою Шлыковой и ее сестрицей, Пелагеей Бадаевой,— с той самой Пелагеей, которую я, грешный человек, до тех пор считал вымышленным лицом,— на вечере у одной

моей знакомой. Обе дамы были уже не молодых лет и довольно приятной наружности; разговор их отличался умом и веселостью: они много путешествовали, и путешествовали с пользой; в обращении их замечалась непринужденная веселость. Но между моей незнакомкой и ими не было решительно ничего общего. Меня представили им. Мы с г-жою Шлыковой разговорились (сестрицу ее занимал какой-то заезжий геолог). Я объявил ей, что имею удовольствие быть ее соседом по ...му уезду.

— А! у меня там точно есть небольшое именье,— заметила она,— возле Глинного.

— Как же, как же,— возразил я,— я знаю ваше Михайловское. Вы там бываете?

— Я? редко.

— Три года тому назад были?

— Постойте! кажется, была. Да, была, точно.

— С сестрицей вашей или одни?

Она взглянула на меня.

— С сестрой. Мы там с неделю провели. По делам, знаете. Впрочем, мы никого не видали.

— Гм... Там, кажется, соседей очень мало.

— Да, мало. Я же до них не охотница.

— Скажите,— начал я,— ведь у вас там, кажется, в том же году случилось несчастье. Лукьяныч...

Глаза г-жи Шлыковой тотчас наполнились слезами.

— А вы его знали? — промолвила она с живостью.— Такое несчастье! Такой был прекрасный, добрый старик... и, представьте, ведь без всякой причины...

— Да, да,— пробормотал я,— такое несчастье...

Сестра г-жи Шлыковой подошла к нам. Ей, вероятно, уж начинали надоедать ученые рассуждения геолога о формации берегов Волги.

— Вообрази, Pauline,— начала моя собеседница,— monsieur знал Лукьяныча.

— В самом деле? Бедный старик!

— Я не раз охотился около Михайловского в то время, когда вы там были, три года тому назад,— заметил я.

— Я? — возразила Пелагея с некоторым недоумением.

— Ну, да, конечно! — поспешно подхватила ее сестрица,— разве ты не помнишь?

И она пристально поглядела ей в глаза.

— Ах да, да... точно! — отвечала вдруг Пелагея.

«Эхе-хе,— подумал я,— навряд ты была в Михайловском, голубушка».

— Не споете ли нам что-нибудь, Пелагея Федоровна,— заговорил внезапно один высокий молодой человек, с белокурым коком и мутносладкими глазками.

— Я, право, не знаю,— проговорила девица Бадаева.

— А вы поете? — воскликнул я с живостью и быстро поднялся с места,— ради бога... Ах, ради бога, спойте нам что-нибудь.

— Но что мне спеть вам?

— Не знаете ли вы,— начал я, всячески стараясь придать себе вид равнодушный и развязный,— одну итальянскую песенку... она так начинается: Passa que'colli?

— Знаю,— отвечала Пелагея совершенно невинно.— Что ж, ее вам спеть? Извольте.

И она села за фортепьяно. Я, как Гамлет, вперил взоры свои в г-жу Шлыкову. Мне показалось, что при первом звуке она слегка вздрогнула; впрочем, она спокойно досидела до конца. Девица Бадаева пела недурно. Песенка кончилась — раздались обычные рукоплескания. Стали просить ее спеть еще что-нибудь; но обе сестры перемигнулись и через несколько минут уехали. Когда они выходили из комнаты, мне послышалось слово: importun [1].

«Поделом!» — подумал я — и уже больше с ними не встречался.

Прошел еще год. Я переехал на жительство в Петербург. Настала зима; начались маскарады. Однажды, выходя в одиннадцатом часу вечера из одного приятельского дома, я почувствовал себя в таком мрачном расположении духа, что решился отправиться в маскарад, в Дворянское собрание. Долго бродил я вдоль колонн и мимо зеркал с скромно-фатальным выражением на лице — с тем выражением, которое, сколько я мог заметить, в подобных случаях появляется у самых порядочных людей — почему, один господь ведает; долго бродил я, изредка отшучиваясь от пискливых домино с подозрительными кружевами и несвежими перчатками и еще реже заговаривая с ними; долго предавал я свои уши завываньям труб и визгу скрипок; наконец, наскучавшись вдоволь и добившись головной боли, хотел я уже ехать

[1] Навязчивый (*франц.*).

домой... и... и остался. Я увидал женщину в черном домино, прислонившуюся к колонне,— увидал ее, остановился, подошел к ней — и... поверят ли мне мои читатели?.. тотчас узнал в ней мою незнакомку. Почему узнал я ее: по взгляду ли, который она рассеянно бросила на меня сквозь продолговатые отверстия маски, по дивному ли очертанию ее плеч и рук, по особенной ли женственной величавости всего ее образа, или, наконец, по какому-то тайному голосу, который внезапно заговорил во мне,— не могу сказать... но только я узнал ее. С дрожью на сердце прошел я несколько раз мимо нее. Она не шевелилась; в ее позе было что-то до того безнадежно горестное, что, глядя на нее, я невольно вспомнил два стиха испанского романса:

Я печальная картина,
Прислоненная к стене [1],

Я зашел за колонну, о которую она опиралась, и, наклонив голову к самому ее уху, тихо произнес:

— Passa que'colli...

Она вся затрепетала и быстро обернулась ко мне. Глаза наши так близко встретились, что я мог заметить, как испуг расширил ее зрачки. С недоумением, слабо протянув одну руку, смотрела она на меня.

— Шестого мая 184 * года, в Сорренто, в десять часов вечера, в улице della Croce [2],— проговорил я медленным голосом, не спуская с нее глаз,— потом в России, в ...й губернии, в сельце Михаловском, двадцать второго июля 184 * года...

Я сказал все это по-французски. Она подалась немного назад, окинула меня с ног до головы изумленным взором и, прошептав: «Venez» [3],— проворно пошла вон из залы. Я отправился вслед за ней.

Мы шли молча. Я не в силах передать, что я чувствовал, идя с ней рядом. Прекрасное сновидение, которое бы вдруг стало действительностью... статуя Галатеи, сходящая живой женщиной с своего пьедестала в глазах замирающего Пигмалиона... Я не верил себе, я едва мог дышать.

Мы прошли несколько комнат... Наконец в одной из

---

[1] Sou uń cuadro de tristeza, Arrimado a la pared. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

[2] Креста (*итал.*).

[3] «Пойдемте» (*франц.*).

них она остановилась перед небольшим диваном у окна и села. Я сел подле нее.

Она медленно обернула ко мне свою голову и внимательно посмотрела на меня.

— Вы... вы от *него?* — проговорила она.

Голос ее был слаб и неверен...

Ее вопрос меня несколько смутил.

— Нет, не от него,— отвечал я, запинаясь.

— Вы его знаете?

— Знаю,— возразил я с таинственной важностью. Мне хотелось поддержать свою роль.— Знаю.

Она недоверчиво посмотрела на меня, хотела что-то сказать и потупилась.

— Вы его ждали в Сорренто,— продолжал я,— вы виделись с ним в Михайловском, вы ездили с ним верхом...

— Как вы могли... — начала было она.

— Уж я знаю... я все знаю...

— Ваше лицо мне как будто знакомо,— продолжала она,— но нет...

— Нет, я вам незнаком.

— Так что же вы хотите?

— Да уж я знаю,— твердил я.

Я очень хорошо понимал, что мне следовало воспользоваться отличным началом, идти далее, что мои повторения «я все знаю, уж я знаю» становились смешными,— но мое волнение было так велико, эта неожиданная встреча до того меня смутила, я так потерялся, что решительно не умел сказать ничего другого. Притом же я действительно больше ничего и не знал. Я чувствовал, что я глупею, чувствовал, что я из таинственного, всеведущего существа, каким я сперва ей должен был показаться, быстро превращаюсь в какого-то ухмыляющегося дурачка... но делать было нечего.

— Да, я все знаю,— пробормотал я еще раз.

Она взглянула на меня, проворно встала и хотела удалиться.

Но это было бы слишком жестоко. Я ее схватил за руку.

— Ради бога,— начал я,— сядьте, выслушайте меня...

Она подумала и села.

— Я вам сейчас говорил,— продолжал я с жаром,— что я все знаю,— это вздор. Я ничего не знаю, решительно ничего; я не знаю ни кто вы, ни кто он, и если я мог

вас удивить тем, что я сказал вам сейчас у колонны, то припишите это одному случаю, странному, непонятному случаю, который, как будто на смех, два раза и почти одинаковым образом сталкивал меня с вами, делал меня невольным свидетелем того, что, может быть, вы бы желали сохранить в тайне...

И я тут же, нисколько не обинуясь и без малейшей утайки, рассказал ей все: встречи мои с ней в Сорренто, в России, мои тщетные расспросы в Михайловском, даже разговор мой в Москве с Шлыковой и ее сестрой.

— Теперь вы все знаете,— продолжал я, окончив свой рассказ.— Я не стану описывать вам, какое глубокое, какое потрясающее впечатление вы произвели на меня: видеть вас и не быть очарованным вами — невозможно. С другой стороны, мне тоже не для чего говорить вам, какого рода было это впечатление. Вспомните, при каких условиях я оба раза видел вас... Поверьте, я не охотник предаваться безумным надеждам, но поймите также и то неизъяснимое волнение, которое овладело мною сегодня, и извините меня, извините неловкую хитрость, к которой я решился прибегнуть, чтобы обратить ваше внимание, хотя на мгновение...

Она выслушала мои сбивчивые объяснения, не поднимая головы.

— Что же вы хотите от меня? — сказала она наконец.

— Я?.. Я ничего не хочу... Я и так уже счастлив... Я слишком уважаю чужие тайны.

— Будто? Однако вы до сих пор, кажется... Впрочем,— продолжала она,— я не хочу упрекать вас. Всякий на вашем месте сделал бы то же. Притом случай действительно так настойчиво сближал нас... это как будто дает вам некоторое право на мою откровенность. Слушайте: я не принадлежу к числу тех женщин, непонятых и несчастных, которые ездят по маскарадам для того, чтобы болтать с первым встречным о своих страданиях, которым нужны сердца, исполненные сочувствия... Мне ничьего сочувствия не нужно, мое собственное сердце умерло, и я приехала сюда для того только, чтобы окончательно похоронить его.

Она поднесла платок к своим губам.

— Я надеюсь,— продолжала она с некоторым усилием,— что вы не принимаете моих слов за обыкновенные маскарадные излияния. Вы должны понять, что мне не до того...

И точно, в ее голосе было что-то страшное, при всей вкрадчивой мягкости его звуков.

— Я русская,— сказала она по-русски — до тех пор она выражалась на французском языке,— хотя мало жила в России... Имя вам мое знать не нужно. Анна Федоровна моя старинная приятельница; я точно ездила в Михайловское под именем ее сестры... Тогда мне нельзя было с ним видеться явно... И без того начинали ходить слухи... тогда еще существовали препятствия — он не был свободен... Эти препятствия исчезли... но тот, чье имя должно было сделаться моим, тот, с которым вы меня видели, меня бросил.

Она сделала движение рукой и помолчала...

— Вы точно его не знаете? не встречались с ним?

— Ни разу.

— Он почти все это время провел за границей. Впрочем, он теперь здесь... Вот и вся моя история,— прибавила она,— вы видите, в ней нет ничего таинственного, ничего особенного.

— А Сорренто? — робко прервал я.

— Я с ним познакомилась в Сорренто,— медленно возразила она и задумалась.

Мы оба умолкли. Странное смущение овладело мною. Я сидел подле нее, подле той женщины, чей образ так часто носился в мечтах моих, так мучительно волновал и раздражал меня,— я сидел подле нее и чувствовал холод и тяжесть на сердце. Я знал, что ничего не выйдет из этой встречи, что между ею и мною была бездна, что мы, расставшись, разойдемся навсегда. Протянув голову и уронив обе руки на колени, сидела она равнодушно и небрежно. Знаю я эту небрежность неизлечимого горя, знаю равнодушие безвозвратного несчастья! Маски четами проходили мимо нас; звуки «однообразного и безумного» вальса то глухо отдавались в отдаленье, то приносились резкими взрывами; тяжело и печально волновала меня веселая бальная музыка. «Неужели,— думал я,— эта женщина — та самая, которая явилась мне некогда в окне того далекого деревенского домика во всем блеске торжествующей красоты?..» И между тем время, казалось, не коснулось ее. Нижняя часть ее лица, не скрытая кружевами маски, была почти младенчески нежна; но от нее веяло холодом, как от статуи... Возвратилась Галатея на свой пьедестал, и уже не сойти с него более.

Вдруг она выпрямилась, заглянула в другую комнату и встала.

— Дайте мне руку,— сказала она мне,— пойдемте скорей, скорей.

Мы вернулись в залу. Она шла так быстро, что я едва за ней поспевал. У одной колонны она остановилась.

— Подождемте здесь,— прошептала она.

— Вы кого-нибудь ищете,— начал было я...

Но она не обращала на меня внимания: пристальный взор ее вперился в толпу. Темно и грозно глядели из-под черного бархата ее черные большие глаза.

Я обернулся в направлении ее взора и все понял. По коридору, образуемому рядом колонн и стеной, шел он, тот мужчина, которого я встретил с нею в лесу. Я узнал его тотчас; он почти не изменился. Так же красиво вился его русый ус, такой же спокойной и самоуверенной веселостью светились его карие глаза. Он шел не торопясь и, слегка наклонив свой тонкий стан, рассказывал что-то женщине в домино, которую вел под руку. Поравнявшись с нами, он внезапно поднял голову, посмотрел сперва на меня, потом на ту, с которой я стоял, и, вероятно, узнал ее, узнал ее глаза, потому что брови его слегка дрогнули,— он прищурился, и чуть заметная, но нестерпимо дерзкая усмешка шевельнула его губы. Он нагнулся к своей спутнице, шепнул ей на ухо два слова, та тотчас оглянулась, голубенькие ее глазки торопливо окинули нас обоих, и, тихо засмеявшись, погрозила она ему своей маленькой ручкой. Он слегка приподнял одно плечо, она кокетливо к нему прижалась...

Я обернулся к моей незнакомке. Она смотрела вслед уходящей чете и вдруг, выдернув у меня руку, бросилась к дверям. Я было устремился вслед за ней, но она, обернувшись, так на меня взглянула, что я глубоко ей поклонился и остался на месте. Я понял, что преследовать ее было бы грубо и глупо.

— Скажи, пожалуйста, братец,— говорил я четверть часа спустя одному из моих приятелей — живому адрес-календарю Петербурга,— что это за высокий красивый господин с усами?

— Это?.. это какой-то иностранец, довольно загадочное существо, очень редко появляющееся на нашем горизонте. А что?

— Так!..

Я вернулся домой. С тех пор я уже никогда не встречал моей незнакомки. Зная имя человека, которого она любила, я бы, вероятно, мог добиться наконец, кто она была такая, но я сам не желал этого. Я сказал выше, что эта женщина появилась мне как сновидение — и как сновидение прошла она мимо и исчезла навсегда.

1851

ПЕРЕПИСКА

Несколько лет тому назад был я в Дрездене. Я остановился в гостинице. С раннего утра до позднего вечера скитаясь по городу, я не почел за нужное познакомиться с моими соседями; наконец случайным образом дошло до моего сведения, что в доме находится русский — больной. Я отправился к нему и нашел человека в жесточайшей чахотке. Дрезден начинал мне надоедать; я поселился у моего нового знакомца. С больным сидеть скучно, но даже скука иногда приятна; притом мой больной не унывал и разговаривал охотно. Мы всячески старались убивать время; играли вдвоем в дурачка, трунили над доктором. Мой земляк рассказывал этому весьма лысому немцу разные небылицы на свой счет, которые доктор всегда «давно предугадывал»; передразнивал его, когда он удивлялся какому-нибудь необыкновенному, небывалому припадку, кидал его лекарства за окно и т. д. Я, впрочем, неоднократно замечал моему приятелю, что не худо бы послать за хорошим врачом, пока время не ушло, что с его болезнью шутить нельзя, и т. д. Но Алексей (моего знакомого звали Алексеем Петровичем С...) всякий раз отделывался остротами насчет всех докторов вообще и своего в особенности и наконец в один ненастный осенний вечер на мои неотступные просьбы отвечал таким уны-

лым взглядом, так печально покачал головой и так странно улыбнулся, что я почувствовал некоторое недоуменье. В ту же ночь Алексею сделалось хуже, и на другой день он скончался. Перед самой смертью обычная веселость ему изменила: он с беспокойством заметался на постели, вздыхал, тоскливо озирался... схватил меня за руку, с усилием прошептал: «А ведь тяжело умирать...», уронил голову на подушку и залился слезами. Я не знал, что сказать ему, и молча сидел перед его постелью. Алексей, однако ж, скоро восторжествовал над этим последним, поздним сожаленьем... «Послушайте,— сказал он мне,— наш доктор — сегодня придет и найдет меня мертвым... Воображаю себе его рожу...» И умирающий постарался его передразнить... Он попросил меня отослать все его вещи в Россию, к родственникам, исключая небольшой связки, которую он подарил мне на память.

В этой связке находились письма — письма одной девушки к Алексею и копии с его писем к ней. Всех их было пятнадцать. Алексей Петрович С... знал Марью Александровну Б... давно, кажется, с детства. У Алексея Петровича был двоюродный брат, у Марьи Александровны была сестра. В прежние годы они все жили вместе, потом разъехались и долго не видались; потом случайно съехались все опять в деревне летом и влюбились — брат Алексея в Марью Александровну, сам Алексей в сестру ее. Лето прошло, наступила осень; они разъехались. Алексей, как человек рассудительный, скоро убедился в том, что он вовсе не влюблен,— и расстался с своей красавицей весьма благополучно; брат его еще годика два переписывался с Марьей Александровной... но и он догадался наконец, что бессовестным образом обманывает и ее и себя, и тоже умолк.

Я бы мог вам рассказать кое-что о Марье Александровне, любезный читатель, но вы ее узнаете сами из ее писем. Алексей написал свое первое письмо к ней вскоре после ее окончательной размолвки с его братом. Он находился тогда в Петербурге, внезапно уехал за границу, занемог и в Дрездене умер. Я решился напечатать его переписку с Марьей Александровной и надеюсь на некоторое снисхождение со стороны читателей уже потому, что эти письма не любовные — сохрани бог! Любовные письма читаются обыкновенно только двумя особами (зато тысячу раз сряду), но уж третьей особе они несносны, если не смешны.

I

От Алексея Петровича к Марье Александровне

Санкт-Петербург, 1840 г., марта 7-го.

Любезная Марья Александровна!

Кажется, я еще ни разу не писал к вам, и вот пишу теперь... Не правда ли, странное я выбрал время? Вот что меня к этому побудило. Mon cousin Théodore[1] сегодня был у меня и, как бы это сказать... и сообщил мне под величайшей тайной (он иначе ничего не сообщает), что он влюблен в дочь какого-то здешнего барина и на этот раз непременно намерен жениться и что уж он сделал первый шаг — объяснился! Я, разумеется, поспешил поздравить его с таким приятным для него событием; он давно нуждался в объяснении... но внутренно, признаюсь, я несколько изумился. Хотя я знал, что между вами все было кончено, однако мне казалось... Словом, я изумился. Я собирался было выехать сегодня в гости, но остался дома и намерен поболтать немного с вами. Если вам неугодно меня слушать, бросьте письмо тотчас же в огонь. Объявляю вам, что я хочу быть откровенным, хотя и чувствую, что вы имеете полное право принять меня за довольно навязчивого человека. Заметьте, однако, что я бы не взял пера в руки, если б не знал, что вашей сестрицы нет с вами; она, как мне сказал Théodore, будет все лето гостить у вашей тетки, г-жи Б... Дай ей бог всего хорошего!

Итак, вот чем все разыгралось... Но я не стану предлагать вам мою дружбу и т. д.; я вообще чуждаюсь торжественных речей и «задушевных» излияний. Начав писать это письмо, я просто следовал какому-то мгновенному влечению; если во мне таится другое чувство, пусть оно и останется пока под спудом.

Вас я также утешать не стану. Утешая других, люди большею частью желают поскорее отделаться от неприятного чувства невольного, себялюбивого сожаленья... Я понимаю искреннее, теплое участие... но подобное участие не от всякого принимаешь... Пожалуйста, рассердитесь на меня... Рассердившись, вы, вероятно, прочтете мое послание до конца.

---

[1] Мой двоюродный брат Федор (*франц.*).

Но какое право имею я писать к вам, говорить о моей дружбе, о моих чувствах, об утешении? — никакого, решительно никакого, я в этом должен сознаться, и надеюсь только на вашу доброту.

Знаете ли вы, на что похоже вступление моего письма? Вот на что: какой-нибудь господин N. N. вошел в гостиную дамы, которая его совсем не ожидала, которая, может быть, ожидала другого... Он догадывается, что пришел не вовремя, но делать нечего... Садится, начинает говорить... бог знает о чем: о поэзии, о красотах природы, о выгодах хорошего воспитания... словом, несет ужаснейшую дичь... Но между тем первые пять минут прошли, он уселся; дама покорилась судьбе, и вот г. N. N. оправляется, отдыхает и начинает разговаривать — как умеет.

Однако, несмотря на все эти разглагольствования, мне все-таки не совсем ловко. Я так и вижу перед собою ваше недоумевающее, несколько даже гневное лицо: я чувствую, что вам почти невозможно не предположить во мне каких-нибудь скрытных намерений, и потому я, как римлянин, сделавший глупость, величественно закутываюсь в свою тогу и безмолвно ожидаю вашего окончательного приговора...

А именно: позволите ли вы мне продолжать писать к вам?

Остаюсь искренно и душевно преданный вам

Алексей С...

II

От Марьи Александровны к Алексею Петровичу

Село ...но, марта 22-го, 1840.

Милостивый государь
Алексей Петрович!

Я получила ваше письмо и, право, не знаю, что вам сказать. Я бы даже вовсе не отвечала вам, если б мне не показалось, что под вашими шутками действительно скрывается чувство довольно дружелюбное. Ваше письмо произвело на меня впечатление неприятное. В ответ на ваши «разглагольствования», как вы говорите, позвольте мне тоже предложить вам один вопрос: *к чему?* Что вам до меня, что мне до вас? Я не предполагаю в вас никаких дурных намерений... напротив, я благодарна вам за ваше

участие... но мы друг другу чужды, и я, теперь по крайней мере, не чувствую ни малейшего желания сблизиться с кем бы то ни было.

С истинным уважением остаюсь и т. д.

Марья Б...

III

От Алексея Петровича к Марье Александровне

Санкт-Петербург, марта 30.

Благодарю вас, Марья Александровна, благодарю вас за вашу записку, как она ни суха. Все это время я находился в большом волнении; я двадцать раз на день думал о вас и о моем письме. Вы не можете себе представить, как язвительно я насмехался над самим собою; но теперь я в отличном расположении духа и глажу себя по головке. Марья Александровна, я вступаю в переписку с вами! Признайтесь, вы этого никак не могли ожидать после вашего ответа; я сам удивляюсь моей смелости... была не была! Но успокойтесь: я хочу говорить с вами не о вас, а о себе. Вот видите ли: мне непременно нужно, говоря старинным слогом, высказаться перед кем-нибудь. Я не имею никакого права избрать вас в свои поверенные — согласен; но послушайте: я не требую от вас ответа на мои послания; я даже не хочу знать, станете ли вы читать мои «разглагольствования», но не возвращайте мне моих писем, ради всего святого!

Послушайте, я совершенно одинок на земле. В молодости я вел жизнь уединенную, хотя, помнится, никогда не прикидывался Байроном; но, во-первых, обстоятельства, во-вторых, способность фантазировать и любовь к фантазии, довольно холодная кровь, гордость, лень — словом, множество разных причин отдалило меня от общества людей. Переход от жизни мечтательной к действительной совершился во мне поздно... может быть, слишком поздно, может быть, до сих пор не вполне. Пока меня тешили собственные мои мысли и чувства, пока я был способен предаваться беспричинным, молчаливым восторгам и т. д., я не жаловался на свое одиночество. У меня не было товарищей — были так называемые друзья. Иногда я нуждался в их присутствии, как электрическая машина нуждается в разряднике — и только. Любовь... об этом предмете мы пока помолчим. Но теперь, призна-

юсь, теперь одиночество тяготит меня, а между тем я не вижу никакого выхода из моего положения. Я не виню судьбы; я один виноват, и поделом наказан. В молодости меня занимало одно: мое милое *я*; я принимал свое добродушное самолюбие за стыдливость; чуждался общества — и вот теперь я сам себе надоел страшно. Куда деваться? Я никого не люблю; все мои сближения с другими людьми как-то натянуты и ложны; да и воспоминаний у меня нет, потому что во всей моей прошедшей жизни я ничего не нахожу, кроме собственной моей особы. Спасите меня: вам я не клялся восторженно в любви; вас я не оглушал потоком болтливых речей; я довольно холодно прошел мимо вас, и оттого именно решаюсь теперь прибегнуть к вам. (Я и прежде об этом подумывал, да вы тогда не были свободны...) Среди всех моих самодельных ощущений, радостей и страданий, единственно истинным чувством было то небольшое, но невольное влечение к вам, которое завяло тогда, как одинокий колос среди негодных трав... Дайте мне хоть раз посмотреть в лицо другое, в другую душу — мое собственное лицо мне опротивело; я похож на человека, который был бы осужден весь свой век жить в комнате с зеркальными стенами... Я не требую от вас никаких признаний — о боже, нет! Подарите меня безмолвным участием сестры или хоть простым любопытством читателя — я вас займу, право займу.

А впрочем, честь имею пребыть вашим искренним другом.

А. С.

IV

От Алексея Петровича к Марье Александровне

Петербург, 7-го апреля.

Пишу опять к вам, хотя и предвижу, что без вашего одобрения скоро замолчу. Я должен сознаться, что вы не можете не чувствовать некоторой недоверчивости ко мне. Что ж? вы, может быть, и правы. Прежде я торжественно объявил бы вам (и сам, пожалуй, себе бы на слово поверил), что, со времени нашей разлуки, я «развился», ушел вперед; с снисходительным, почти ласковым презрением отозвался бы я о своем прошедшем, с трогательной хвастливостью посвятил бы вас в тайны своей настоящей, действительной жизни... но теперь, уверяю вас, Ма-

рья Александровна, мне даже совестно и гадко вспоминать о том, как некогда разыгрывалось и тешилось мое дрянное самолюбие. Не бойтесь: я не стану вам навязывать никаких великих истин, никаких глубоких взглядов; у меня нет их — этих истин и взглядов. Я стал добрым малым — право. Мне скучно, Марья Александровна, мне просто мóчи нет как скучно. Вот отчего я к вам пишу... Мне, право, кажется, что мы можем сойтись...

Однако я решительно не в состоянии говорить с вами, пока вы мне не протянете вашей руки, пока я не получу от вас записки с одним словом «да».— Марья Александровна, хотите ли вы меня выслушать? — вот в чем вопрос.

Преданный Вам *А. С.*

V

От Марьи Александровны к Алексею Петровичу

Село ...но, 14 апреля.

Какой вы странный человек! Ну — да.

Марья Б.

VI

От Алексея Петровича к Марье Александровне

Петербург, 2 мая 1840.

Ура! Спасибо, Марья Александровна, спасибо! Вы очень доброе и снисходительное создание.

Начинаю, по обещанию, говорить о самом себе и буду говорить с удовольствием, доходящим до аппетита... Именно так. Обо всем на свете можно говорить с жаром, с восторгом, с увлечением, но с аппетитом говоришь только о самом себе.

Послушайте, со мной на днях случилось престранное происшествие: я в первый раз оглянулся на свое прошедшее. Вы поймите меня: каждый из нас часто вспоминает о бывалом — с сожалением или с досадой, или просто так, от нечего делать; но бросить холодный, ясный взгляд на всю свою прошедшую жизнь — вот как прохожий, оборачиваясь, глядит с высокой горы на пройденное им поле — можно только в известные лета..., и тайный холод охватит

сердце человека, когда это с ним случается в первый раз. По крайней мере у меня оно болезненно сжалось. Пока мы молоды — *такого* рода оглядки невозможны. Но молодость моя миновала — и, как тому прохожему на горе, мне все ясно стало видно...

Да, прошла моя молодость, прошла невозвратно!.. Вот она лежит передо мной, вся, как на ладони...

Невеселое зрелище! Признаюсь вам, Марья Александровна, мне очень жаль самого себя. Боже мой! Боже мой! Возможно ли, чтоб я сам до такой степени испортил собственную жизнь, так безжалостно путал и мучил себя... Теперь я образумился, но уж поздно. Случалось ли вам спасти муху от паука? Случалось? Помните, вы посадили ее на солнце; крылья, ножки у ней слеплены, склеены... Как она неловко движется, как неловко старается обчиститься!.. После долгих усилий она кое-как оправляется, ползет, пытается расправить крылья... но не гулять уж ей по-прежнему, не жужжать беззаботно на солнце, то влетая через раскрытое окно в прохладную комнату, то опять свободно выносясь на горячий воздух... Она по крайней мере не по своей воле попала в грозные сети... а я!

Я был собственным своим пауком!

И между тем я не могу слишком винить себя. Да и кто, скажите на милость, кто бывает когда-нибудь в чем-нибудь виноват — один? Или, лучше сказать, все мы виноваты, да винить-то нас все-таки нельзя. Обстоятельства нас определяют; они наталкивают нас на ту или другую дорогу, и потом они же нас казнят. У каждого человека есть своя судьба... Постойте, постойте! Мне на этот счет приходит в голову хитросплетенное, но справедливое сравнение. Как облака сперва слагаются из паров земли, восстают из недр ее, потом отделяются, отчуждаются от нее и несут ей наконец благодать или гибель: так около каждого из нас и из нас же самих образуется... как бы это сказать? образуется род стихии, которая потом разрушительно или спасительно действует на нас же. Эту-то стихию я называю судьбой... Другими словами и говоря просто: каждый делает свою судьбу, и каждого она делает...

Каждый делает свою судьбу — да!.. но наш брат слишком много ее делает — вот в чем наша беда! Слишком рано пробуждается в нас сознательность; слишком рано начинаем мы наблюдать за самими собою... У нас, рус-

ских, нет другой жизненной задачи, как опять-таки разработка нашей личности, и вот мы, едва возмужалые дети, уже принимаемся разрабатывать ее, эту нашу несчастную личность! Не получив извне никакого определенного направления, ничего действительно не уважая, ничему крепко не веря, мы вольны делать из себя что хотим... нельзя же требовать от каждого, чтоб он тотчас понял бесплодность ума, «кипящего в действии пустом»... и вот опять на свете одним уродом больше, больше одним из тех ничтожных существ, в которых привычки себялюбия искажают самое стремление к истине, смешное простодушие живет рядом с жалким лукавством... одним из тех существ, обессиленной, беспокойной мысли которых незнакомо вовек ни удовлетворение естественной деятельности, ни искреннее страдание, ни искреннее торжество убеждения... Совмещая в себе недостатки всех возрастов, мы лишаем каждый недостаток его хорошей, выкупающей стороны... Мы глупы, как дети, но мы не искренни, как они; мы холодны, как старики, но старческого благоразумия нет в нас... Зато мы психологи. О да, мы большие психологи! Но наша психология сбивается на патологию; наша психология — это хитростное изучение законов больного состояния и больного развития, до которых здоровым людям нет никакого дела... А главное, мы не молоды, в самой молодости не молоды!

И между тем — зачем клеветать на себя? Будто уж и мы никогда не были молоды, будто в нас никогда не играли, не кипели, не дрожали силы жизни? И мы бывали в Аркадии, и мы скитались по светлым ее полям!.. Случалось ли вам, гуляя по кустарнику, натыкаться на тех темных кузнечиков, которые, прыгнув из-под самых ног, с треском раскрывают вдруг ярко-красные крылья, перелетят несколько шагов и тут же падают опять в траву? Точно так же и наша темная молодость иногда распускала на несколько мгновений и не на долгий полет свои пестрые крылышки... Помните ли вы наши безмолвные вечерние прогулки вчетвером вдоль ограды вашего сада, после какого-нибудь долгого, теплого живого разговора? Помните ли вы те благодатные мгновения? Природа ласково и величаво принимала нас в свое лоно. Мы входили, замирая, в какие-то блаженные волны. Кругом вечерняя заря разгоралась внезапным и нежным багрянцем; от заалевшегося неба, от просветленной земли, отовсюду, казалось, веяло огнистым и свежим дыханьем молодости, ра-

достным торжеством какого-то бессмертного счастья; заря пылала; подобно ей, тихо и страстно пылали восторженные наши сердца, и мелкие листья молодых деревьев чутко и смутно дрожали над нами, как будто отвечая внутреннему трепету неясных чувств и ожиданий в нас. Помните вы эту чистоту, эту доброту и доверчивость помыслов, это умиление благородных надежд, это молчание полноты? Неужели мы и тогда не стоили чего-нибудь лучшего, чем то, к чему нас довела жизнь? Отчего нам было суждено только изредка завидеть желанный берег и никогда не стать на него твердой ногою, не коснуться его —

Не плакать сладостно, как первый иудей
На рубеже страны обетованной?

Эти два стиха Фета напомнили мне другие, его же... Помните, как мы однажды, стоя на дороге, увидели в дали облачко розовой пыли, поднятой легким ветром против заходящего солнца? «Облаком волнистым», начали вы, и мы все тотчас притихли и стали слушать:

Облаком волнистым
Пыль встает вдали...
Конный или пеший —
Не видать в пыли.
Вижу, кто-то скачет
На лихом коне...
Друг мой, друг далекий —
Вспомни обо мне!

Вы замолкли... Мы так и вздрогнули все, как будто дуновение любви промчалось по нашим сердцам, и каждого из нас — я в том уверен — неотразимо потянуло в даль, в ту неизвестную даль, где призрак блаженства встает и манит среди тумана. И между тем заметьте странность: зачем, казалось, нам было стремиться в даль? Разве мы не были влюблены друг в друга? Разве счастье не было «так близко, так возможно»? А я еще сейчас вас спрашивал: отчего мы не коснулись желанного берега? Оттого, что ложь ходила рука об руку с нами; оттого, что она отравляла лучшие наши чувства; оттого, что все в нас было искусственно и натянуто, что мы вовсе не любили друг друга, а только силились любить, воображали, что любим...

Но полно, полно! К чему растравлять свои раны? Притом же все это прошло невозвратно. Что было хорошего в нашем прошедшем — меня растрогало, и на этом хорошем я пока прощаюсь с вами. Пора же и кончить это

длинное письмо. Пойду подышать здешним майским воздухом, в котором сквозь зимнюю сухую крепость весна пробивается какой-то влажной и острой теплотой. Прощайте.

Ваш *А. С.*

VII

От Марьи Александровны к Алексею Петровичу

Село ...но, 20-го мая 1840.

Я получила ваше письмо, Алексей Петрович, и знаете ли, какое чувство оно во мне возбудило? — негодование... да, негодование... и я вам сейчас объясню, почему именно это чувство оно во мне возбудило. Одна беда: я не владею пером, редко писала, не умею точно и в немногих словах выражать свои мысли; но вы, я надеюсь, придете мне на помощь. Вы сами постараетесь понять меня, хотя бы для того, чтоб узнать, почему я на вас негодую.

Скажите мне — вы умный человек,— спросили ли вы себя когда-нибудь, что такое русская женщина? какая ее судьба, ее положение в свете — словом, что такое ее жизнь? Я не знаю, имели ли вы время задать себе этот вопрос, и не могу себе представить, как бы вы на него ответили... Я, может быть, в разговоре была бы в состоянии сообщить вам мои мысли на этот счет, но на бумаге едва ли сумею. Впрочем, все равно. Вот в чем дело: вы со мной, наверно, согласитесь, что мы, женщины, по крайней мере те из нас, которые не удовлетворяются обыкновенными заботами домашней жизни, получаем свое окончательное образование все-таки от вас — мужчин: вы на нас имеете сильное и большое влияние. Теперь посмотрите, что вы делаете с нами. Станем говорить о молодых девушках, особенно о тех, которые, как я, живут в глуши, а таких очень много в России. Притом же я других не знаю и не могу судить о них. Представьте себе такую девушку. Вот ее воспитание кончено; она начинает жить, веселиться; но одного веселья ей мало. Она многого требует от жизни, она читает, мечтает... о любви. Все об одной любви! — скажете вы... Положим: но для нее это слово много значит. Я опять-таки скажу, что говорю не о такой девушке, которой тягостно и скучно мыслить... Она оглядывается, ждет, когда же придет тот, о ком ее душа тоскует... Наконец он является: она увлечена; она в руках его, как мягкий воск. Все — и счастье, и любовь, и

мысль — все вместе с ним нахлынуло разом; все ее тревоги успокоены, все сомнения разрешены им; устами его, кажется, говорит сама истина; она благоговеет перед ним, стыдится своего счастья, учится, любит. Велика его власть в это время над нею!.. Если б он был героем, он бы воспламенил ее, он бы научил ее жертвовать собою, и легки были бы ей все жертвы! Но героев в наше время нет... Все же он направляет ее куда ему угодно; она предается тому, что его занимает, каждое слово его западает ей в душу: она еще не знает тогда, как ничтожно, и пусто, и ложно может быть слово, как мало стоит оно тому, кто его произносит, и как мало заслуживает веры! За этими первыми мгновениями блаженства и надежд обыкновенно следует —по обстоятельствам (обстоятельства всегда виновны) — следует разлука. Говорят, бывали примеры, что две родные души, узнав друг друга, тотчас соединялись неразрывно; слышала я также, что от этого им не всегда становилось легко... Но чего я не видала сама, о том не говорю — а что расчет самый мелкий, осторожность самая жалкая могут жить в молодом сердце рядом с самой страстной восторженностью — это я, к сожалению, испытала на опыте. Итак, наступает разлука... Счастлива та девушка, которая узнает тотчас, что всему конец, которая не тешит себя ожиданием! Но вы, храбрые, справедливые мужчины, большею частью не имеете ни духа, ни даже желания сказать нам истину... вам спокойнее обмануть нас... Впрочем, я готова верить, что вы сами себя обманываете вместе с нами... Разлука! Разлуку переносить и трудно и легко. Была бы цела и неприкосновенна вера в того, кого любишь — тоску разлуки победит душа... Скажу более: только тогда, оставшись одною, узнает она сладость уединения, не бесплодного, но исполненного воспоминаний и дум; только тогда она себя узнает, придет в себя, окрепнет... В письмах далекого друга найдет она себе опору; в своих она, может быть, в первый раз выскажется вполне... Но как два человека, отправившиеся от источника реки по разным берегам, сперва могут подать друг другу руку, потом только сообщаются голосом, наконец уже теряют друг друга из виду, так и два существа разъединяются наконец разлукой. Так что ж! — скажете вы: видно, им не было суждено идти вместе... Но тут-то и является различие между мужчиной и женщиной. Мужчине ничего не значит начать новую жизнь, стряхнуть с себя долой все прошедшее:

женщина этого не может. Нет, не может она сбросить свое прошедшее, не может оторваться от своего корня — нет, тысячу раз нет! И вот наступает жалкое и смешное зрелище... Постепенно теряя надежду и веру в себя — а как это тяжело, вы и представить не можете! — она гаснет и вянет она, упорно придерживаясь своих воспоминаний и отворачиваясь от всего, что окружающая жизнь ей представляет... А он?.. Ищите его! где он! И стоит ли ему останавливаться? когда ему оглядываться? Ведь это все для него дело прошлое. А то вот еще что бывает: бывает, что он вдруг пожелает встретиться с прежним своим предметом, даже нарочно съездит к нему... Но, боже мой! из какого мелкого тщеславия он это делает! В его учтивом сострадании, в его будто дружеских советах, в его снисходительном объяснении прошедшего слышится такое сознание своего превосходства! Так ему приятно и весело давать самому себе чувствовать каждую минуту — какой он умница и как он добр! И как мало понимает он, что он сделал! Как он умеет даже не догадываться о том, что происходит в сердце женщины, и как он обидно сожалеет о ней, если и догадывается!..

Скажите, пожалуйста, откуда взять ей силу переносить все это? Вспомните еще вот что: большей частью девушка, у которой, на ее беду, мысль зашевелилась в голове, эта девушка, начав любить, подпав под влияние мужчины, невольно отделяется от своей семьи, от знакомых. Она и прежде не удовлетворялась их жизнью, однако шла рядом с ними, сохраняя в душе все свои заветные тайны... Но разрыв скоро делается видимым... Они перестают ее понимать, готовы заподозрить каждое ее движение... Сперва ей до этого дела нет, но потом, потом... когда она остается одна, когда то, к чему она стремилась и для чего она пожертвовала всем, когда ей небо не далось, а все близкое, все возможное удалилось — что ее поддержит? Насмешки, намеки, пошлое торжество грубого здравого рассудка она еще как-нибудь перенесет... Но что ей делать, к чему прибегнуть, когда внутренний голос начнет шептать ей самой, что те все были правы, а она ошибалась; что жизнь, какая бы она ни была, лучше мечтаний, как здоровье лучше болезни... когда любимые занятия, любимые книги ей опротивят, книги, из которых не вычитаешь себе счастья — что, скажите, что ее поддержит? Как не изнемочь в такой борьбе? как жить и продолжать жить в такой пустыне?

Сознавать себя побежденной и нищенски протягивать руку к людям равнодушным: не подарят ли хоть они тем участием, без которого гордое сердце когда-то воображало, что может обойтись — это все еще ничего! но чувствовать себя смешною в то самое мгновение, когда проливаешь горькие, горькие слезы... ах! не дай бог испытать это...

Руки мои дрожат, и я вся в лихорадке... Лицо горит. Пора перестать... Поскорей отправлю это письмо, пока мне не стало стыдно своей слабости. Но ради бога, в вашем ответе ни слова — слышите, ни слова сожаленья, а то я никогда к вам писать не буду. Поймите меня: я бы не хотела, чтоб вы приняли это письмо за излияние непонятой души, которая жалуется... Ах! мне все равно! Прощайте.

М.

VIII

От Алексея Петровича к Марье Александровне

Санкт-Петербург, 28-го мая 1840.

Марья Александровна, вы прекрасное существо... вы... ваше письмо открыло мне наконец истину! Господи боже мой! что за мучение! Человек то и дело думает, что вот теперь-то уж он добился простоты, не рисуется более, не ломается, не лжет... а как всмотришься в него пристальнее — чуть ли не хуже он прежнего стал. И вот что еще должно заметить: человек сам, один то есть, никогда не дойдет до этого сознанья, как он ни хлопочи; глаз его не видит собственных недостатков, как притупевший глаз наборщика не видит опечаток: тут нужен другой, свежий глаз. Спасибо вам, Марья Александровна... Вы видите, я говорю вам о себе; о вас я говорить не смею... Ах, как смешно мне кажется теперь мое последнее письмо, столь красноречивое и чувствительное! Продолжайте, прошу вас убедительно, вашу исповедь; мне сдается, что и вам от этого будет легче, и мне оно принесет пользу. Пословица недаром гласит: «Женский ум лучше многих дум», а женское сердце и подавно — ей-богу! Если б женщины знали, насколько они добрее, великодушнее и умнее мужчин — именно умнее — они бы возгордились и испортились бы; но они, к счастью, этого не знают, не знают потому, что их мысль не привыкла беспрестанно возвращаться к самой себе, как у нашего

брата. Они о себе мало думают — это и слабость их, и сила; в этом заключается вся тайна — не скажу нашего превосходства, а нашего могущества. Они расточают свою душу, как щедрый наследник отцовское золото, а мы с каждого вздора берем проценты... Где ж им тягаться с нами?.. Это все не комплименты, а простая, опытом доказанная истина. Вторично прошу вас, Марья Александровна, продолжать писать ко мне... Если б вы знали все, что мне приходит в голову!.. Но мне теперь не хочется говорить, мне хочется вас слушать... Моя речь будет впереди. Пишите, пишите.

Преданный вам *А. С.*

IX

От Марьи Александровны к Алексею Петровичу

Село ...но, 12-го июня 1840.

Я не успела отправить к вам мое последнее письмо, Алексей Петрович, как уже раскаялась; но делать было нечего. Одно меня несколько успокоивает: я уверена, что вы поняли, под влиянием каких давно подавленных чувств оно было написано, и извинили меня. Я даже не перечла тогда, что я вам такое написала; помню, сердце мое стучало так сильно, что перо дрожало в руке. Впрочем, хотя я, вероятно, иначе бы выразилась, если б дала себе время подумать, я все-таки не намерена отказаться ни от слов своих, ни от чувств, которые передала вам как умела. Сегодня я гораздо хладнокровнее и гораздо более владею собою...

Помнится, я в конце письма говорила о тяжелом положении девушки, которая сознает себя одинокою даже между своими... Я не стану больше распространяться об этом, а лучше сообщу вам кой-какие подробности: мне кажется, этак я вам меньше надоем.

Во-первых, знайте, что меня во всем околотке иначе не называют как философкой; особенно дамы меня величают этим именем. Иные утверждают, что я сплю с латинской книгой в руках и в очках; другие — что я умею извлекать какие-то кубические корни; ни одна из них не сомневается в том, что я исподтишка ношу мужскую одежду и вместо «здравствуйте», отрывисто говорю: «Жорж Санд!» — и негодование на философку воз-

растает. У нас есть сосед, человек лет сорока пяти, большой остряк... по крайней мере он слывет большим остряком... Для него моя бедная особа неистощимый предмет насмешек. Он рассказывает обо мне, что как только луна взойдет на небо, так уж я и не могу глаз от нее отвести, и сам представляет, как я гляжу; что я даже кофе пью не со сливками, а с луной, то есть подставляю чашку под ее лучи. Он божится, что я употребляю фразы вроде следующей: «Это легко, потому что трудно, хотя, с другой стороны, оно трудно, потому что легко...» Он уверяет, что я все ищу какого-то слова, все стремлюсь «туда», и с комическою яростью спрашивает: «Куда — туда? куда?» Он также распространил обо мне слух, будто я по ночам езжу верхом взад и вперед по реке вброд и пою при этом серенаду Шуберта или просто стонаю: «Бетховен, Бетховен!» Такая она, дескать, пылкая старушка! и т. д. и т. д. Разумеется, все это тотчас до меня доходит. Вас это, может быть, удивляет; но не забудьте, что со времени вашего пребывания в здешних краях прошло четыре года. Помните, как все тогда на нас косились... Теперь пришла их очередь. И это еще все ничего. Мне приходится слышать слова, гораздо больнее проникающие в сердце. Не говорю уже о том, что моя бедная добрая матушка никак не может мне простить равнодушие вашего брата; но вся жизнь моя по огню бежит, как выражается моя няня. «Конечно,— слышу я то и дело,— куда нам за тобой! мы люди простые, руководствуемся одним здравым смыслом; а впрочем, как подумаешь, все эти умствования, да книги, да знакомства с учеными, к чему тебя привели?» Вы, может быть, помните мою сестру — не ту, к которой вы некогда были неравнодушны, а другую — старшую, которая замужем. Муж ее, вы помните, такой простой, довольно смешной человек; вы над ним тогда часто подтрунивали. А ведь она счастлива: мать семейства, любит мужа, муж в ней души не чает... «Я как все,— говорит она мне иногда,— а ты?» И она права: я ей завидую...

А между тем, я чувствую, все-таки я бы не желала поменяться с нею. Пусть зовут меня философкой, чудачкой, чем угодно — я останусь до конца верна... чему? идеалу, что ли? Да, идеалу. Да, я останусь до конца верна тому, от чего в первый раз забилось мое сердце,— тому, что я признала и признаю правдою, добром... Лишь

бы силы мне не изменили, лишь бы кумир мой не оказался бездушным и немым идолом...

Если вы точно чувствуете ко мне дружбу, если вы точно меня не забыли, вы должны помочь мне, вы должны рассеять мои сомненья, подкрепить мои верования...

А впрочем, какую помощь можете вы подать мне? «Все это пустяки, турусы на колесах,— говорил мне вчера мой дядя — вы его, кажется, не знаете — отставной моряк, очень неглупый человек,— муж, дети, горшок щей; за мужем и детьми ухаживать, а за горшком наблюдать — вот что нужно женщине...» Скажите, ведь он прав?

Если он точно прав, я еще могу исправить прошедшее, я еще могу попасть в общую колею. Чего мне еще ждать? на что надеяться? В одном вашем письме вы говорили о крыльях молодости. Как часто, как долго они бывают связаны! А потом приходит время, когда они отпадают, и подняться над землею, полететь к небу уже нельзя. Пишите мне.

Ваша *М.*

X

От Алексея Петровича к Марье Александровне

Санкт-Петербург, 16-го июня 1840 года.

Спешу отвечать на ваше письмо, милая Марья Александровна. Признаюсь вам, что если б... не скажу дела — их у меня нет — если б не глупая привычка к здешнему месту, я бы уехал опять к вам и наговорился бы досыта, а на бумаге все это выходит холодно и мертво...

Марья Александровна, повторяю вам: женщины лучше мужчин, и вы должны доказать это на деле. Пускай наш брат либо бросает свои убеждения, как износившуюся одежду, либо меняет их из-за куска хлеба, либо, наконец, дает им заснуть беспробудным сном и ставит над ними, как над мертвецом, некогда милым, надгробный камень, к которому лишь изредка ходит молиться,— пускай наш брат все это делает; но вы, женщины, не изменяйте себе, не изменяйте своему идеалу... Это слово стало смешно... Смешного бояться — правды не любить. Случается точно, что нелепый хохот глупца заставляет даже хороших людей отказаться от многого... хоть бы, например, от защиты отсутствующего друга... сам я в этом грешен. Но, повторяю, вы, женщины, лучше нас... В мелочах вы ско-

рее нас сдадитесь; но черту в глаза посмотреть вы умеете лучше нас. Не совет и не помощь я вам хочу подать — где мне! да вам и не того нужно; но я вам протягиваю руку, я говорю вам: терпите, боритесь до конца и знайте, что, как чувство, сознанье честно выдержанной борьбы едва ли не выше торжества победы... Победа зависит не от нас.

Конечно, ваш дядя с известной точки зрения прав: семейная жизнь — все для женщины, для нее другой жизни нет.

Но что ж это доказывает? Одни иезуиты утверждают, что всякое средство хорошо, лишь бы достигнуть цели. Неправда! неправда! С ногами, оскверненными грязью дороги, недостойно войти в чистый храм. В конце вашего письма есть фраза, которая мне не нравится: вы хотите попасть в общую колею: смотрите, не оступитесь! Притом не забудьте: прошедшего изгладить нельзя; и как ни старайтесь, как ни принуждайте себя, сестрою вашей вы не сделаетесь. Вы стали выше ее; но душа ваша надломлена, ее — цела. Ниспуститься до нее, нагнуться к ней вы можете, но природа прав своих не уступит, и надломленное место не зарастет...

Вы боитесь — будемте говорить без обиняков — вы боитесь остаться старой девушкой. Вам, я знаю, уж двадцать шесть лет. Действительно, положение старых девушек незавидно: все так охотно смеются над ними; все с такой невеликодушной радостью подмечают их странности и слабости; но если поглядеть попристальнее на любого уж стареющего холостяка — и на него стоит уставиться пальцем: найдется и в нем над чем нахохотаться вдоволь. Что делать? С бою счастья не возьмешь. Но не должно забывать, что не счастье, а достоинство человеческое — главная цель в жизни.

Вы описываете ваше положение с большим юмором. Я хорошо понимаю всю горечь его; ваше положение можно, пожалуй, назвать трагическим. Но знайте; не вы одни в нем находитесь: почти нет современного человека, который бы не находился в нем. Вы скажете, что от этого вам не легче; а я так думаю, что страдать вместе с тысячами совсем другое дело, чем страдать одному. Тут не в эгоизме дело, а в чувстве общей необходимости.

Все это прекрасно, положим, скажете вы... но в действительности неприменимо. Почему же неприменимо? Я до сих пор думаю и, надеюсь, никогда не перестану думать,

что в божьем мире все честное, доброе, истинное применимо и рано или поздно исполнится, и не только исполнится, но уж теперь исполняется; держитесь только каждый крепко на своем месте, не теряй терпения, не желай невозможного, но делай, насколько хватает сил. Впрочем, я, кажется, уж слишком вдался в отвлеченности. Отложу продолжение моих рассуждений до другого письма; но не хочу положить пера, не пожав вам крепко, крепко руки и не пожелав вам от души всего хорошего на земле.

Ваш *А. С.*

P. S. Кстати! вы говорите, что вам нечего ждать, не на что надеяться: почему вы это знаете, позвольте спросить?

XI

От Марьи Александровны к Алексею Петровичу

Село ...но, 30-го июня 1840 года.

Как я благодарна вам за ваше письмо, Алексей Петрович! Как много пользы оно принесло мне! Я вижу, что вы точно добрый и надежный человек, и потому не буду скрытничать перед вами. Я вам верю. Я знаю, вы не употребите во зло моей откровенности и подадите мне дружеский совет. Вот в чем дело.

Вы заметили в конце моего письма фразу, которая вам не совсем понравилась. Вот к чему она относилась. Здесь есть сосед... при вас он тут не был, и вы его не видали. Он... Я бы могла выйти за него замуж, если б захотела; он человек еще молодой, образованный, с состоянием. Препятствий со стороны моих родных нет; напротив, они — я это наверное знаю — желают этого брака; он человек хороший и, кажется, меня любит... Но он так вял и мелок, все желания его так ограниченны, что я не могу не сознавать моего превосходства над ним; он это чувствует и как будто радуется этому, а именно это-то и отталкивает меня от него; я его уважать не могу, хотя и сердце у него прекрасное. Что мне делать, скажите? Подумайте за меня и напишите мне искренно ваше мнение.

Но как я вам благодарна за ваше письмо!.. Знаете ли, меня иногда посещали такие горькие мысли... Знаете ли, я доходила до того, что почти стыдилась всякого — не скажу уж восторженного,— всякого доверчивого чувства, с досадой закрывала книгу, когда в ней говорилось о

надежде и счастии, отворачивалась от безоблачного неба, от свежей зелени деревьев, от всего, что улыбалось и радовалось. Какое это было тяжелое состояние! Я говорю: было... как будто оно прошло!

Не знаю, прошло ли оно: знаю, что если оно не возвратится, я вам этим буду обязана. Видите ли, Алексей Петрович, как много вы наделали добра, может быть сами того не подозревая! Кстати, знаете ли, что мне очень вас жаль? Теперь самый разгар лета, дни стоят чудные, небо синее, яркое... В Италии оно не может быть прекрасней, а вы сидите в душном и пыльном городе, ходите по жгучей мостовой. Что вам за охота? Хотя бы на дачу вы куда-нибудь переселились. Говорят, за Петергофом, на берегу моря, есть прелестные места.

Хотела бы еще писать к вам, но невозможно: из сада повеяло таким сладким запахом, что нельзя оставаться в комнате. Надеваю шляпу и иду гулять... До другого раза, добрый Алексей Петрович.

Преданная вам *М. Б.*

P. S. Я забыла вам сказать... Вообразите вы себе, тот остряк, о котором я вам писала на днях,— представьте, объяснился мне в любви, и в самых пламенных выражениях. Я сперва думала, что он смеется надо мной, но он кончил формальным предложением — каков после всех его клевет? Но он решительно слишком стар. Вчера ночью я, ему в пику, села за фортепьяно перед раскрытым окном при свете луны и играла Бетховена. Мне было так весело чувствовать ее холодный свет на моем лице, так отрадно оглашать душистый ночной воздух благородными звуками музыки, сквозь которые по временам слышалось пение соловья! Я давно не была так счастлива. А вы, однако, напишите мне о чем я вас просила в начале письма: это очень важно.

XII

От Алексея Петровича к Марье Александровне

Санкт-Петербург, 8-го июля 1840 года.

Милая Марья Александровна, вот мое мнение в двух словах: и старого холостяка, и молодого воздыхателя — обоих за борт! Об этом и рассуждать нечего. Ни тот, ни другой вас не стоят — это ясно, как дважды два — четы-

ре. Молодой сосед, может быть, и добрый человек, да бог с ним! Я уверен, что между ним и вами нет ничего общего, и можете себе вы представить, как вам весело будет жить вдвоем! Да и к чему спешить? Сбыточное ли дело, чтоб женщина, подобная вам,— я не хочу говорить комплиментов, и потому не распространяюсь более,— чтоб такая женщина не встретила никого, кто сумел бы оценить ее? Нет, Марья Александровна, послушайтесь меня, коли вы точно думаете, что я ваш друг и мои советы полезны. А сознайтесь, приятно вам было увидеть у ног своих старого клеветника?.. Я, на вашем месте, заставил бы его целую ночь напролет петь «Аделаиду» Бетховена, глядя на луну.

Впрочем, бог с ними, с вашими обожателями! Не о них мне хочется говорить сегодня с вами. Я нахожусь сегодня в каком-то странном, полураздраженном, полувзволнованном расположении вследствие письма, полученного мною вчера. Посылаю вам с него копию. Письмо это написано одним моим давнишним приятелем и сослуживцем, добрым, но довольно ограниченным человеком. Он года два тому назад уехал за границу и до сих пор мне ни разу не писал. Вот его письмо. NB. Он очень недурен собой.

«Cher Alexis [1],

Я в Неаполе, сижу в своей комнате, на Chiaja [2], перед окном. Погода удивительная. Я сперва долго глядел на море, потом меня взяло нетерпенье, и вдруг мне пришла в голову блестящая мысль написать к тебе письмо. Я, дружище, всегда чувствовал к тебе влечение — ей-богу. Вот и захотелось теперь излиться в твое лоно... так ведь это, кажется, говорится на вашем возвышенном языке. А нетерпение меня взяло вот отчего. Я жду одну женщину; мы вместе с нею едем в Баию есть устрицы и апельсины, смотреть, как темно-бурые пастухи, в красных колпаках, пляшут тарантеллу, жариться на солнце не хуже ящериц — словом, наслаждаться жизнью вполне. Милый друг мой, я так счастлив, что сказать невозможно. Если б я владел твоим пером — о! какую картину я нарисовал бы перед твоими глазами! Но, к сожалению, ты знаешь, я человек безграмотный. Эта женщина, которую я жду и которая заставляет меня вот уже более часа беспрестанно вздрагивать и оглядываться на дверь, меня любит, а

[1] Дорогой Алексей (*франц.*).
[2] Приморской улице (*итал.*).

уж я ее люблю — этого, мне кажется, даже и ты своим красноречивым пером описать бы не мог.

Надобно тебе сказать, что я уж три месяца как с ней познакомился, и с самого первого дня нашего знакомства моя любовь идет все crescendo[1], в виде хроматической гаммы, все выше и выше, и в настоящую минуту зашла уж за седьмое небо. Я шучу, но в самом деле моя привязанность к этой женщине — это что-то необыкновенное, сверхъестественное. Представь себе, я ведь почти не говорю с ней, все так гляжу на нее и смеюсь, как дурак. Сяду к ее ногам, чувствую, что глуп ужасно, и счастлив, просто непозволительно счастлив. Иногда случается, что она мне руку на голову положит... Ну тут, я тебе скажу... Да, впрочем, ты этого понять не можешь, ты ведь философ и весь свой век был философом. Зовут ее Ниной, Нинеттой — как хочешь; она дочь одного здешнего богатого купца. Хороша, что твои все Рафаэли; жива, как порох, весела, умна так, что даже удивительно, как она меня, дурака, полюбила; поет как птичка, а глаза —

Извини, пожалуйста, это невольное тире... Мне показалось, что дверь скрипнула... Нет, не идет еще, злодейка! Ты меня спросишь, чем же все это кончится и что я намерен с собою делать и долго ли я здесь останусь? Я этого ничего, брат, не знаю, да и знать не хочу. Будет, что будет. Ведь если этак беспрестанно останавливаться да рассуждать...

Она!.. Бежит по лестнице и поет... Пришла. Ну, брат, прощай... Не до тебя. Извини — это она все письмо забрызгала: ударила мокрым букетом по бумаге. Сперва она думала, что я писал к женщине, а как узнала, что к другу — велела тебе кланяться и спросить, есть ли у вас цветы и пахнут ли? Ну, прощай... Если б ты слышал, как она смеется... Серебро так не звенит; и что за доброта в каждом звуке — так и хочется ножки у ней расцеловать. Едем, едем. Не сердись на мое безалаберное маранье и позавидуй твоему —

М...»

Письмо действительно было все забрызгано и пахло померанцевым цветом... два белые лепестка прилипли к бумаге. Это письмо меня взволновало... Я вспомнил свое пребывание в Неаполе... Погода и тогда стояла великолепная, май только что начинался; мне недавно минуло

[1] Нарастая (*итал.*).

двадцать два года; но я не знал никакой Нинетты. Я скитался один, сгорая жаждой блаженства, и томительной и сладостной, до того сладостной, что она сама как будто походила на блаженство... Что значит молодость!.. Помню, раз я ночью поехал кататься по заливу. Нас было двое: лодочник и я... а вы что думали? Что это была за ночь и что за небо, что за звезды, как они дрожали и дробились на волнах! каким жидким пламенем переливалась и вспыхивала вода под веслами, каким благовонием веяло по всему морю — не мне это описать, как ни «красноречиво» мое перо. На рейде стоял французский линейный корабль. Он весь смутно рдел огнями; длинные полосы красного цвета, отраженье озаренных окон, тянулись чуть зыблясь по темному морю. Капитан корабля давал бал. Веселая музыка долетала до меня редкими приливами; особенно помню я трель маленькой флейты среди глухих возгласов труб; она, казалось, порхала, как бабочка, вокруг моей лодки. Я велел грести к кораблю; два раза объехал его кругом. Женские очертания мелькали в окнах, резво проносимые вихрем вальса... Я велел лодочнику пуститься прочь, вдаль, прямо в темноту... Помню, звуки долго и неотвязно гнались за мною... Наконец они замерли. Я встал в лодке и с немою тоской желанья простер мои объятия над морем... О! как сердце мое ныло тогда!.. Как тяжело мне было мое одиночество! С какою радостью отдался бы я весь тогда, весь... весь, если б было кому отдаться! С каким горьким чувством на душе я бросился ниц на дно лодки и, как Репетилов, попросил, чтобы везли меня куда-нибудь!

А вот мой друг ничего подобного не испытал. Да и с какой стати? Он гораздо умнее меня распорядился. Он живет... а я... Недаром он меня назвал философом... Странно! вас также зовут философкой... Отчего бы это над нами такая беда стряслась?..

Я не живу... Да кто же в этом виноват? зачем я сижу здесь, в Петербурге? что я здесь делаю? к чему убиваю день за днем? отчего мне не поехать в деревню? Чем нехороши наши степи? или в них дышать не привольно? или тесно в них? Охота гоняться за мечтами, когда, быть может, счастье под рукой! Решено! я еду, еду завтра же, если можно; еду к себе домой, то есть к вам — это все равно: мы ведь в двадцати верстах друг от друга. Что, в самом деле, здесь киснуть! И как эта мысль раньше ко мне не пришла! Милая Марья Александровна, мы скоро уви-

димся. Это, однако, необыкновенно, что мне эта мысль до сих пор в голову не приходила! Давным-давно следовало бы уехать. До свиданья, Марья Александровна.

9-го июля.

Я нарочно дал себе двадцать четыре часа на размышление и теперь убедился окончательно, что мне здесь оставаться незачем. Пыль на улицах такая едкая, что глазам больно. Сегодня же начинаю укладываться, послезавтра, вероятно, отсюда выеду, и дней через десять буду иметь удовольствие вас видеть. Надеюсь, вы меня примете по-прежнему. Кстати, сестра ваша все еще у тетушки гостит — не правда ли?

Марья Александровна, позвольте вам крепко пожать руку и от души сказать: до скорого свиданья. Я уж и так собирался ехать, но письмо это ускорило мое намерение. Положим, это письмо ничего не доказывает, положим даже, Нинетта другому, мне например, не понравилась бы, а все-таки я еду; уж это несомненно. До свиданья.

Ваш *А. С.*

XIII

От Марьи Александровны к Алексею Петровичу

Село ...но, 16-го июля 1840.

Вы едете сюда, Алексей Петрович, вы скоро у нас будете — точно ли? Не скрою вам, что это известие меня и радует и волнует. Как мы увидимся? Поддержится ли та духовная связь, которая, сколько мне кажется, уж начиналась между нами? Не перервется ли она при свидании? Не знаю, отчего-то жутко. Не отвечаю вам на ваше последнее письмо, хотя сказать могла бы многое; отлагаю все это до нашего свиданья. Матушка очень радуется вашему приезду... Она знала, что мы переписываемся с вами. Погода прелестная; мы много будем гулять, я покажу вам новые, открытые мною места... особенно хороша одна узкая, длинная долина; она лежит между холмами, покрытыми лесом... Она как будто прячется в их изгибах. Небольшой ручеек течет по ней и едва может пробраться сквозь густые травы и цветы... Вы увидите. Приезжайте: может быть, вам не будет скучно.

М. Б.

P. S. Сестры моей вы, я думаю, не увидите: она продолжает гостить у тетки. Кажется (но это между нами), она выходит замуж за очень любезного молодого человека — за офицера. Зачем вы мне прислали это письмо из Неаполя? Здешняя жизнь поневоле покажется тусклой и бедной против той роскоши и того блеска. Но mademoiselle Ninette не права: цветы растут и пахнут и у нас.

XIV

От Марьи Александровны к Алексею Петровичу

Село ...но, январь, 1841.

Я вам писала несколько раз, Алексей Петрович... Вы мне не отвечали. Живы ли вы? Или, может быть, вам уж наскучила наша переписка; может быть, вы нашли себе развлечение более приятное, чем то, которое могут доставить вам письма уездной барышни? Вы, видно, и вспомнили-то обо мне от нечего делать. Если так, желаю вам счастья. Если вы мне не ответите и теперь, я не буду больше вас беспокоить; мне останется только сожалеть о моей неосторожности, о том, что я напрасно позволила расшевелить себя, протянула другому руку и вышла, хотя на минуту, из моего уединенного уголка. Я должна в нем остаться навсегда, запереться на ключ — это мой удел, удел всех старых девушек. Я должна привыкнуть к этой мысли. Незачем выходить на свет божий, нечего желать свежего воздуха, когда грудь не выносит его. Кстати ж, мы теперь занесены кругом мертвыми сугробами снега. Вперед буду умней... От скуки не умирают, а с тоски, пожалуй, пропасть можно. Если я ошибаюсь — докажите это мне. Но мне кажется, я не ошибаюсь. Во всяком случае, прощайте, желаю вам счастья.

М. Б.

XV

От Алексея Петровича к Марье Александровне

Дрезден. Сентябрь, 1842.

Пишу к вам, любезная Марья Александровна, и пишу только потому, что мне не хочется умереть, не простившись с вами, не напомнив вам о себе. Я осужден докторами... да я и сам чувствую, что жизнь моя на исходе. На

столе моем стоит розан; он не успеет отцвести, как уж меня не станет. Впрочем, это сравнение не совсем удачно. Розан гораздо интереснее меня.

Я, как видите, за границей. Вот уж месяцев шесть, как я в Дрездене. Я получил ваши последние письма — совестно признаться: более года тому назад, некоторые из них затерял и не отвечал вам... Сейчас скажу — почему. Но, видно, вы мне всегда были дороги: мне, кроме вас, ни с кем не хочется проститься, а может быть, мне и не с кем прощаться.

Скоро после моего последнего письма к вам (я совсем собрался было ехать в ваши края и уж заранее строил различные планы) со мной случилось происшествие, имевшее, уж точно можно сказать, сильное влияние на мою судьбу, до того сильное, что я вот умираю по милости этого происшествия. А именно: я отправился в театр смотреть балет. Я балетов никогда не любил и ко всем возможным актрисам, певицам, танцоркам чувствовал всегда тайное отвращение... Но видно, ни судьбы своей переменить нельзя, ни самого себя никто не знает, да и будущее тоже предвидеть невозможно. По-настоящему в жизни случается одно только неожиданное, и мы целый век только и делаем, что приноравливаемся к событиям... Но я, кажется, опять пустился в философию. Старая привычка!

Словом, я влюбился в одну танцовщицу.

Это было тем более странно, что и красавицей ее нельзя было назвать. Правда, у ней были удивительные, золотисто-пепельные волосы и большие светлые глаза, с задумчивым и в то же время дерзким взором... Мне ли не знать выражения этого взора? Я целый год замирал и гас в его лучах! Сложена она была прекрасно, и когда она плясала свой народный танец, зрители, бывало, топали и кричали от восторга... Но, кажется, кроме меня, никто в нее не влюблялся — по крайней мере никто так не влюбился, как я. С той самой минуты, как я увидел ее в первый раз (поверите ли, мне даже и теперь стоит только закрыть глаза, и тотчас передо мною театр, почти пустая сцена, изображающая внутренность леса, и она выбегает из-за кулис направо, с виноградным венком на голове и тигровой кожей по плечам) — с той роковой минуты я принадлежал ей весь, вот как собака принадлежит своему хозяину; и если я и теперь, умирая, не принадлежу ей, так это только потому, что она меня бросила.

Говоря правду, она никогда особенно и не заботилась обо мне. Она едва замечала меня, хотя весьма добродушно пользовалась моими деньгами. Я был для нее, как она выражалась на своем ломаном французском наречии, «oun Rousso, boun enfan»[1] — и больше ничего. Но я... я уже не мог жить нигде, где она не жила; я оторвался разом от всего мне дорогого, от самой родины, и пустился вслед за этой женщиной.

Вы, может быть, думаете, что она была умна? — нисколько! Стоило взглянуть на ее низкий лоб, стоило хоть раз подметить ее ленивую и беспечную усмешку, чтобы тотчас убедиться в скудости ее умственных способностей. И я никогда не воображал ее необыкновенной женщиной. Я вообще ни одного мгновенья не ошибался на ее счет; но это ничему не помогало. Что б я ни думал о ней в ее отсутствие — при ней я ощущал одно подобострастное обожание... В немецких сказках рыцари впадают часто в подобное оцепенение. Я не мог отвести взора от черт ее лица, не мог наслушаться ее речей, налюбоваться каждым ее движением; я, право, и дышал-то вслед за ней. Впрочем, она была добра, непринужденна, даже слишком непринужденна, не ломалась, как большею частью ломаются артисты. В ней было много жизни, то есть много крови, той южной славной крови, в которую тамошнее солнце, должно быть, заронило часть своих лучей. Она спала девять часов в сутки, любила покушать, никогда не читала ни одной печатной строчки, кроме разве журнальных статей, где о ней говорили, и едва ли не единственным нежным чувством в ее жизни была привязанность ее к il signore Carlino[2], маленькому и жадненькому итальянцу, служившему у ней секретарем, за которого она потом и вышла замуж. И в такую женщину я, в столь различных умственных ухищрениях искусившийся, уж устаревший человек, мог влюбиться!.. Кто б это мог ожидать? Я по крайней мере никак не ожидал этого. Я не ожидал, какую роль мне придется разыгрывать. Я не ожидал, что буду таскаться по репетициям, мерзнуть и скучать за кулисами, дышать копотью театральной, знакомиться с разными, совершенно неблаговидными личностями... что я говорю, знакомиться — кланяться им; я не ожидал, что буду носить шаль танцовщицы, покупать ей новые перчатки, чистить белым хлебом старые (я и это

[1] «русским простаком» (*франц.*).
[2] Синьору Каролино (*итал.*).

делал, ей-ей!), отвозить домой ее букеты, бегать по передним журналистов и директоров, тратиться, давать серенады, простужаться, занемогать... Я не ожидал, что получу наконец в одном немецком городишке затейливое прозванье: der Kunst-Barbar...[1] И все это даром, в самом полном смысле слова — даром! Вот то-то и есть... Помните, как мы с вами словесно и письменно рассуждали о любви, в какие тонкости вдавались; а на поверку выходит, что настоящая любовь — чувство, вовсе не похожее на то, каким мы ее себе представляли. Любовь даже вовсе не чувство; она — болезнь, известное состояние души и тела; она не развивается постепенно; в ней нельзя сомневаться, с ней нельзя хитрить, хотя она и проявляется не всегда одинаково; обыкновенно оно овладевает человеком без спроса, внезапно, против его воли — ни дать ни взять холера или лихорадка... Подцепит его, голубчика, как коршун цыпленка, и понесет его куда угодно, как он там ни бейся и ни упирайся... В любви нет равенства, нет так называемого свободного соединения душ и прочих идеальностей, придуманных на досуге немецкими профессорами... Нет, в любви одно лицо — раб, а другое — властелин, и недаром толкуют поэты о цепях, налагаемых любовью. Да, любовь — цепь, и самая тяжелая. По крайней мере я дошел до этого убеждения, и дошел до него путем опыта, купил это убеждение ценою жизни, потому что умираю рабом.

Экая, как подумаешь, моя судьба-то! В первой молодости я непременно хотел завоевать себе небо... потом я пустился мечтать о благе всего человечества, о благе родины; потом и это прошло: я думал только, как бы устроить себе домашнюю, семейную жизнь... да споткнулся о муравейник — и бух оземь, да в могилу... Уж какие мы, русские, мастера кончать таким манером!

А впрочем, пора отвернуться от всего этого, давно пора! Пусть эта ноша вместе с жизнью свалится с моей души! Хочу в последний раз, хотя на мгновенье, насладиться тем добрым, кротким чувством, которое разливается во мне тихим светом, как только вспомню о вас. Ваш образ теперь вдвойне для меня дорог... Вместе с ним возникает передо мною образ моей родины, и я шлю и ей и вам прощальный привет. Живите, живите долго и счастливо, и помните одно: останетесь ли вы в той степной глу-

---

[1] Варвар от искусства (*нем.*).

ши, где вам иногда так тяжело бывает, но где бы мне так хотелось провести мой последний день,— вступите ли вы на другое поприще — помните: жизнь только того не обманет, кто не размышляет о ней и, ничего от нее не требуя, принимает спокойно ее немногие дары и спокойно пользуется ими. Идите вперед, пока можете, а подкосятся ноги, сядьте близ дороги да глядите на прохожих без досады и зависти: ведь и они недалеко уйдут! Я прежде вам не то говорил, да смерть хоть кого научит. А впрочем, кто скажет, что такое жизнь, что такое истина? Вспомните, *кто* не дал на этот вопрос ответа... Прощайте, Марья Александровна, прощайте в последний раз и не поминайте лихом бедного —

Алексея.

1854

ЯКОВ ПАСЫНКОВ

I

Дело было в Петербурге, зимой, в первый день масленицы. Меня пригласил к себе обедать один мой пансионский товарищ, слывший в молодости за красную девицу и оказавшийся впоследствии человеком вовсе не застенчивым. Он уже теперь умер, как большая часть моих товарищей. Кроме меня, обещали прийти к обеду некто Константин Александрович Асанов да еще тогдашняя литературная знаменитость. Литературная знаменитость заставила себя подождать и прислала наконец записку, что не будет, а на место ее явился маленький белокурый господин, один из тех вечных незваных гостей, которыми Петербург изобилует.

Обед продолжался долго; хозяин не жалел вин, и наши головы понемногу разгорячились. Все, что каждый из нас таил у себя на душе — а кто не таит чего-нибудь на душе? — выступило наружу. Лицо хозяина внезапно потеряло свое стыдливое и сдержанное выражение; глаза его нагло заблистали и пошлая усмешка скривила его губы; белокурый господин смеялся как-то дрянно, с глупым визгом; но Асанов больше всех удивил меня. Этот человек всегда отличался чувством приличия, а тут начал вдруг проводить рукою по лбу, ломаться, хвастаться своими связями, беспрестанно упоминать о каком-то дя-

дюшке своем, очень важном человеке... Я решительно не узнавал его; он явно подтрунивал над нами... он чуть не брезгал нашим обществом. Нахальство Асанова меня рассердило.

— Послушайте,— сказал я ему,— если мы так ничтожны в ваших глазах, ступайте к вашему знатному дядюшке. Но, может быть, он вас не пускает к себе?

Асанов ничего мне не ответил и продолжал проводить рукой по лбу.

— И что это за люди! — говорил он опять.— Ведь ни в одном порядочном обществе не бывают, ни с одной порядочной женщиной не знакомы, а у меня тут (воскликнул он, проворно вытащив из бокового кармана бумажник и стуча по нем рукой) — целый пук писем от такой девушки, какой в целом мире не найдешь подобной!

Хозяин и белокурый господин не обратили внимания на последние слова Асанова; они оба держали друг друга за пуговицу и оба что-то рассказывали, но я навострил уши.

— Вот вы и схвастнули, господин племянник знатного лица! — сказал я, придвинувшись к Асанову,— писем у вас никаких нет.

— Вы думаете? — возразил он, свысока поглядев на меня,— а это что! — Он раскрыл бумажник и показал мне около десяти писем, адресованных на его имя... «Знакомый почерк!..» — подумал я.

Я чувствую, что румянец стыда выступает на мои щеки... мое самолюбие страдает сильно... Кому охота сознаться в неблагородном поступке?.. Но делать нечего: начав свой рассказ, я знал наперед, что мне придется покраснеть до ушей. Итак, скрепя сердце я должен сознаться, что...

Вот в чем дело: я воспользовался нетрезвостью Асанова, небрежно кинувшего письма на залитую шампанским скатерть (у меня у самого в голове порядком шумело), и быстро пробежал одно из этих писем...

Сердце во мне сжалось... Увы! я сам был влюблен в девушку, которая писала к Асанову, и теперь уж и не мог сомневаться в том, что она его любит. Все письмо, написанное по-французски, дышало нежностью и преданностью...

«Mon cher ami Constantin!»[1] — так начиналось оно...

---

[1] Дорогой друг Константин! (*франц.*).

а кончалось словами: «Будьте осторожны по-прежнему, а я буду ничья или ваша».

Оглушенный, как громом, я несколько мгновений просидел неподвижно, однако наконец опомнился, вскочил и бросился вон из комнаты...

Через четверть часа я уже был на своей квартире.

Семейство Злотницких было одно из первых, с которым я познакомился после переезда моего в Петербург из Москвы. Оно состояло из отца, матери, двух дочерей и сына. Отец, уже седой, но еще свежий мужчина, бывший военный, занимал довольно важное место, утром находился на службе, после обеда спал, а вечером играл в карты в клубе... Дома он бывал редко, разговаривал мало и неохотно, посматривал исподлобья не то угрюмо, не то равнодушно и, кроме путешествий и географии, не читал ничего, а когда занемогал, раскрашивал картинки, запершись в своем кабинете, или дразнил старого серого попугая Попку. Жена его, больная и чахоточная женщина, с черными впалыми глазами и острым носом, по целым дням не сходила с дивана и все вышивала подушки по канве; она, сколько я мог заметить, побаивалась мужа, точно она в чем перед ним когда-то провинилась. Старшая дочь, Варвара, полная, румяная и русая девушка, лет восемнадцати, все сидела у окна и разглядывала прохожих. Сынок воспитывался в казенном заведении, являлся домой только по воскресеньям и тоже не любил понапрасну тратить слова; даже младшая дочь, Софья, именно та девица, в которую я влюбился, была свойства молчаливого. В доме Злотницких постоянно царствовала тишина; одни пронзительные крики Попки прерывали ее; но гости скоро привыкали к ним и снова ощущали на себе тяжесть и гнет этой вечной тишины. Впрочем, гости редко заглядывали к Злотницким; скучно было у них. Самая мебель, красные с желтоватыми разводами обои в гостиной, множество плетеных стульев в столовой, гарусные полинялые подушки с изображением девиц и собак по диванам, рогатые лампы и сумрачные портреты на стенах — все внушало невольную тоску, от всего веяло чем-то холодным и кислым. Приехав в Петербург, я почел долгом явиться к Злотницким: они доводились сродни моей матушке. Я с трудом высидел час и долго не возвращался; но понемногу стал ходить все чаще и ча-

ще. Меня привлекала Софья, которая сперва мне не понравилась и в которую я наконец влюбился.

Это была девушка небольшого роста, стройная, почти худая, с бледным лицом, густыми черными волосами и большими карими, всегда полузакрытыми глазами. Ее черты, строгие и резкие, особенно ее сжатые губы, выражали твердость и силу воли. В доме знали ее за девушку с характером... «По старшей сестре пошла, по Катерине,— сказала однажды г-жа Злотницкая, сидя со мной наедине (при муже она не смела упомянуть об этой Катерине). Вы ее не знаете: она на Кавказе, замужем. Тринадцати лет, представьте, влюбилась в своего теперешнего мужа и тогда же нам объявила, что за другого не пойдет. Уж мы что ни делали — ничего не помогло! До двадцати трех лет ждала, отца прогневила и пошла-таки за своего идола. Долго ли до греха и с Сонечкой! Сохрани ее господь от такого упрямства! А боюсь я за нее: ведь ей только шестнадцать лет минуло, а уж ее не переломишь...»

Вошел г. Злотницкий; жена его тотчас замолкла.

Собственно, мне Софья полюбилась не за силу воли — нет, но в ней, при всей ее сухости, при недостатке живости и воображения, была своего рода прелесть, прелесть прямодушия, честной искренности и чистоты душевной. Я столько же уважал ее, сколько любил... Мне казалось, что и она ко мне благоволила; разочароваться в ее привязанности, убедиться в ее любви к другому было мне очень больно.

Неожиданное открытие, сделанное мною, тем более удивило меня, что г. Асанов посещал дом Злотницких не часто, гораздо реже меня, и никакого особого предпочтения Сонечке не оказывал. Это был красивый брюнет с выразительными, хотя несколько тяжелыми чертами лица, с блестящими глазами навыкате, с большим белым лбом и пухлыми красными губками под тонкими усами. Он держал себя весьма скромно, но строго, говорил и судил самоуверенно, молчал с достоинством. Видно было, что он много о себе думал. Асанов смеялся редко, и то сквозь зубы, и никогда не танцевал. Сложен он был довольно мешковато. Он когда-то служил в ...м полку и слыл за дельного офицера.

«Странное дело! — размышлял я, лежа на диване.— Как же это я ничего не заметил?..» «Будьте осторожны по-прежнему»: эти слова Софьина письма вдруг пришли

мне на память. «А! — подумал я,— вот что! Вишь, хитрая девчонка!» А я считал ее откровенной и искренной... Ну, так постойте же, я покажу вам...»

Но тут я, сколько мне помнится, заплакал горько и до утра не мог заснуть.

На другой день, часу во втором, отправился я к Злотницким. Старика не было дома, и жена его не сидела на своем обычном месте: у ней, после блинов, разболелась голова, и она пошла полежать к себе в спальню. Варвара стояла, прислонившись плечом к окну, и глядела на улицу: Софья ходила взад и вперед по комнате, скрестив на груди руки; Попка кричал.

— А! здравствуйте! — лениво проговорила Варвара, как только я вошел в комнату, и тотчас прибавила вполголоса: — А вон мужик идет с лотком на голове... (У ней была привычка произносить изредка, и словно про себя, замечания о прохожих.)

— Здравствуйте,— ответил я,— здравствуйте, Софья Николаевна. А где Татьяна Васильевна?

— Пошла отдохнуть,— возразила Софья, продолжая расхаживать по комнате.

— У нас были блины,— заметила Варвара, не оборачиваясь.— Что вы не пришли... Куда этот писарь идет?

— Да некогда было. («На кра-ул!» — резко закричал попугай.) Как ваш Попка сегодня кричит!

— Он всегда так кричит,— промолвила Софья.

Все мы помолчали.

— Зашел в ворота,— проговорила Варвара и вдруг встала на оконницу и отворила форточку.

— Что ты? — спросила Софья.

— Нищий,— ответила Варвара, нагнулась, достала с окна медный пятак, на котором еще возвышался серенькой кучкой пепел курительной свечки, бросила пятак на улицу, захлопнула форточку и тяжело спрыгнула на пол...

— А я вчера очень приятно время провел,— начал я, садясь в кресла,— я обедал у одного приятеля; там был Константин Александрыч... (Я посмотрел на Софью, у ней даже бровь не поморщилась.) И, надобно сознаться,— мы-таки покутили: вчетвером бутылок восемь выпили.

— Вот как! — спокойно произнесла Софья и покачала головой.

— Да,— продолжал я, слегка раздраженный ее равнодушием,— и знаете ли что, Софья Николаевна? ведь точно, недаром гласит пословица, что истина в вине.

— А что?

— Константин Александрыч нас рассмешил. Представьте себе: вдруг принялся этак рукою по лбу проводить и приговаривать: «Какой я молодец! у меня дядя знатный человек!..»

— Ха-ха! — раздался короткий, отрывистый смех Варвары... «Попка! попка! попка!» — забарабанил ей в ответ попугай.

Софья остановилась передо мною и посмотрела мне в лицо.

— А вы что говорили,— спросила она,— не помните?

Я невольно покраснел.

— Не помню! должно быть, и я хорош был. Действительно,— прибавил я с значительной расстановкой,— пить вино опасно: как раз проболтаешься, и то скажешь, что бы никому не следовало знать. Будешь раскаиваться после, да уж поздно.

— А вы разве проболтались? — спросила Софья.

— Я не о себе говорю.

Софья отвернулась и снова принялась ходить по комнате. Я глядел на нее и внутренно бесился. «Ведь вишь,— думал я,— ребенок, дитя, а как собой владеет! Каменная просто. Да вот, постой...»

— Софья Николаевна...— проговорил я громко.

Софья остановилась.

— Что вам?

— Не сыграете ли вы что-нибудь на фортепьяно? Кстати, мне вам нужно что-то сказать,— прибавил я, понизив голос.

Софья, ни слова не говоря, пошла в залу; я отправился вслед за ней. Она остановилась у рояля.

— Что же вам сыграть? — спросила она.

— Что хотите... ноктюрн Шопена.

Софья начала ноктюрн. Она играла довольно плохо, но с чувством. Сестра ее играла одни только польки и вальсы, и то редко. Подойдет, бывало, своей ленивой походкой к роялю, сядет, спустит бурнус с плеч на локти (я не видал ее без бурнуса), заиграет громко одну польку, не кончит, начнет другую, потом вдруг вздохнет, встанет и отправится опять к окну. Странное существо была эта Варвара!

Я сел подле Софьи.

— Софья Николаевна,— начал я, пристально посматривая на нее сбоку,— я должен вам сообщить одну неприятную для меня новость.

— Новость? какую?

— А вот какую... Я до сих пор в вас ошибался, совершенно ошибался.

— Каким это образом? — возразила она, продолжая играть и устремив глаза на свои пальцы.

— Я думал, что вы откровенны; я думал, что вы не умеете хитрить, скрывать свои чувства, лукавить...

Софья приблизила лицо свое к нотам.

— Я вас не понимаю.

— А главное,— продолжал я,— я никак не мог вообразить, что вы, в ваши годы, уже умеете так мастерски разыгрывать роль...

Руки Софьи слегка задрожали над клавишами.

— Что вы это говорите? — проговорила она, все не глядя на меня,— я разыгрываю роль?

— Да, вы. (Она усмехнулась... Злость меня взяла...) Вы притворяетесь равнодушной к одному человеку и... пишете к нему письма,— прибавил я шепотом.

Щеки Софьи побледнели, но она не обернулась ко мне, доиграла ноктюрн до конца, встала и закрыла крышку рояля.

— Куда же вы? — спросил я ее не без смущения.— Вы мне не отвечаете?

— Что мне вам отвечать? Я не знаю, о чем вы говорите... А притворяться я не умею.

Она начала укладывать ноты...

Кровь мне бросилась в голову.

— Нет, вы знаете, о чем я говорю,— промолвил я, также вставая,— и хотите ли, я вам сейчас напомню некоторые ваши выражения в одном письме: «будьте осторожны по-прежнему...»

Софья слегка вздрогнула.

— Я этого никак от вас не ожидала,— проговорила она наконец.

— И я никак не ожидал,— подхватил я,— что вы, вы, Софья Николаевна, удостоили вашим вниманием человека, который...

Софья быстро ко мне обернулась; я невольно отступил от нее: глаза ее, всегда полузакрытые, расширились

до того, что казались огромными, и гневно сверкали из-под бровей.

— А! коли так,— проговорила она,— знайте же, что я люблю этого человека и что мне совершенно все равно, какого вы мнения о нем и о моей любви к нему. И с чего вы взяли?.. Какое вы имеете право это говорить? А если я на что решилась...

Она умолкла и проворно вышла вон из залы.

Я остался. Мне вдруг стало так неловко и так совестно, что я закрыл лицо руками. Я понял все неприличие, всю низость своего поведения и, задыхаясь от стыда и раскаяния, стоял как опозоренный. «Боже мой! — думал я,— что я наделал!»

— Антон Никитич,— послышался голос горничной в передней,— пожалуйте скорей стакан воды для Софьи Николаевны.

— А что? — ответил буфетчик.

— Кажись, плачут-с...

Я содрогнулся и пошел в гостиную за своей шляпой.

— О чем вы толковали с Сонечкой? — равнодушно спросила меня Варвара и, помолчав немного, прибавила вполголоса: — Опять этот писарь идет.

Я начал раскланиваться:

— Куда же вы? Погодите: маменька сейчас выйдет.

— Нет, уж мне нельзя,— проговорил я,— я уж лучше в другой раз.

В это мгновение, к ужасу моему, именно к ужасу, Софья твердыми шагами вошла в гостиную. Лицо ее было бледнее обыкновенного, и веки чуть-чуть покраснели. На меня она и не взглянула.

— Посмотри, Соня,— промолвила Варвара,— какой-то писарь все около нашего дома ходит.

— Шпион какой-нибудь...— холодно и презрительно заметила Софья.

Это уж было слишком! Я ушел и, право, не помню, как дотащился домой.

Мне было очень тяжело, так тяжело и горько, что и описать невомозжно. В одни сутки два такие жестокие удара! Я узнал, что Софья любит другого, и навсегда лишился ее уважения. Я чувствовал себя до того уничтоженным и пристыженным, что даже негодовать на себя не мог. Лежа на диване и повернувшись лицом к стене, я с каким-то жгучим наслаждением предавался первым

порывам отчаянной тоски, как вдруг услыхал шаги в комнате. Я поднял голову и увидел одного из самых коротких моих друзей — Якова Пасынкова.

Я готов был рассердиться на каждого человека, который вошел бы ко мне в комнату в этот день, но на Пасынкова сердиться не мог никогда; напротив, несмотря на пожиравшее меня горе, я внутренно обрадовался его приходу и кивнул ему головой. Он, по обыкновению, прошел раза два по комнате, кряхтя и вытягивая свои длинные члены, молча постоял передо мною и молча сел в угол.

Я знал Пасынкова очень давно, почти с детства. Он воспитывался в том же частном пансионе немца Винтеркеллера, в котором и я прожил три года. Отец Якова, бедный отставной майор, человек весьма честный, но несколько поврежденный в уме, привез его, семилетнего мальчика, к этому немцу, заплатил за него за год вперед, уехал из Москвы, да и пропал без вести... Изредка ходили о нем темные, странные слухи. Только лет через восемь узнали с достоверностью, что он утонул в половодье, переправляясь через Иртыш. Чтó его занесло в Сибирь — господь ведает. У Якова других родных не было; мать его давным-давно умерла. Он так и остался на руках Винтеркеллера. Правда, была у Якова отдаленная родственница, тетка, но до того бедная, что сначала боялась ходить к своему племяннику, как бы не навязали его ей на шею. Страх ее оказался напрасным: добродушный немец оставил у себя Якова, позволил ему учиться вместе с другими воспитанниками, кормил его (за столом его, однако, обносили десертом по будням) и платье ему перешивал из поношенных камлотовых капотов (большей частью табачного цвета) своей матери, престарелой, но еще очень бойкой и распорядительной лифляндки. Вследствие всех этих обстоятельств и вообще вследствие подчиненного положения Якова в пансионе товарищи обращались с ним небрежно, глядели на него свысока и называли его то бабьим капотом, то племянником чепца (тетка его постоянно носила весьма странный чепец с торчавшим кверху пучком желтых лент в виде артишока), то сыном Ермака (так как отец его утонул в Иртыше). Но, несмотря на эти прозвища, несмотря на смешные его платья, на его крайнюю бедность, все его очень любили, да и невозможно было его не любить: более доброй, благородной души, я думаю, и на свете не было. Учился он также очень хорошо.

Когда я увидел его в первый раз, ему было лет шестнадцать, а мне только что минул тринадцатый год. Я был очень самолюбивый и избалованный мальчик, вырос в довольно богатом доме и потому, поступив в пансион, поспешил сблизиться с одним князьком, предметом особенных попечений Винтеркеллера, да еще с двумя-тремя маленькими аристократами, а со всеми другими важничал. Пасынкова я не удостоил даже внимания. Этот длинный и неловкий малый, в безобразной куртке и коротких панталонах, из-под которых выглядывали толстые нитяные чулки, казался мне чем-то вроде казачка из дворовых или мещанского сына. Пасынков был очень вежлив и кроток со всеми, хотя ни в ком никогда не заискивал; если его отталкивали — он не унижался и не дулся, а держался в стороне, как бы сожалея и выжидая. Так он поступил и со мной. Прошло около двух месяцев. Однажды, в летний ясный день, проходя, после шумной игры в лапту, со двора в сад, увидел я Пасынкова, сидевшего на скамейке под высоким кустом сирени. Он читал книгу. Я взглянул мимоходом на переплет и прочитал на спинке имя Шиллера: «Schiller's Werke» [1]. Я остановился.

— Разве вы знаете по-немецки? — спросил я Пасынкова...

Мне до сих пор становится совестно, когда я вспомню, сколько пренебрежения было в самом звуке моего голоса... Пасынков тихо поднял на меня свои небольшие, но выразительные глаза и ответил:

— Да, знаю; а вы?

— Еще бы! — возразил я, уж обиженный, и хотел было идти дальше, да что-то удержало меня.

— А что именно читаете вы из Шиллера? — спросил я с прежней надменностью.

— Теперь? я читаю «Resignation»: [2] прекрасное стихотворение. Хотите, я вам его прочту? Сядьте вот здесь подле меня, на скамейке.

Я немного поколебался, однако сел. Пасынков начал читать. По-немецки он знал гораздо лучше меня: ему пришлось толковать мне смысл некоторых стихов; но я уж не стыдился ни своего незнания, ни его превосходства передо мною. С того дня с самого того чтения вдвоем в саду, в тени сирени, я всей душой полюбил Пасынкова, сблизился с ним и подчинился ему вполне.

---

[1] «Сочинения Шиллера» (*нем.*).

[2] «Покорность» (*нем.*).

Живо помню его тогдашнюю наружность. Впрочем, он и после мало изменился. Он был высокого роста, худ, долговяз и довольно неуклюж. Узкие плечи и впалая грудь придавали ему болезненный вид, хотя он не мог пожаловаться на свое здоровье. Его большая, кверху закругленная голова слегка склонялась набок, мягкие русые волосы висели жидкими косицами вокруг тонкой шеи. Лицо его не было красиво и даже могло показаться смешным благодаря длинному, пухлому и красноватому носу, как бы нависшему над широкими и прямыми губами; но открытый лоб его был прекрасен, и когда он улыбался, его маленькие серые глазки светились таким кротким и ласковым добродушием, что при взгляде на него у всякого становилось тепло и весело на сердце. Помню я также его голос, тихий и ровный, с какою-то особенно приятной сипотой. Он говорил вообще мало и с заметным затруднением; но когда одушевлялся, речь его лилась свободно и — странное дело! — голос его становился еще тише, взор его как будто уходил внутрь и погасал, а все лицо слабо разгоралось. В устах его слова: «добро», «истина», «жизнь», «наука», «любовь», как бы восторженно они ни произносились, никогда не звучали ложным звуком. Без напряжения, без усилия вступал он в область идеала; его целомудренная душа во всякое время была готова предстать перед «святыню красоты»; она ждала только привета, прикосновения другой души... Пасынков был романтик, один из последних романтиков, с которыми мне случалось встретиться. Романтики теперь, как уж известно, почти вывелись; по крайней мере между нынешними молодыми людьми их нет. Тем хуже для нынешних молодых людей!

Около трех лет провел я с Пасынковым, как говорится, душа в душу. Я был поверенным его первой любви. С каким благодарным вниманием и участием выслушивал я его признанья! Предметом его страсти была племянница Винтеркеллера, белокурая, миленькая немочка, с пухленьким, почти детским личиком и доверчиво-нежными голубыми глазками. Она была очень добра и чувствительна, любила Матиссона, Уланда и Шиллера и весьма приятно произносила стихи их своим робким и звонким голосом. Любовь Пасынкова была самая платоническая; он видел свою возлюбленную только по воскресеньям (она приезжала играть в фанты с Винтеркеллеровыми детьми) и мало с ней разговаривал; зато однажды, когда она ему

сказала: «Mein lieber, lieber Herr Jacob!» [1], он всю ночь не мог заснуть от избытка благополучия. Ему и в голову не пришло тогда, что она всем его товарищам говорила: «mein lieber». Помню я также скорбь его и уныние, когда вдруг распространилось известие, что фрейлейн Фридерике (так ее звали) выходит замуж за герра Книфтуса, владельца богатой мясной лавки, очень красивого и даже образованного мужчину, и выходит не из одного повиновения родительской воле, но и по любви. Очень тяжело было тогда Пасынкову, и особенно страдал он в день первого посещения молодых. Бывшая фрейлейн, теперь уже фрау Фридерике, представила его, опять под именем lieber Herr Jacob, своему мужу, у которого все блестело: и глаза, и завитые в кок черные волосы, и лоб, и зубы, и пуговицы на фраке, и цепочка на жилете, и самые сапоги на довольно, впрочем, больших, носками врозь поставленных ногах. Пасынков пожал господину Книфтусу руку и пожелал ему (и искренно пожелал — я в этом уверен) полного и продолжительного счастья. Это происходило при мне. Помню я, с каким удивлением и сочувствием глядел я тогда на Якова. Он казался мне героем!.. И потом какие грустные происходили между нами беседы! «Ищи утешения в искусстве»,— говорил я ему. «Да,— отвечал он мне,— и в поэзии».—«И в дружбе»,— прибавлял я. «И в дружбе»,— повторял он. О, счастливые дни!..

Горестно было мне расстаться с Пасынковым! Перед самым моим отъездом он после долгих хлопот и забот, после переписки, часто забавной, достал наконец свои бумаги и поступил в университет. Он продолжал состоять на иждивении Винтеркеллера, но вместо камлотовых курток и брюк получал уже обыкновенную одежду, в воздаяние за уроки по разным предметам, которые преподавал младшим воспитанникам. Пасынков не переменил своего обращения со мной до самого конца моего пребывания в пансионе, хотя разница в годах между нами уже начинала сказываться, и я, помнится, принимался ревновать его к некоторым из его новых товарищей-студентов. Влияние его на меня было самое благотворное. К сожалению, оно не было продолжительно. Приведу один только пример. В детстве я привык лгать... Перед Яковом у меня язык не поворачивался на ложь. Но особенно отрадно было мне гулять с ним вдвоем или ходить возле него взад и вперед

[1] «Мой милый, милый господин Яков!» (*нем.*).

по комнате и слушать, как он, не глядя на меня, читал стихи своим тихим и сосредоточенным голосом. Право, мне тогда казалось, что мы с ним медленно, понемногу отделялись от земли и неслись куда-то, в какой-то лучезарный, таинственно-прекрасный край... Помню я одну ночь. Мы сидели с ним под тем же кустом сирени; мы полюбили это место. Все наши товарищи уже спали; но мы тихонько встали, ощупью оделись впотьмах и украдкой вышли «помечтать». На дворе было довольно тепло, но свежий ветерок дул по временам и заставлял нас еще ближе прижиматься друг к дружке. Мы говорили, мы говорили много и с жаром, так что даже перебивали друг друга, хотя и не спорили. На небе сияли бесчисленные звезды. Яков поднял глаза и, стиснув мне руку, тихо воскликнул:

Над нами
Небо с вечными звездами...
А над звездами их творец...

Благоговейный трепет пробежал по мне; я весь похолодел и припал к его плечу... Сердце переполнилось...

Где те восторги! Увы! там же, где и молодость.

В Петербурге я встретил Якова лет восемь спустя. Я только что определился на службу, и ему кто-то доставил местечко в каком-то департаменте. Встреча наша была самая радостная. Никогда мне не забыть того мгновенья, когда я, сидя однажды у себя дома, услыхал внезапно в передней его голос... Как я вздрогнул, с каким биением сердца вскочил и бросился ему на шею, не дав ему времени снять с себя шубу и раскутать шарф! Как жадно глядел я на него сквозь невольные слезы умиления! Он немного постарел в последние семь лет; морщины, тонкие, как след иглы, кой-где пробороздили лоб его, щеки слегка впали, и волосы поредели, но бороды почти не прибавилось, и улыбка его осталась та же; и смех его милый, внутренний, словно задыхающийся смех, остался тот же...

Боже мой! чего, чего мы не переговорили в тот день... Сколько любимых стихов прочли мы друг другу! Я начал его упрашивать переехать ко мне на житье, но он не согласился, зато обещал заходить ко мне ежедневно и сдержал свое обещание.

И душою Пасынков не изменился. Он предстал передо мною тем же романтиком, каким я знал его. Как ни охватывал его жизненный холод, горький холод опыта,—

нежный цветок, рано расцветший в сердце моего друга, уцелел во всей своей нетронутой красе. Даже грусти, даже задумчивости не проявлялось в нем: он по-прежнему был тих, но вечно весел душою.

В Петербурге жил он как бы в пустыне, не размышляя о будущем и не знаясь почти ни с кем. Я его свел с Злотницкими. Он к ним ходил довольно часто. Не будучи самолюбив, он не был застенчив; но и у них, как и везде, говорил мало, однако полюбился им. Тяжелый старик, муж Татьяны Васильевны, и тот обходился с ним ласково, и обе молчаливые девушки скоро к нему привыкли.

Бывало, он придет, принесет с собою, в заднем кармане сюртука, какое-нибудь вновь вышедшее сочинение и долго не решается читать, все вытягивает шею набок, как птица, да высматривает: можно ли? наконец, уместится в уголку (он вообще любил сидеть по углам), достанет книжку и примется читать, сперва шепотом, потом громче и громче, изредка перерывая самого себя короткими суждениями или восклицаниями. Я замечал, что Варвара охотнее сестры к нему подсаживалась и слушала его, хотя, конечно, мало его понимала: литература не занимала ее. Сидит, бывало, перед Пасынковым, опершись на руки подбородком, глядит ему — не в глаза, а так, во все лицо, и словечка не промолвит, только шумно вздохнет вдруг. По вечерам мы играли в фанты, особенно в воскресенья и в праздники. К нам тогда присоединялись две барышни, сестры, отдаленные родственницы Злотницких, маленькие, кругленькие, хохотуньи страшные, да несколько кадетов и юнкеров, очень добрых и тихих мальчиков. Пасынков всегда садился подле Татьяны Васильевны и вместе с ней придумывал, что делать тому, чей фант вынется.

Софья не любила нежностей и поцелуев, которыми обыкновенно выкупаются фанты, а Варвара досадовала, когда ей приходилось что-нибудь отыскивать или отгадывать. Барышни знай себе хохотали — откуда у них смех брался,— меня иногда досада разбирала, на них глядя, а Пасынков только улыбался и головой покачивал. Старик Злотницкий в наши игры не вмешивался и даже не совсем ласково посматривал на нас из-за дверей своего кабинета. Раз только, совершенно неожиданно, вышел он к нам и предложил, чтобы та особа, чей фант вынется, провальсировала вместе с ним; мы, разумеется, согласились. Вышел фант Татьяны Васильевны: она вся покрас-

нела, смешалась и застыдилась, как пятнадцатилетняя девочка,— но муж ее тотчас приказал Софье сесть за фортепьяно, подошел к жене и сделал с ней два тура, по-старинному, в три темпа. Помню я, как его желчное и темное лицо, с неулыбавшимися глазами, то показывалось, то скрывалось, медленно оборачиваясь и не меняя своего строгого выражения. Вальсируя, он широко шагал и подпрыгивал, а жена его быстро семенила ногами и прижималась, как бы от страха, лицом к его груди. Он довел ее до ее места, поклонился ей, ушел к себе и заперся. Софья хотела было встать. Но Варвара попросила ее продолжать вальс, подошла к Пасынкову и, протянув руку, с неловкой усмешкой сказала: хотите? Пасынков удивился, однако вскочил — он всегда отличался утонченной вежливостью,— взял Варвару за талью, но с первого же шага поскользнулся и, быстро отделившись от своей дамы, покатился прямо под тумбочку, на которой стояла клетка попугая... Клетка упала, попугай испугался и закричал: на кра-ул! Поднялся общий хохот... Злотницкий показался на пороге кабинета, поглядел сурово и захлопнул дверь. С тех пор стоило только вспомнить при Варваре об этом происшествии, и она тотчас начинала смеяться и с таким выражением поглядывала на Пасынкова, как будто умнее того, что он тогда сделал, невозможно было ничего придумать.

Пасынков очень любил музыку. Он часто просил Софью сыграть ему что-нибудь, садился в сторонке и слушал, изредка подтягивая тонким голосом на чувствительных нотках. Особенно любил он «Созвездия» Шуберта. Он уверял, что когда при нем играли «Созвездия», ему всегда казалось, что вместе с звуками какие-то голубые длинные лучи лились с вышины ему прямо в грудь. Я еще до сих пор, при виде безоблачного ночного неба с тихо шевелящимися звездами, всегда вспоминаю мелодию Шуберта и Пасынкова... Приходит мне еще на ум одна загородная прогулка. Мы поехали целым обществом в двух ямских четвероместных каретах в Парголово. Помнится, кареты взяли с Владимирской; они были очень стары, голубого цвета, на круглых рессорах, с широкими козлами и клочками сена внутри; бурые разбитые лошади везли нас тяжелой рысью, хромая каждая на разную ногу. Мы долго гуляли по сосновым рощам вокруг Парголова, пили молоко из глиняных кувшинчиков и ели землянику с сахаром. Пого-

да была чудесная. Варвара не любила много ходить, она скоро утомлялась, но на этот раз от нас не отставала. Она сняла шляпу, волосы ее развились, тяжелые черты оживились, и щеки покраснели. Встретивши в лесу двух крестьянских девочек, она вдруг села на землю, подозвала и не приласкала, а усадила их возле себя. Софья посмотрела на них издали с холодной улыбкой и не подошла к ним. Она гуляла с Асановым, а Злотницкий заметил, что Варвара — настоящая наседка. Варвара встала и пошла прочь. В течение прогулки она несколько раз подходила к Пасынкову и говорила ему: «Яков Иваныч, я вам что-то хочу сказать»,— но что она хотела ему сказать — осталось неизвестным.

Впрочем, пора мне возвратиться к моему рассказу.

Я обрадовался приходу Пасынкова; но когда вспомнил о том, что сделал накануне, мне стало невыразимо совестно, и я поспешно отвернулся опять к стене. Погодя немного Яков спросил меня, здоров ли я.

— Здоров,— отвечал я сквозь зубы,— только голова болит.

Яков ничего не ответил и взял книгу. Прошло более часу; я уже собирался во всем сознаться Якову... вдруг в передней прозвенел колокольчик.

Дверь на лестницу растворилась... я прислушался... Асанов спрашивал моего человека, дома ли я.

Пасынков встал; он не любил Асанова и, сказав мне шепотом, что пойдет полежать на моей постели, отправился ко мне в спальню.

Минуту спустя вошел Асанов.

По одному покрасневшему лицу его, по короткому и сухому поклону я догадался, что он приехал ко мне неспроста. «Что-то будет?» — подумал я.

— Милостивый государь,— начал он, быстро садясь в кресло,— я явился к вам для того, чтобы вы разрешили мне одно сомнение.

— А именно?

— А именно: я желаю знать, честный ли вы человек?

Я вспыхнул.

— Это что значит? — спросил я.

— А вот что это значит... — возразил он, словно отчеканивая каждое слово,— вчера я вам показывал бумажник с письмами одной особы ко мне... Сегодня вы с

упреком — заметьте, с упреком — пересказывали этой особе несколько выражений из этих писем, не имея на то ни малейшего права. Я желаю знать, как вы это объясните?

— А я желаю знать, какое *вы* имеете право меня расспрашивать? — ответил я, весь дрожа от бешенства и внутреннего стыда.— Вольно вам было щеголять вашим дядюшкой, вашей перепиской; я-то тут что? Ведь все ваши письма целы?

— Письма-то целы; но я был вчера в таком состоянии, что вы легко могли...

— Одним словом, милостивый государь,— заговорил я нарочно как можно громче,— я прошу вас оставить меня в покое, слышите ли? Я ничего знать не хочу и объяснять вам ничего не стану. Ступайте к той особе за объяснениями! (Я чувствовал, что у меня голова начинает кружиться.)

Асанов устремил на меня взгляд, которому, видимо, старался придать выражение насмешливой проницательности, пощипал свои усики и встал не спеша.

— Я теперь знаю, что мне думать,— промолвил он,— ваше лицо — лучшая вам улика. Но я должен вам заметить, что благородные люди так не поступают... Прочесть украдкой письмо и потом идти к благородной девушке беспокоить ее...

— Убирайтесь вы к черту! — закричал я, затопав ногами,— и присылайте мне секунданта; с вами я не намерен разговаривать.

— Прошу не учить меня,— холодно возразил Асанов,— а секунданта я и сам хотел к вам прислать.

Он ушел. Я упал на диван и закрыл лицо руками. Кто-то тронул меня за плечо; я принял руки — передо мной стоял Пасынков.

— Что это? правда?..— спросил он меня.— Ты прочел чужое письмо?

Я не имел сил ответить ему, но качнул утвердительно головой.

Пасынков подошел к окну и, стоя ко мне спиною, медленно проговорил:

— Ты прочел письмо одной девушки к Асанову. Кто же была эта девушка?

— Софья Злотницкая,— отвечал я, как подсудимый отвечает судье.

Пасынков долго не вымолвил ни слова.

— Одна страсть может до некоторой степени извинить тебя,— начал он наконец.— Разве ты влюблен в Злотницкую?

— Да.

Пасынков опять помолчал.

— Я это думал. И ты сегодня пошел к ней и начал упрекать ее...

— Да, да, да...— проговорил я с отчаяньем.— Ты теперь можешь меня презирать...

Пасынков прошелся раза два по комнате.

— А она его любит? — спросил он.

— Любит...

Пасынков потупился и долго смотрел неподвижно на пол.

— Ну, этому надо помочь,— начал он, подняв голову,— этого нельзя так оставить.

И он взялся за шляпу.

— Куда же ты?

— К Асанову.

Я вскочил с дивана.

— Да я тебе не позволю. Помилуй! как можно! что он подумает?

Пасынков поглядел на меня.

— А по-твоему, разве лучше дать этой глупости ход, себя погубить, девушку опозорить?

— Да что ты скажешь Асанову?

— Я постараюсь вразумить его, скажу, что ты просишь у него извинения...

— Да я не хочу извиняться пред ним!

— Не хочешь? Разве ты не виноват?

Я посмотрел на Пасынкова: спокойное и строгое, хотя грустное выражение лица его меня поразило; оно было ново для меня. Я ничего не отвечал и сел на диван.

Пасынков вышел.

С каким мучительным томлением ожидал я его возвращения! С какой жестокой медленностью проходило время! Наконец он вернулся — поздно.

— Ну что? — спросил я робким голосом.

— Слава богу! — ответил он,— все улажено.

— Ты был у Асанова?

— Был.

— Что он? чай, ломался?— промолвил я с усилием.

— Нет, не скажу. Я ожидал больше... Он... он не такой пошлый человек, каким я почитал его.

— Ну, а кроме его, ты ни у кого не был? — спросил я погодя немного.

— Я был у Злотницких.

— А!.. (Сердце у меня забилось. Я не смел взглянуть Пасынкову в глаза.) Что ж она?

— Софья Николаевна — девушка благоразумная, добрая... Да, она добрая девушка. Ей сначала было неловко, но потом она успокоилась. Впрочем, весь наш разговор продолжался не более пяти минут.

— И ты... ей все сказал... обо мне... все?

— Я сказал, что было нужно.

— Мне уж теперь нельзя будет больше ходить к ним! — проговорил я уныло...

— Отчего же? Нет, изредка можно. Напротив, ты должен к ним непременно пойти, чтоб не подумали чего-нибудь...

— Ах, Яков, ты меня теперь презирать будешь! — воскликнул я, чуть сдерживая слезы.

— Я? презирать тебя?.. (Его ласковые глаза затеплились любовью.) Тебя презирать... глупый человек! Разве тебе легко было? Разве ты не страдаешь?

Он протянул мне руку, я бросился к нему на шею и зарыдал.

Спустя несколько дней, в течение которых я мог заметить, что Пасынков был очень не в духе, я решился наконец пойти к Злотницким. Что я чувствовал, вступая к ним в гостиную, это словами передать трудно; помню, что я едва различал лица, и голос прерывался в груди. И Софье было не легче: она, видимо, принуждала себя заговаривать со мною, но глаза ее так же избегали моих, как мои — ее, и в каждом ее движении, во всем существе проглядывало принуждение, смешанное... что таить правду? с тайным отвращением. Я постарался как можно скорее избавить и ее и себя от таких тягостных ощущений. Это свидание было, к счастью, последним... перед ее браком. Внезапная перемена в судьбе моей увлекла меня в другой конец России, и я надолго простился с Петербургом, с семейством Злотницких и, что мне было всего больнее, с добрым Яковом Пасынковым.

II

Прошло лет семь. Не считаю нужным рассказывать, что именно происходило со мной в течение всего этого

времени. Помаялся я таки по России, заезжал в глушь и в даль, и слава богу! Глушь и даль не так страшны, как думают иные, и в самых потаенных местах дремучего леса, под валежником и дромом, растут душистые цветы.

Однажды весной, проезжая по делам службы через небольшой уездный городок одной из отдаленных губерний восточной России, я сквозь тусклое стеклышко тарантаса увидел на площади, перед лавкой, человека, лицо которого мне показалось чрезвычайно знакомым. Я вгляделся в этого человека и, к немалой своей радости, узнал в нем Елисея, слугу Пасынкова.

Я тотчас велел ямщику остановиться, выскочил из тарантаса и подошел к Елисею.

— Здравствуй, брат! — проговорил я, с трудом скрывая волненье,— ты здесь с своим барином?

— С барином,— возразил он медленно и вдруг воскликнул: — Ах, батюшка, это вы? Я и не узнал вас!

— Ты здесь с Яковом Иванычем?

— С ним, батюшка, с ним... А то с кем же?

— Веди меня скорей к нему.

— Извольте, извольте! Сюда пожалуйте, сюда... Мы здесь в трактире стоим.

И Елисей повел меня через площадь, беспрестанно приговаривая: «Ну, как же Яков Иванович обрадуется!»

Это Елисей, калмык по происхождению, человек на вид крайне безобразный и даже дикий, но добрейшей души и неглупый, страстно любил Пасынкова и служил ему лет десять.

— Как здоровье Якова Иваныча? — спросил я его.

Елисей обернул ко мне свое темно-желтое личико.

— Ах, батюшка, плохо... плохо, батюшка! Вы их не узнаете... Недолго им, кажется, остается на свете пожить. Оттого-то мы здесь и засели, а то мы ведь в Одессу ехали лечиться.

— Откуда же вы едете?

— Из Сибири, батюшка.

— Из Сибири?

— Точно так-с. Яков Иваныч там на службе состояли-с. Там они и рану свою получили-с.

— Разве он в военную службу поступил?

— Никак нет-с. В статской служили-с.

«Что за чудеса!» — подумал я. Между тем мы подошли к трактиру, и Елисей побежал вперед доложить обо

мне. В первые годы нашей разлуки мы с Пасынковым переписывались довольно часто, но последнее письмо его я получил года четыре назад и с тех пор ничего не знал о нем.

— Пожалуйте-с, пожалуйте-с! — кричал мне Елисей с лестницы.— Яков Иванович очень желает вас видеть-с.

Я поспешно взбежал по шатким ступеням, вошел в темную маленькую комнату — и сердце во мне перевернулось.... На узкой постели, под шинелью, бледный как мертвец, лежал Пасынков и протягивал мне обнаженную исхудалую руку. Я бросился к нему и судорожно его обнял.

— Яша! — воскликнул я наконец,— что с тобой?

— Ничего,— ответил он слабым голосом,— прихворнул немного. Ты каким случаем сюда попал?

Я сел на стул подле постели Пасынкова и, не выпуская его руки из своих рук, начал глядеть ему в лицо. Я узнал дорогие мне черты: выражение его глаз, его улыбка не изменились; но что с ним сделала болезнь!

Он заметил впечатление, которое произвел на меня.

— Я дня три не брился,— промолвил он,— ну, да и не причесан, а то я... еще ничего.

— Скажи, пожалуйста, Яша,— начал я,— что это мне сказал Елисей... Ты ранен?

— А! да это целая история,— возразил он.— Я тебе после расскажу. Точно, я ранен, и вообрази, чем? стрелой.

— Стрелой?

— Да, стрелой, только не мифологической, не стрелою амура, а настоящей стрелой из какого-то прегибкого дерева, с искусным острием на конце... Очень неприятное ощущение производит такая стрела, особенно когда попадает в легкие.

— Да каким это образом? помилуй...

— А вот каким. Ты знаешь, в моей судьбе было всегда много смешного. Помнишь мою комическую переписку по делу вытребования бумаг? Вот я и ранен смешно. И в самом деле, какой порядочный человек, в наше просвещенное столетие, позволит себя ранить стрелой? И не случайно — заметь, не во время каких-нибудь игрищ, а на сражении.

— Да ты все мне не говоришь...

— А вот постой,— перебил он.— Ты знаешь, что меня скоро после твоего отъезда из Петербурга перевели в Новгород. В Новгороде я провел довольно много вре-

мени и, признаться, скучал, хотя я и там встретился с одним существом (он вздохнул)... Но теперь не до того: а года два назад вышло мне прекрасное местечко, правда, далеко немножко, в Иркутской губернии, да что за беда! Видно, нам с отцом на роду было написано посетить Сибирь. Славный край Сибирь! Богатый, привольный — это тебе всякий скажет. Очень мне там понравилось. Инородцы у меня под началом состояли; народ смирный; да, на мою беду, вздумалось им, человекам десяти, не больше, контрабанду провезти. Меня послали их перехватить. Перехватить-то я их перехватил, да один из них, сдуру должно быть, захотел защищаться, да и попотчевал меня этой стрелой... Я было чуть не умер, однако оправился. Теперь вот еду окончательно вылечиться... Начальство, дай бог им всем здоровья, денег дало.

Пасынков в изнеможении опустил голову на подушку и умолк. Слабый румянец разлился по его щекам. Он закрыл глаза.

— Много говорить не могут,— проговорил вполголоса Елисей, не выходивший из комнаты.

Наступило молчание; только и слышалось, что тяжелое дыхание больного.

— Да вот,— продолжал он, опять открыв глаза,— вторую неделю сижу в этом городишке... простудился, должно быть. Меня лечит здешний уездный врач — ты его увидишь; он, кажется, дело свое знает. Впрочем, я очень этому случаю рад, а то как бы я с тобою встретился? (И он взял меня за руку. Его рука, еще недавно холодная как лед, теперь пылала.) Расскажи ты мне что-нибудь о себе,— заговорил он опять, откидывая от груди шинель,— ведь мы с тобой бог знает когда виделись.

Я поспешил исполнить желание его, лишь бы не дать ему говорить, и принялся рассказывать. Он сперва слушал меня с большим вниманием, потом попросил пить, а там опять начал закрывать глаза и метаться головой по подушке. Я посоветовал ему соснуть немного, прибавив, что не поеду дальше, пока он не поправится, и помещусь в комнате с ним рядом.

— Здесь очень скверно...— начал было Пасынков, но я зажал ему рот и тихо вышел.

Елисей тоже вышел вслед за мной.

— Что же это, Елисей? ведь он умирает? — спросил я верного слугу.

Елисей только махнул рукой и отвернулся.

Отпустив ямщика и наскоро перебравшись в смежную комнату, я отправился посмотреть, не заснул ли Пасынков. У двери его я столкнулся с человеком высокого роста, очень толстым и грузным. Лицо его, рябое и пухлое, выражало лень — и больше ничего; крохотные глазки так и слипались, и губы лоснились, как после сна.

— Позвольте узнать,— спросил я его,— вы не доктор ли?

Толстый человек посмотрел на меня, усиленно приподняв бровями свой нависший лоб.

— Точно так-с,— промолвил он наконец.

— Сделайте одолжение, господин доктор, не угодно ли вам пожаловать сюда, ко мне в комнату? Яков Иваныч, кажется, теперь спит; я его приятель и желал бы поговорить с вами о его болезни, которая меня очень беспокоит.

— Очень хорошо-с,— отвечал доктор с таким выражением, как будто желая сказать: «Охота тебе так много говорить; я бы и так пошел»,— и направился вслед за мной.

— Скажите, пожалуйста,— начал я, как только он опустился на стул,— состояние моего приятеля опасно? как вы находите?

— Да,— спокойно отвечал толстяк.

— И... очень оно опасно?

— Да, опасно.

— Так, что он даже... умереть может?

— Может.

Признаюсь, я почти с ненавистью посмотрел на моего собеседника.

— Так помилуйте,— начал я,— надобно прибегнуть к каким-нибудь мерам, консилиум созвать, что ли... Ведь нельзя же так... Помилуйте!

— Консилиум, можно. Отчего ж? Можно. Ивана Ефремыча позвать...

Доктор говорил с трудом и беспрестанно вздыхал. Желудок его заметно приподнимался, когда он говорил, как бы выпирая каждое слово.

— Кто такой Иван Ефремыч?

— Городской врач.

— Не послать ли в губернский город — как вы думаете? Там наверное есть хорошие доктора.

— Что ж? можно.

— А кто там лучшим врачом почитается?

— Лучшим? Был там Кольрабус доктор... только его чуть ли не перевели куда-то. Впрочем, признаться, оно и не нужно посылать-то.

— Почему же?

— Вашему приятелю и губернский доктор не поможет.

— Разве он так плох?

— Да таки, наткнулся.

— Чем же он, собственно, болен?

— Рану получил... Легкие, значит, пострадали... ну, тут еще простудился, сделался жар... ну и прочее. А запасной экономии нет: без запасной экономии, вы сами знаете, человеку невозможно.

Мы оба помолчали.

— Разве гомеопатией попробовать... — проговорил толстяк, искоса взглянув на меня.

— Как гомеопатией? Ведь вы аллопат?

— Так что ж, что аллопат? Вы думаете, что я гомеопатию не знаю? Не хуже другого. Здесь у нас аптекарь гомеопатией лечит, а он и ученой степени никакой не имеет.

«Ну,— подумал я,— плохо дело!..»

— Нет, господин доктор,— промолвил я,— вы уж лучше лечите по вашей обыкновенной методе.

— Как угодно-с.

Толстяк встал и вздохнул.

— Вы идете к нему? — спросил я.

— Да, надо посмотреть.

И он вышел.

Я не пошел за ним: видеть его у постели моего бедного больного друга было свыше сил моих. Я кликнул своего человека и приказал ему тотчас же ехать в губернский город, спросить там лучшего врача и привезти его непременно. Что-то застучало в коридоре; я быстро открыл дверь.

Доктор уже выходил от Пасынкова.

— Ну что? — спросил я его шепотом.

— Ничего, микстуру прописал.

— Я, господин доктор, решился послать в губернский город. Не сомневаюсь в вашем искусстве, но вы знаете сами: ум хорошо, а два лучше.

— Ну что ж, это похвально! — возразил толстяк и начал спускаться по лестнице. Я ему, видимо, надоедал.

Я вошел к Пасынкову.

— Видел ты здешнего эскулапа? — спросил он меня.

— Видел,— отвечал я.

— Мне что нравится в нем,— заговорил Пасынков,— это его удивительное спокойствие. Доктору следует быть флегматиком, не правда ли? Это очень ободрительно для больного.

Я, разумеется, не стал разуверять его.

К вечеру Пасынкову, против ожидания моего, сделалось легче. Он попросил Елисея поставить самовар, объявил мне, что будет угощать меня чаем и сам выпьет чашечку, и заметно повеселел. Я, однако, все-таки старался не давать ему разговаривать и, видя, что он никак не хочет угомониться, спросил его, не желает ли он, чтобы я ему прочел что-нибудь?

— Как у Винтеркеллера — помнишь? — ответил он,— ну, изволь, с удовольствием. Что ж мы будем читать? Посмотри-ка, там у меня на окне книги...

Я подошел к окну и взял первую книгу, попавшуюся мне под руку...

— Что это? — спросил он.

— Лермонтов.

— А! Лермонтов! Прекрасно! Пушкин выше, конечно... Помнишь: «Снова тучи надо мною собралися в тишине...» или «В последний раз твой образ милый дерзаю мысленно ласкать». Ах, чудо! чудо! Но и Лермонтов хорош. Ну, знаешь что, брат, возьми, раскрой наудачу и читай!

Я раскрыл книгу и смутился: мне попалось «Завещание». Я хотел было перевернуть страницу, но Пасынков заметил мое движение и торопливо проговорил: «Нет, нет, нет, читай то, что вскрылось».

Делать было нечего: я прочел «Завещание».

— Славная вещь! — проговорил Пасынков, как только я произнес последний стих.— Славная вещь! А странно,— прибавил он, помолчав немного,— странно, что тебе именно «Завещание» попалось... Странно!

Я начал читать другое стихотворение, но Пасынков не слушал меня, глядел куда-то в сторону и раза два еще повторил: «Странно!»

Я опустил книгу на колени.

— «Соседка есть у них одна»,— прошептал он и вдруг, обратившись ко мне, спросил: — А что, помнишь ты Софью Злотницкую?

Я покраснел.

— Как не помнить!

— Ведь она замуж вышла?..

— За Асанова, давным-давно. Я тебе писал об этом.

— Точно, точно, писал. Отец ее простил наконец?

— Простил, но Асанова не принял.

— Упрямый старик! Ну, а как слышно, счастливо они живут?

— Не знаю, право... кажется, счастливо. Они в деревне живут, в ***ой губернии; я их не видал, но проезжал мимо.

— И дети есть у них?

— Кажется, есть... Кстати, Пасынков? — спросил я.

Он взглянул на меня.

— Признайся, ты, помнится, тогда не хотел отвечать на мой вопрос: ведь ты сказал ей, что я ее любил?

— Я все ей сказал, всю правду... Я ей всегда правду говорил. Скрытничать перед ней — это был бы грех!

Пасынков помолчал.

— Ну, а скажи мне,— начал он опять,— скоро ты разлюбил ее или нет?

— Не скоро, но разлюбил. Что пользы вздыхать понапрасну?

Пасынков перевернулся ко мне лицом.

— А я, брат,— начал он, и губы его задрожали,— не тебе чета: я до сих пор не разлюбил ее.

— Как! — воскликнул я с невыразимым изумлением,— разве ты любил ее?

— Любил,— медленно проговорил Пасынков и занес обе руки за голову.— Как я ее любил, это известно одному богу. Никому я не говорил об этом, никому в мире, и не хотел никому говорить... да уж так! «На свете мало, говорят, мне остается жить...» Куда ни шло!

Неожиданное признание Пасынкова до того меня удивило, что я решительно не мог ничего сказать и только думал: «Возможно ли? как же я этого не подозревал?»

— Да,— продолжал он, как бы говоря с самим собою,— я ее любил. Я не перестал ее любить даже тогда, когда узнал, что сердце ее принадлежит Асанову. Но тяжело мне было узнать это! Если б она тебя полюбила, я бы по крайней мере за тебя порадовался; но Асанов... Чем он мог ей понравиться? Его счастье! А изменить своему чувству, разлюбить она уж не могла. Честная душа не меняется...

Я вспомнил посещение Асанова после рокового обеда, вмешательство Пасынкова и невольно всплеснул руками.

— Ты от меня все это узнал, бедняк! — воскликнул я,— и ты же взялся пойти к ней тогда!

— Да,— заговорил опять Пасынков,— это объяснение с ней... я его никогда не забуду. Вот когда я узнал, вот когда я понял, что значит давно мною избранное слово: Résignation. Но все же она осталась моей постоянной мечтой, моим идеалом... А жалок тот, кто живет без идеала!

Я глядел на Пасынкова: глаза его, словно устремленные вдаль, блестели лихорадочным блеском.

— Я любил ее,— продолжал он,— я любил ее, ее, спокойную, честную, недоступную, неподкупную; когда она уехала, я чуть не помешался с горя... С тех пор я уж никого не любил...

И вдруг, отвернувшись, он прижал лицо к подушке и тихо заплакал.

Я вскочил, нагнулся к нему и начал утешать его...

— Ничего,— промолвил он, приподняв голову и встряхнув волосами,— это так; немножко горько стало, немножко жалко... себя, то есть... Но все это ничего. Все стихи виноваты. Прочти-ка мне другие, повеселее.

Я взял Лермонтова, стал быстро переворачивать страницы; но мне, как нарочно, всё попадались стихотворения, которые могли опять взволновать Пасынкова. Наконец я прочел ему «Дары Терека».

— Трескотня риторическая! — проговорил мой бедный друг тоном наставника,— а есть хорошие места. Я, брат, без тебя сам попытался в поэзию пуститься и начал одно стихотворение: «Кубок жизни» — ничего не вышло! Наше дело, брат, сочувствовать, не творить... Однако я что-то устал; сосну-ка я маленько — как ты полагаешь? Экая славная вещь сон, подумаешь! Вся жизнь наша — сон, и лучшее в ней опять-таки сон.

— А поэзия? — спросил я.

— И поэзия — сон, только райский.

Пасынков закрыл глаза.

Я постоял немного у его постели. Не думал я, чтоб он мог скоро уснуть, однако дыхание его становилось ровнее и продолжительнее. Я на цыпочках вышел вон, вернулся в свою комнату и лег на диван. Долго думал я о том, что мне сказал Пасынков, припоминал многое, дивился, наконец заснул сам...

Кто-то толкнул меня; я очнулся: передо мной стоял Елисей.

— Пожалуйте к барину,— сказал он.

Я тотчас встал.

— Что с ним?

— Бредит.

— Бредит? А прежде с ним этого не бывало?

— Нет, и в прошлую ночь бредил, только сегодня что-то страшно.

Я вошел в комнату Пасынкова. Он не лежал, а сидел на своей постели, наклонясь всем туловищем вперед, тихо разводил руками, улыбался и говорил, все говорил голосом беззвучным и слабым, как шелест тростника. Глаза его блуждали. Печальный свет ночника, поставленного на полу и загороженного книгою, лежал недвижным пятном на потолке; лицо Пасынкова казалось еще бледнее в полумраке.

Я подошел к нему, окликнул его — он не отозвался. Я стал прислушиваться к его лепету: он бредил о Сибири, о ее лесах. По временам был смысл в его бреде.

«Какие деревья! — шептал он,— до самого неба. Сколько на них инею! Серебро... Сугробы... А вот следы маленькие... то зайка скакал, то бел горностай... Нет, это отец пробежал с моими бумагами. Вон он... Вон он! Надо идти; луна светит. Надо идти сыскать бумаги... А! Цветок, алый цветок — там Софья... Вот колокольчики звенят, то мороз звенит... Ах, нет; это глупые снегири по кустам прыгают, свистят... Вишь, краснозобые! Холодно... А! вот Асанов... Ах, да, ведь он пушка — медная пушка, и лафет у него зеленый. Вот отчего он нравится. Звезда покатилась? Нет, это стрела летит... Ах, как скоро, и прямо мне в сердце!.. Кто это выстрелил? Ты, Сонечка?»

Он нагнул голову и начал шептать бессвязные слова. Я взглянул на Елисея: он стоял, заложив руки за спину, и жалостно глядел на своего господина.

— А что, брат, ты сделался практическим человеком? — спросил он вдруг, устремив на меня такой ясный, такой сознательный взгляд, что я невольно вздрогнул и хотел было ответить, но он тотчас же продолжал: — А я, брат, не сделался практическим человеком, не сделался, что ты будешь делать! Мечтателем родился, мечтателем! Мечта, мечта... Что такое мечта? Мужик Собакевича — вот мечта. Ох!..

Почти до самого утра бредил Пасынков; наконец он понемногу утих, опустился на подушку и задремал. Я вер-

нулся к себе в комнату. Измученный жестокою ночью, я заснул крепко.

Елисей опять меня разбудил.

— Ах, батюшка! — заговорил он трепетным голосом.— Мне сдается, Яков Иваныч помирает...

Я побежал к Пасынкову. Он лежал неподвижно. При свете начинавшегося дня он уж казался мертвецом. Он узнал меня.

— Прощай,— прошептал он,—поклонись ей, умираю...

— Яша! — воскликнул я,— полно! ты будешь жить...

— Нет, куда! Умираю... Вот возьми себе на память... (Он указал рукой на грудь.) Что это,— заговорил он вдруг,— посмотри-ка: море... все золотое, и по нем голубые острова, мраморные храмы, пальмы, фимиам...

Он умолк... потянулся...

Через полчаса его не стало. Елисей с плачем припал к его ногам. Я закрыл ему глаза.

На шее у него была небольшая шелковая ладанка на черном шнурке. Я взял ее к себе.

На третий день его похоронили... Благороднейшее сердце скрылось навсегда в могиле! Я сам бросил на него первую горсть земли.

III

Прошло еще полтора года. Дела заставили меня заехать в Москву. Я поселился в одной из хороших тамошних гостиниц. Однажды, проходя по коридору, взглянул я на черную доску с именами проезжих и чуть не вскрикнул от изумления: против двенадцатого нумера стояло четко написанное мелом имя Софьи Николаевны Асановой. В последнее время я случайно услышал много нехорошего о ее муже; узнал, что он пристрастился к вину, к картам, разорился и вообще дурно ведет себя. О его жене отзывались с уважением... Не без волнения вернулся я к себе в комнату. Давным-давно застывшая страсть как будто шевельнулась в сердце, и оно забилось. Я решился сходить к Софье Николаевне. «Сколько времени протекло со дня нашей разлуки,— думал я,— она вероятно, забыла все, что было тогда между нами».

Я послал к ней Елисея, которого после смерти Пасынкова взял к себе в услужение, с моей визитной карточкой, и велел спросить, дома ли она и могу ли я ее видеть. Елисей скоро вернулся и объявил, что Софья Николаевна дома и принимает.

Я отправился к Софье Николаевне. Когда я вошел к ней, она стояла посреди комнаты и прощалась с каким-то высоким и плотным господином. «Как вы хотите,— говорил он густым и зычным голосом,— он не безвредный человек, он бесполезный человек; а всякий бесполезный человек в благоустроенном обществе вреден, вреден, вреден!»

С этими словами высокий господин вышел. Софья Николаевна обратилась ко мне.

— Как давно мы не видались! — проговорила она.— Сядьте, прошу вас...

Мы сели. Я посмотрел на нее... Увидеть после долгой разлуки черты лица, некогда дорогого, быть может любимого, узнавать их и не узнавать, как будто сквозь прежний, все еще не забытый облик — выступил другой, хотя похожий, но чуждый; мгновенно, почти невольно заметить следы, наложенные временем,— все это довольно грустно. «И я, должно быть, также изменился»,— думает каждый про себя...

Впрочем, Софья Николаевна не очень постарела; но когда я видел ее в последний раз — ей минул шестнадцатый год, а с тех пор прошло девять лет. Черты лица ее стали еще правильнее и строже; они по-прежнему выражали искренность чувств и твердость; но вместо прежнего спокойствия в них высказывалась какая-то затаенная боль и тревога. Глаза ее углубились и потемнели. Она стала походить на свою мать...

Софья Николаевна первая начала разговор.

— Переменились мы оба,— начала она.— Где вы были все это время?

— Скитался кой-где,— ответил я.— А вы все в деревне жили?

— Большею частью в деревне. Я и теперь здесь только проездом.

— Что ваши родители?

— Матушка моя скончалась, а батюшка все в Петербурге; брат на службе; Варя с ними живет.

— А ваш супруг?

— Мой муж? — заговорила она несколько торопливым голосом,— он теперь в южной России, на ярмарках. Он, вы знаете, всегда любил лошадей и конский завод у себя завел... так вот для этого... он лошадей теперь покупает.

В это мгновенье вошла в комнату девочка лет восьми,

причесанная по-китайски, с очень острым и живым личиком, с большими темно-серыми глазами. Увидев меня, она тотчас отставила свою маленькую ножку, проворно присела и подошла к Софье Николаевне.

— Вот, рекомендую вам, моя дочка,— сказала Софья Николаевна, тронув девочку пальцем под кругленький подбородок,— никак не хотела дома остаться — упросила меня взять ее с собой.

Девочка окинула меня своими быстрыми глазами и чуть-чуть прищурилась.

— Она у меня молодец,— продолжала Софья Николаевна,— ничего не боится. И учится хорошо; за это я должна ее похвалить.

— Comment se nomme monsieur? [1] — спросила вполголоса девочка, нагнувшись к матери.

Софья Николаевна назвала меня. Девочка опять на меня взглянула.

— Вас как зовут? — спросил я ее.

— Меня зовут Лидией,— ответила девочка, смело глядя мне в глаза.

— Вас, должно быть, балуют,— заметил я.

— Кто меня балует?

— Как кто? да, я думаю, все, начиная с ваших родителей. (Девочка молча посмотрела на свою мать.) Я воображаю, Константин Александрыч... — продолжал я.

— Да, да,— подхватила Софья Николаевна, между тем как девочка ее не спускала с нее внимательного взора,— муж мой, конечно... он очень любит детей.

Странное выражение промелькнуло в умном личике Лидии. Ее губки слегка надулись; она потупилась.

— Скажите,— поспешно прибавила Софья Николаевна,— ведь вы здесь по делам?

— По делам... И вы также?

— И я... В отсутствие мужа, вы понимаете, поневоле займешься делами.

— Maman! [2] — начала было Лидия.

— Quoi, mon enfant? [3]

— Non — rien... Je te dirai après [4].

Софья Николаевна усмехнулась и пожала плечом.

---

[1] Как зовут господина? (*франц.*)

[2] Мама! (*франц.*)

[3] Что, дитя мое? (*франц.*).

[4] Ничего... Я тебе потом скажу (*франц.*).

Мы оба помолчали, а Лидия с важностью скрестила руки на груди.

— Скажите, пожалуйста,— начала опять Софья Николаевна,— помнится, у вас был приятель... как его бишь звали? такое доброе у него было лицо... он все стихи читал, такой восторженный...

— Не Пасынков ли?

— Да, да Пасынков... где он теперь?

— Он умер.

— Умер? — повторила Софья Николаевна.— Как жаль!..

— Я его видала? — спросила торопливым шепотом девочка.

— Нет, Лидия, не видала. Как жаль! — повторила Софья Николаевна.

— Вы жалеете о нем... — начал я,— что ж, если б вы его знали, как я знал его?.. Но позвольте спросить, почему вы заговорили именно о нем?

— Так, не знаю, право... (Софья Николаевна опустила глаза.) Лидия,— прибавила она,— ступай к своей няне.

— Ты меня позовешь, когда можно будет? — спросила девочка.

— Позову.

Девочка вышла. Софья Николаевна обратилась ко мне.

— Расскажите мне, пожалуйста, все, что вы знаете о Пасынкове.

Я начал рассказывать. Я очертил в кратких словах всю жизнь моего друга, постарался, насколько сумел, изобразить душу его, описал его последнюю встречу со мною, его кончину.

— И вот какой человек,— воскликнул я, оканчивая свой рассказ,— отошел от нас, незамеченный, почти не оцененный! И это бы еще не беда. Что значит людская оценка? Но мне больно, мне обидно то, что такой человек, с таким любящим и преданным сердцем, умер, не испытав ни разу блаженства взаимной любви, не возбудив участия ни в одном женском сердце, его достойном!.. Пускай наш брат не изведает этого блаженства: он его и не стоит; но Пасынков!.. И притом разве не встречал я на своем веку тысячу людей, которые ни в каком отношении не могли с ним сравниться и которых любили? Неужели же должно думать, что некоторые недостатки в челове-

ке — самоуверенность, например, или легкомыслие — необходимы для того, чтоб женщина к нему привязалась? Или любовь боится совершенства, возможного на земле совершенства, как чего-то чуждого и страшного для нее?

Софья Николаевна выслушала меня до конца, не спуская с меня своих строгих и проницательных глаз и не разжимая губ; только брови ее изредка морщились.

— Почему вы полагаете,— промолвила она, помолчав немного,— что вашего друга ни одна женщина не полюбила?

— Потому, что я это знаю, знаю наверное.

Софья Николаевна хотела было что-то сказать и остановилась. Она, казалось, боролась сама с собой.

— Вы ошибаетесь,— заговорила она наконец,— я знаю женщину, которая горячо полюбила вашего покойного друга; она любит и помнит его до сих пор... и весть о его кончине поразит ее глубоко.

— Кто эта женщина? — позвольте узнать.

— Моя сестра, Варя.

— Варвара Николаевна! — воскликнул я с изумлением.

— Да.

— Как? Варвара Николаевна? — повторил я,— эта...

— Я договорю вашу мысль,— продолжала Софья Николаевна,— эта холодная, равнодушная, вялая, по-вашему, девушка любила вашего друга: оттого она не вышла замуж и не выйдет. До нынешнего дня я одна про это знала: Варя умерла бы скорее, чем выдать свою тайну. В нашей семье мы умеем молчать и терпеть.

Я долго и пристально посмотрел на Софью Николаевну, невольно размышляя о горьком значении ее последних слов.

— Вы меня удивили,— промолвил я наконец.— Но знаете ли, Софья Николаевна, если б я не боялся возбудить в вас неприятных воспоминаний, я тоже в свою очередь мог бы удивить вас...

— Я вас не понимаю,— возразила она медленно и с некоторым смущением.

— Вы точно меня не понимаете,— сказал я, поспешно вставая,— и потому позвольте мне вместо словесного объяснения прислать вам одну вещь...

— Но что такое? — спросила она.

— Не беспокойтесь, Софья Николаевна, речь идет не обо мне.

Я поклонился и вернулся к себе в комнату, достал ладанку, снятую мною с Пасынкова, и послал ее к Софье Николаевне с следующей запиской:

«Ладанку эту покойный мой друг носил постоянно на груди и скончался с нею. В ней находится одна ваша записка к нему, совершенно незначительная по содержанию; вы можете прочесть ее. Он носил ее потому, что любил вас страстно, в чем он признался мне только накануне своей смерти. Теперь, когда он умер, почему вам не узнать, что и его сердце вам принадлежало?»

Елисей скоро вернулся и принес мне обратно ладанку.

— Что? — спросил я,— она ничего не велела сказать мне?

— Ничего-с.

Я помолчал.

— Прочла она мою записку?

— Должно быть, прочитали-с; ихняя девушка к ним носила.

«Недоступная!» — подумал я, вспомнив последние слова Пасынкова.

— Ну, ступай,— промолвил я громко.

Елисей улыбнулся как-то странно и не вышел.

— К вам-с... — начал он,— пришла одна девушка.

— Какая девушка?

Елисей помолчал.

— Вам покойный барин ничего не говорили-с?

— Нет... Что такое?

— Они, как в Новгороде были,— продолжал он, трогая рукой притолоку,— с одной, примерно сказать, девушкой знакомство свели. Так вот эта девушка вас видеть желают-с. Я ее намедни на улице встретил. Я ей сказал: «Приходи; коли барин прикажет, я пущу».

— Проси, проси ее, разумеется. Да что... какая она?

— Простая-с... из мещанок-с... русская.

— Покойный Яков Иваныч любил ее?

— Ничего... любили-с. Ну и она... Как узнала, что барин скончался, оченно убивалась. Девушка ничего, хорошая-с.

— Проси ее, проси.

Елисей вышел и тотчас же возвратился. За ним шла девушка в ситцевом пестром платье и с темным платком на голове, до половины закрывавшим ее лицо. Увидев меня, она застыдилась и отвернулась.

— Чего ты? — сказал ей Елисей,— ступай, не бойся.

Я подошел к ней и взял ее за руку.

— Как вас зовут? — спросил я ее.

— Машей,— отвечала она тихим голосом, украдкой взглянув на меня.

На вид она казалась лет двадцати двух или двадцати трех; лицо имела круглое, довольно простое, но приятное, нежные щеки, кроткие голубые глаза и маленькие, очень красивые и чистые руки. Одета она была опрятно.

— Вы знали Якова Иваныча? — продолжал я.

— Знавала-с,— проговорила она, подергивая кончики платка, и слезы выступили на ее веки...

Я попросил ее сесть.

Она тотчас села на край стула, не чинясь и не жеманясь. Елисей вышел.

— Вы с ним в Новгороде познакомились?

— В Новгороде-с,— отвечала она, заложив обе руки под платок.— Я только третьего дня от Елисея Тимофеича узнала о их кончине-с. Яков Иваныч, как в Сибирь отъехали, писать обещались, и два раза писали, а больше не писали-с. Я бы за ними и в Сибирь поехала, да они не хотели-с.

— У вас в Новгороде есть родственники?

— Есть.

— Вы с ними жили?

— Я жила с матушкой и с сестрой с замужней; а после матушка на меня прогневалась, да и сестре тесно стало: у них детей много; я и переехала. Я всегда надеялась на Якова Иваныча и ничего не желала, как только его видеть, а они со мной завсегда были ласковы — спросите хоть Елисея Тимофеича.

Маша помолчала.

— У меня и письма их есть,— продолжала она.— Вот посмотрите-с.

Она достала из кармана несколько писем и подала мне.

— Прочтите-с,— прибавила она.

Я развернул одно письмо и узнал руку Пасынкова.

«Милая Маша! (писал он крупным, разборчивым почерком) ты вчера прислонилась своей головкой к моей голове, и когда я спросил: зачем ты это делаешь? ты мне сказала: хочу послушать, о чем вы думаете. Я тебе скажу, о чем я думал: я думал, как хорошо бы выучиться Маше грамоте! Она бы вот это письмо разобрала...»

Маша заглянула в письмо.

— Это они мне еще в Новгороде писали-с,— проговорила она,— когда они меня грамоте учить собирались. Посмотрите другие-с. Там есть одно из Сибири-с. Вот то прочтите-с.

Я прочел письма. Все они были очень ласковы, даже нежны. В одном из них, именно в первом письме из Сибири, Пасынков называл Машу своим лучшим другом, обещался выслать ей деньги на поездку в Сибирь и кончил следующими словами: «Целую твои хорошенькие ручки; у здешних девушек таких ручек нету; да и головы их не чета твоей, и сердца тоже... Читай книжки, которые я тебе подарил, и помни меня, а я тебя не забуду. Ты одна, одна меня любила: так и я ж тебе одной принадлежать хочу...»

— Я вижу, он к вам очень был привязан,— сказал я, возвращая ей письма.

— Они меня очень любили,— возразила Маша, тщательно укладывая письма в карман, и слезы тихонько потекли по ее щекам.— Я всегда на них надеялась; если б господь продлил им веку, они бы не оставили меня. Дай бог им царство небесное!..

Она утерла глаза кончиком платка.

— Где же вы теперь живете? — спросил я.

— Теперь я здесь, в Москве; приехала с барыней, а теперь без места. К Яков Иванычевой тетеньке ходила, да они сами очень бедны. Мне Яков Иваныч часто об вас говаривали-с,— прибавила она, вставая и кланяясь,— они очень вас всегда любили и помнили. Я вот Елисея Тимофеича третьего дня встретила и подумала: не захотите ли вы помочь мне, так как я без места теперь стала...

— С большим удовольствием, Марья... позвольте спросить, как вас по отчеству?

— Петрова,— ответила Маша и потупилась.

— Все сделаю для вас, что могу, Марья Петровна,— продолжал я,— мне жаль только, что я здесь проездом, мало знаю домов хороших.

Маша вздохнула.

— Мне хоть бы какое-нибудь место-с... Кроить я не умею, а сшить, так все сошью... ну, за детьми ходить тоже могу.

«Денег ей дать,— подумал я,— но как это сделать?»

— Послушайте, Марья Петровна,— начал я не без замешательства,— вы, пожалуйста, извините меня, но вы

из слов Пасынкова знаете, как я был с ним дружен... Не позволите ли вы мне предложить вам... на первый случай небольшую сумму?..

Маша взглянула на меня.

— Чего-с? — спросила она.

— Не нужно ли вам денег? — проговорил я.

Маша покраснела вся и наклонила голову.

— На что мне деньги? — прошептала она.— Лучше мне место достаньте-с.

— Место я вам постараюсь достать, но наверное отвечать не могу; а вам грешно совеститься, право... Ведь я для вас не чужой какой-нибудь... Примите это от меня на память о нашем друге...

Я отвернулся, поспешно достал из бумажника несколько ассигнаций и подал ей.

Маша стояла неподвижно, еще ниже потупив голову...

— Возьмите же,— твердил я.

Она тихо возвела на меня свои глаза, посмотрела мне в лицо печальным взором, тихо высвободила бледную руку из-под платка и протянула ее мне.

Я положил ассигнации на ее холодные пальцы. Она молча спрятала руку опять под платок и опустила глаза.

— Вы и вперед, Марья Петровна,— продолжал я,— если вам что-нибудь будет нужно, пожалуйста, обращайтесь прямо ко мне. Я вам доставлю мой адрес.

— Покорно благодарствуйте-с,— проговорила она и, помолчав немного, прибавила: — Они с вами обо мне не говорили-с?

— Я с ним встретился накануне его смерти, Марья Петровна. Впрочем, не помню... кажется, говорил.

Маша провела рукой по волосам, слегка подперла щеку, подумала и, сказав: «Прощайте-с», пошла вон из комнаты.

Я сел у стола и принялся думать горькую думу. Эта Маша, ее сношения с Пасынковым, его письма, скрытая любовь к нему сестры Софьи Николаевны... «Бедняк! бедняк!» — шептал я, тяжело вздыхая. Я вспомнил всю жизнь Пасынкова, его детство, его молодость, фрейлейн Фридерику... «Вот,— думал я,— много дала тебе судьба! многим тебя порадовала!»

На другой день я опять пошел к Софье Николаевне. Меня заставили подождать в передней, и, когда я вошел, Лидия уже сидела рядом с своею матерью. Я по-

нял, что Софья Николаевна не желала возобновлять вчерашнего разговора.

Мы начали толковать — право, не помню о чем, о городских случаях, о делах... Лидия часто ввертывала свое словечко и лукаво на меня посматривала. Забавная важность проявлялась вдруг на ее подвижном личике... Умная девочка, должно быть, догадывалась, что мать нарочно посадила ее подле себя.

Я встал и начал прощаться. Софья Николаевна проводила меня до двери.

— Я вам ничего не отвечала вчера,— сказала она, остановясь на пороге,— да и что было отвечать? Наша жизнь не от нас зависит; но у нас у всех есть один якорь, с которого, если сам не захочешь, никогда не сорвешься: чувство долга.

Я безмолвно наклонил голову в знак согласия и простился с молодой пуританкой.

Весь этот вечер остался я дома, но я не думал о ней: я думал, все думал о моем милом, незабвенном Пасынкове — об этом последнем из романтиков, и чувства, то грустные, то нежные, проникали с сладостной болью в грудь мою, звучали в струнах еще не совсем устаревшего сердца... Мир праху твоему, непрактический человек, добродушный идеалист! И дай бог всем практическим господам, которым ты всегда был чужд и которые, может быть, даже посмеются теперь над твоею тенью, дай им бог изведать хотя сотую долю тех чистых наслаждений, которыми, наперекор судьбе и людям, украсилась твоя бедная и смиренная жизнь!

1855

СТЕПНОЙ КОРОЛЬ ЛИР

Нас было человек шесть, собравшихся в один зимний вечер у старинного университетского товарища. Беседа зашла о Шекспире, об его типах, о том, как они глубоко и верно выхвачены из самых недр человеческой «сути». Мы особенно удивлялись их жизненной правде, их вседневности; каждый из нас называл тех Гамлетов, тех Отелло, тех Фальстафов, даже тех Ричардов Третьих и Макбетов (этих последних, правда, только в возможности), с которыми ему пришлось сталкиваться.

— А я, господа,— воскликнул наш хозяин, человек уже пожилой,— знавал одного короля Лира!

— Как так? — спросили мы его.

— Да так же. Хотите, я расскажу вам?

— Сделайте одолжение.

И наш приятель немедленно приступил к повествованию.

I

«Все мое детство,— начал он,— и первую молодость до пятнадцатилетнего возраста я провел в деревне, в имении моей матушки, богатой помещицы ...й губернии. Едва ли не самым резким впечатлением того уже далекого времени осталась в моей памяти фигура нашего ближай-

шего соседа, некоего Мартына Петровича Харлова. Да и трудно было бы изгладиться тому впечатлению: ничего подобного Харлову я уже в жизни потом не встречал. Представьте себе человека росту исполинского! На громадном туловище сидела, несколько искоса, без всякого признака шеи, чудовищная голова; целая копна спутанных, желто-седых волос вздымалась над нею, зачинаясь чуть не от самых взъерошенных бровей. На обширной площади сизого, как бы облупленного, лица торчал здоровенный, шишковатый нос, надменно топорщились крошечные голубые глазки, и раскрывался рот, тоже крошечный, но кривой, растресканный, одного цвета с остальным лицом. Голос из этого рта выходил хотя сиплый, но чрезвычайно крепкий и зычный... Звук его напоминал лязг железных полос, везомых в телеге по дурной мостовой — и говорил Харлов, точно кричал кому-то в сильный ветер через широкий овраг. Трудно было сказать, что именно выражало лицо Харлова, так оно было пространно... Одним взглядом его, бывало, и не окинешь! Но неприятно оно не было — некоторая даже величавость замечалась в нем, только уж очень оно было дивно и необычно. И что у него были за руки — те же подушки! Что за пальцы, что за ноги! Помнится, я без некоторого почтительного ужаса не мог взирать на двухаршинную спину Мартына Петровича, на его плечи, подобные мельничным жерновам; но особенно поражали меня его уши! Совершенные калачи — с завертками и выгибами; щеки так и приподнимали их с обеих сторон. Носил Мартын Петрович — и зиму и лето — казакин из зеленого сукна, подпоясанный черкесским ремешком, и смазные сапоги; галстуха я никогда на нем не видал, да и вокруг чего подвязал бы он галстух? Дышал он протяжно и тяжко, как бык, но ходил без шума. Можно было подумать, что, попавши в комнату, он постоянно боялся все перебить и опрокинуть, и потому передвигался с места на место осторожно, все больше боком, словно крадучись. Силой он обладал истинно геркулесовской и вследствие этого пользовался большим почетом в околотке: народ наш до сих пор благоговеет перед богатырями. Про него даже сложились легенды: рассказывали, что он однажды в лесу встретился с медведем и чуть не поборол его; что, застав у себя на пасеке чужого мужика-вора, он его вместе с телегой и лошадью перебросил через плетень, и тому подобное. Сам Харлов никогда не хвастался своей силой.

«Коли десница у меня благословенная,— говаривал он,— так на то была воля божия!» Он был горд: только не силою своею он гордился, а своим званием, происхождением, своим умом-разумом.

— Наш род от вшеда (он так выговаривал слово швед); от вшеда Харлуса ведется,— уверял он,— в княжение Ивана Васильевича Темного (вон оно когда!) приехал в Россию; и не пожелал тот вшед Харлус быть чухонским графом — а пожелал быть российским дворянином и в золотую книгу записался. Вот мы, Харловы, откуда взялись!.. И по той самой причине мы все, Харловы, урождаемся белокурые, очами светлые и чистые лицом! потому снеговики́!

— Да, Мартын Петрович,— попытался я было возразить ему,— Ивана Васильевича Темного не было вовсе, а был Иван Васильевич Грозный. Темным прозывался великий князь Василий Васильевич.

— Ври еще! — спокойно ответил мне Харлов,— коли я говорю, стало оно так!

Однажды матушка вздумала похвалить его в глаза за его действительно замечательное бескорыстие.

— Эх, Наталья Николаевна! — промолвил он почти с досадой,— нашли за что хвалить! Нам, господам, нельзя инако; чтоб никакой смерд, земец, подвластный человек и думать о нас худого не дерзнул! Я — Харлов, фамилию свою вон откуда веду... (тут он показал пальцем куда-то очень высоко над собою в потолок) и чести чтоб во мне не было?! Да как это возможно?

В другой раз вздумалось гостившему у моей матушки заезжему сановнику подтрунить над Мартыном Петровичем. Тот опять заговорил о вшеде Харлусе, который выехал в Россию...

— При царе Горохе? — перебил сановник.

— Нет, не при царе Горохе, а при великом князе Иване Васильевиче Темном.

— А я так полагаю,— продолжал сановник,— что род ваш гораздо древнее и восходит даже до времен допотопных, когда водились еще мастодонты и мегалотерии...

Эти ученые термины были совершенно неизвестны Мартыну Петровичу; но он понял, что сановник трунит над ним.

— Может быть,— брякнул он,— наш род точно очень древний; в то время как мой пращур в Москву прибыл, сказывают, жил в ней дурак не хуже вашего пре-

восходительства, а такие дураки нарождаются только раз в тысячу лет.

Сановник взбеленился, а Харлов качнул головой назад, выставил подбородок, фыркнул, да и был таков. Дня два спустя он снова явился. Матушка начала упрекать его. «Урок ему, сударыня,— перебил Харлов,— не наскакивай зря, спросись прежде, с кем дело имеешь. Млад еще больно, учить его надо». Сановник был почти одних лет с Харловым; но этот исполин привык всех людей считать недорослями. Очень уж он на себя надеялся и решительно никого не боялся. «Разве мне могут что сделать? Где такой человек на свете есть?» — спрашивал он и вдруг принимался хохотать коротким, но оглушительным хохотом.

II

Матушка моя была очень разборчива на знакомства, но Харлова принимала с особенным радушием и многое ему спущала: он, лет двадцать пять тому назад, спас ей жизнь, удержав ее карету на краю глубокого оврага, куда лошади уже свалились. Постромки и шлеи порвались, а Мартын Петрович так и не выпустил из рук схваченного им колеса — хотя кровь брызнула у него из-под ногтей. Матушка моя и женила его: она выдала за него семнадцатилетнюю сироту, воспитанную у ней в доме; ему тогда минуло сорок лет. Жена Мартына Петровича была собой тщедушна, он, говорят, на ладони внес ее к себе в дом, и пожила она с ним недолго; однако родила ему двух дочерей. Матушка моя и после ее смерти продолжала оказывать покровительство Мартыну Петровичу; она поместила старшую дочь его в губернский пансион, потом сыскала ей мужа — и уже имела другого на примете для второй. Харлов был хозяин порядочный, землицы за ним водилось десятин с триста, и обстроился он помаленьку, а уж как крестьяне ему повиновались,— об этом и толковать нечего! По тучности своей Харлов почти никогда не ходил пешком: земля его не носила. Он всюду разъезжал на низеньких беговых дрожках и сам правил лошадью, чахлой, тридцатилетней кобылой, со шрамом от раны на плече: эту рану она получила в бородинском сражении под вахмистром кавалергардского полка. Лошадь эта постоянно хромала как-то на все четыре ноги разом; идти шагом она не могла, а только перетрусывала рысцой, вприпрыжку; ела она чернобыль-

ник и полынь по межам, чего я ни за какой другой лошадью не замечал. Помнится, я всегда недоумевал, как могла эта полуживая кляча возить такую страшную тяжесть. Я не смею повторить, сколько в нашем соседе насчитывали пудов. За спиной Мартына Петровича помещался на беговых дрожках его черномазый казачок Максимка. Прижавшись всем телом и лицом к своему барину и упираясь босыми ногами в заднюю ось дрожек, он казался листиком или червяком, случайно приставшим к воздвигавшейся перед ним исполинской туше. Тот же казачок раз в неделю брил Мартына Петровича. Для исполнения этой операции он, говорят, становился на стол; иные шутники уверяли, что он принужден был бегать вокруг подбородка своего барина. Харлов не любил подолгу сидеть дома, и потому его частенько можно было видеть разъезжающим в своем неизменном экипаже, с вожжами в одной руке (другою он хватски, с вывертом локтя, опирался на колено), с крошечным старым картузом на самом верху головы. Он бодро посматривал кругом своими медвежьими глазенками, окликал громовым голосом всех встречных мужиков, мещан, купцов; попам, которых очень не любил, посылал крепкие посулы и однажды, поравнявшись со мною (я вышел прогуляться с ружьем), так заатукал на лежавшего возле дороги зайца, что стон и звон стояли у меня в ушах до самого вечера.

III

Матушка моя, как я уже сказал, радушно принимала Мартына Петровича; она знала, какое глубокое уважение он питал к ее особе. «Барыня! госпожа! Нашего поля ягодка»,— так отзывался он о ней. Он величал ее благодетельницей, а она видела в нем преданного великана, который не усомнился бы пойти за нее один на целую ватагу мужиков; и хотя не предвиделось даже возможности подобного столкновения, однако, по понятиям матушки, при отсутствии мужа (она рано овдовела) таким защитником, как Мартын Петрович, брезгать не следовало. Притом же человек он был прямой, ни в ком не заискивал, денег не занимал, вина не пил — и глуп тоже не был, хотя образования не получил никакого. Матушка доверяла Мартыну Петровичу. Когда ей вздумалось составить духовное завещание, она потребовала его в свидетели, и он нарочно ездил домой за железными круглы-

ми очками, без которых писать не мог; и с очками-то на носу он едва-едва, в течение четверти часа, пыхтя и отдуваясь, успел начертать свой чин, имя, отчество и фамилию, причем буквы ставил огромные, четырехугольные, с титлами и хвостами, а совершив свой труд, объявил, что устал и что ему — что писать, что блох ловить — все едино. Да, матушка его уважала... однако дальше столовой его у нас не пускали. Уж очень сильный шел от него дух: землей отдавало от него, лесным дромом, тиной болотной. «Как есть леший!» — уверяла моя старая няня. К обеду Мартыну Петровичу ставили в углу особый стол — и он этим не обижался — он знал, что другим неловко было сидеть с ним рядом — да и ему было привольнее есть: а ел он так, как, я полагаю, не едал никто со времен Полифэма. Для него всегда в самом начале обеда припасали, в видах предосторожности, горшок каши фунтов в шесть: «А то ведь ты меня объешь!» — говаривала матушка. «И то, сударыня, объем!» — отвечал, ухмыляясь, Мартын Петрович.

Матушка любила слушать его рассуждения о какомнибудь хозяйственном предмете; но долго не могла выдерживать его голос.

— Что это, мой батюшка! — восклицала она,— ты бы от этого хоть полечился, что ли! Совсем оглушил меня. Этакая труба!

— Наталья Николаевна! Благодетельница! — отвечал обыкновенно Мартын Петрович.— Я в своей гортани не волен. Да и какое лекарство меня пронять может — извольте посудить? Я вот лучше помолчу маленечко.

Действительно, я полагаю, никакое лекарство не могло бы пронять Мартына Петровича. Он же никогда и болен не бывал.

Рассказывать он не умел и не любил. «От долгих речей одышка бывает»,— замечал он с укоризной. Только когда его наводили на двенадцатый год (он служил в ополчении и получил бронзовую медаль, которую по праздникам носил на владимирской ленточке), когда его расспрашивали про французов, он сообщал кой-какие анекдоты, хотя постоянно уверял притом, что никаких французов, настоящих, в Россию не приходило, а так, мародеришки с голодухи набежали, и что он много этой швали по лесам колачивал.

IV

А между тем и на этого несокрушимого, самоуверенного исполина находили минуты меланхолии и раздумья. Без всякой видимой причины он вдруг начинал скучать; запирался один к себе в комнату и гудел — именно гудел, как целый пчелиный рой; либо призывал казачка Максимку и приказывал ему или читать вслух из единственной, забредшей к нему в дом книги, разрозненного тома новиковского «Покоющегося Трудолюбца», или петь. И Максимка, который, по странной игре случая, умел читать по складам, принимался, с обычным перерубанием слов и перестановлением ударений, выкрикивать фразы, вроде следующей: «Но человек страстный выводит из сего пустого места, которое он находит в тварях, совсем противные следствия. Каждая тварь особо, ска-зывает он, не сильна сделать меня счас-тливым!» и т. д.[1] или затягивал тончайшим голоском заунывную песенку, в которой только можно было разобрать, что: «И... и... э... и... э... и... Ааа... ска!.. О... у... у... би... и... и... и... ла!» А Мартын Петрович качал головою, упоминал о бренности, о том, что все пойдет прахом, увянет, яко былие; прейдет — и не будет! Попалась ему как-то картинка, изображавшая горящую свечу, в которую со всех сторон, напрягши щеки, дуют ветры; внизу стояла подпись: «Такова жизнь человеческая!» Очень понравилась ему эта картинка; он повесил ее у себя в кабинете; но в обыкновенное, не меланхолическое, время перевертывал ее лицом к стене, чтобы не смущала. Харлов, этот колосс, боялся смерти! К помощи религии, к молитве он, впрочем, и в припадке меланхолии прибегал редко; он и тут больше надеялся на свой собственный ум. Набожности в нем особенной не было; его в церкви не часто видали; правда, он говорил, что не ходит туда по той будто причине, что по размеру тела своего боится выдавить всех вон. Припадок обыкновенно кончался тем, что Мартын Петрович начнет посвистывать — и вдруг громогласным голосом прикажет заложить себе дрожки и покатит куда-нибудь по соседству, не без удали потрясая свободной

---

[1] «Покоющийся Трудолюбец», периодическое издание и т. д. Москва, 1785 г. Часть 3-я. Стран. 23, строка 11 сверху. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

рукою над козырьком картуза, как бы желая сказать, что нам, мол, теперь все — трын-трава! Русский был человек.

V

Силачи, подобные Мартыну Петровичу, бывают большей частью нрава флегматического; он, напротив того, довольно легко раздражался. Особенно выводил его из терпения приютившийся в нашем доме, в качестве не то шута, не то нахлебника — брат его покойной жены — некто Бычков, с младых ногтей прозванный Сувениром и так уже оставшийся Сувениром для всех, даже для слуг, которые, правда, величали его Сувениром Тимофеичем. Настоящего своего имени он, кажется, и сам не знал. Это был человек мизерный, всеми презираемый: приживальщик, одним словом. С одной стороны рта у него недоставало всех зубов, отчего его маленькое, морщинистое лицо казалось искривленным. Он вечно суетился, егозил: в девичью заберется или в контору, на слободку к попам, а не то к старосте в избу; отовсюду его гонят, а он только пожимается, да щурит свои косые глазки, да смеется дрянно, жидко, точно бутылку полощет. Мне всегда казалось, что, будь у Сувенира деньги, самый бы скверный человек из него вышел, безнравственный, злой, даже жестокий. Бедность поневоле его «сократила». Пить позволялось ему только в праздники. Одевали его прилично, по приказанию матушки, так как он по вечерам составлял ее партию в пикет или бостон. Сувенир то и дело твердил: «Я вот, позвольте, я чичас, чичас».— «Да что *чичас?*» — с досадой спросит его матушка. Он мгновенно откинет руки назад, струсит и лепечет: «Как прикажете-с!» Под дверями послушать, посплетничать, а главное: «шпынять», дразнить — другой у него заботы не было — и «шпынял» он так, как будто имел на то право, как будто мстил за что-то. Мартына Петровича он звал братцем и надоедал ему пуще горькой редьки. «Вы сестрицу Маргариту Тимофеевну за что уморили?» — приставал он к нему, вертясь перед ним и хихикая. Однажды Мартын Петрович сидел в биллиардной, прохладной комнате, в которой никто никогда ни одной мухи не видал и которую сосед наш, враг жары и солнца,— оттого очень жаловал. Сидел он между стеной и биллиардом. Сувенир шмыгал мимо его «чрева», дразнил его, кривлялся... Мартын Петрович хотел оттолкнуть его — и двинул обе-

ими руками вперед. К счастью Сувенира, он успел увернуться — ладони его братца пришлись в упор о край биллиарда,— и со всех шести винтов слетел тяжелый деревенский биллиард... В какую лепешку превратился бы Сувенир, если б попал под эти мощные руки!

VI

Я давно любопытствовал посмотреть, как устроил свое жилище Мартын Петрович, что у него за дом? Однажды я вызвался проводить его верхом до Еськова (так называлось его имение). «Вишь ты! Хочешь посмотреть мою державу,— промолвил Мартын Петрович.— Изволь! И сад покажу, и дом, и гумно — и все. У меня всякого добра много!» Мы отправились. От нашего села до Еськова считалось всего версты три. «Вот она, моя держава! — загремел вдруг Мартын Петрович, силясь обернуть свою неподвижную голову и разводя рукой направо и налево.— Все мое!» Усадьба Харлова находилась на вершине пологого холма; внизу к небольшому пруду лепилось несколько плохих мужичьих избенок. У пруда, на плоту, старая баба в клетчатой паневе колотила вальком скрученное белье.

— Аксинья! — гаркнул Мартын Петрович, да так, что грачи стаей взвились из соседнего овсяного поля...— Мужу портки моешь?

Баба разом обернулась и поклонилась в пояс.

— Портки, батюшка,— послышался ее слабый голос.

— То-то! Вот посмотри,— продолжал Мартын Петрович, пробираясь рысцой вдоль полусгнившего плетня,— это моя конопля; а та вон — крестьянская; разницу видишь? А вот это мой сад; яблони я понасажал, и ракиты — тоже я. А то тут и древа никакого не было. Вот так-то — учись.

Мы завернули на двор, огороженный тыном; прямо против ворот возвышался ветхий-ветхий флигелек с соломенной крышей и крылечком на столбиках; в стороне стоял другой, поновей, и с крохотным мезонином — но тоже на курьих ножках. «Вот ты опять учись,— промолвил Харлов,— вишь, отцы-то наши в какой хороминке жили; а теперь я вона какие палаты себе соорудил». Палаты эти походили на карточный домик. Собак пять-шесть, одна другой лохматей и безобразней, приветствовали нас лаем. «Овчары! — заметил Мартын Петрович.—

Настоящие крымские! Цыц, оглашенные! Вот возьму — да всех перевешаю». На крыльце нового флигелька показался молодой человек в длинном нанковом балахоне, муж старшей дочери Мартына Петровича. Проворно подскочив к дрожкам, он почтительно поддержал под локоть слезавшего тестя — и даже одной рукой сделал пример, будто подхватывает исполинскую ногу, которую тот, наклонясь вперед туловищем, заносил с размаху через сидение; потом он помог мне сойти с лошади.

— Анна! — воскликнул Харлов,— Натальи Николаевнин сынок к нам пожаловал; попоштовать его надо. Да где Евлампиюшка? (Анной звали старшую дочь, Евлампией — меньшую.)

— Дома нет; в поле за васильками пошла,— отозвалась Анна, показавшись в окошке возле двери.

— Творог есть? — спросил Харлов.

— Есть.

— И сливки есть?

— Есть.

— Ну, тащи на стол, а я им пока кабинет свой покажу. Пожалуйте сюда, сюда,— прибавил он, обратясь ко мне и зазывая меня указательным пальцем. У себя в доме он меня не «тыкал»: надо ж хозяину быть вежливым. Он повел меня по коридору.— Вот где я пребываю,— промолвил он, шагнув боком через порог широкой двери,— а вот и мой кабинет. Милости просим!

Кабинет этот оказался большой комнатой, неоштукатуренной и почти пустой; по стенам, на неровно вбитых гвоздях, висели две нагайки, трехугольная порыжелая шляпа, одноствольное ружье, сабля, какой-то странный хомут с бляхами и картина, изображающая горящую свечу под ветрами; в одном углу стоял деревянный диван, покрытый пестрым ковром. Сотни мух густо жужжали под потолком; впрочем, в комнате было прохладно; только очень сильно разило тем особенным лесным запахом, который всюду сопровождал Мартына Петровича.

— Что ж, хорош кабинет? — спросил меня Харлов.

— Очень хорош.

— Ты посмотри, вон у меня голландский хомут висит,— продолжал Харлов, снова впадая в «тыкание».— Чудесный хомут! у жида выменял. Ты погляди-ка!

— Хомут хороший.

— Самый хозяйственный! Да ты понюхай... какова кожа!

Я понюхал хомут. От него несло прелой вóрванью — и больше ничего.

— Ну, присядьте — вот там на стульчике, будьте гости,— промолвил Харлов, а сам опустился на диван и словно задремал, закрыл глаза, засопел даже. Я молча глядел на него и не мог довольно надивиться: гора — да и полно! Он вдруг встрепенулся.

— Анна! — закричал он, и при этом его громадный живот приподнялся и опал, как волна на море,— что ж ты? Поворачивайся! Аль не слыхала?

— Все готово, батюшка, пожалуйте,— раздался голос его дочери.

Я внутренно подивился быстроте, с которой исполнялись повеления Мартына Петровича, и отправился за ним в гостиную, где на столе, покрытом красной скатертью с белыми разводами, уже была приготовлена закуска: творог, сливки, пшеничный хлеб, даже толченый сахар с имбирем. Пока я управлялся с творогом, Мартын Петрович ласково пробурчал: «Кушай, дружок, кушай, голубчик, не брезгай нашей деревенской снедью»,— опять присел в углу и опять словно задремал. Предо мной, неподвижно, с опущенными глазами, стояла Анна Мартыновна, а в окно я мог видеть, как ее муж проваживал по двору моего клеппера, собственными руками перетирая цепочку трензеля.

VII

Матушка моя не жаловала старшей дочери Харлова; она называла ее гордячкой. Анна Мартыновна почти никогда не являлась к нам на поклон и в присутствии матушки держалась чинно и холодно, хотя по ее милости и в пансионе обучалась, и замуж вышла, и в день свадьбы получила от нее тысячу рублей ассигнациями да желтую турецкую шаль, правда несколько поношенную. Это была женщина росту среднего, сухощавая, очень живая и проворная в своих движениях, с русыми густыми волосами, с красивым смуглым лицом, на котором несколько странно, но приятно выдавались бледно-голубые узкие глаза; нос она имела прямой и тонкий, губы тоже тонкие и подбородок «шпилькой». Всякий, взглянув на нее, наверное, подумал бы: «Ну, какая же ты умница — и злюка!» И со всем тем в ней было что-то привлекательное; даже темные родинки, рассыпанные «гречишкой» по ее лицу, шли

к ней и усиливали чувство, которое она возбуждала. Подсунув под косынку руки, она украдкой — сверху вниз (я сидел, она стояла) — посматривала на меня; недобрая улыбка бродила по ее губам, по щекам, в тени длинных ресниц. «Ох ты, балованный барчонок!» — словно говорила эта улыбка. Всякий раз, когда она дышала, у ней ноздри слегка расширялись — это тоже было несколько странно; но все-таки мне казалось, что полюби меня Анна Мартыновна или только захоти поцеловать меня своими тонкими жесткими губами,— я бы от восторга до потолка подпрыгнул. Я знал, что она была очень строга и взыскательна, что бабы и девки боялись ее как огня — но что за дело! Анна Мартыновна тайно волновала мое воображение... Впрочем, мне тогда только минуло пятнадцать лет,— а в эти годы!..

Мартын Петрович опять встрепенулся.

— Анна! — крикнул он,— ты бы на фортепьянах побренчала... Молодые господа это любят.

Я оглянулся: в комнате стояло какое-то жалкое подобие фортепьян.

— Слушаю, батюшка,— ответила Анна Мартыновна.— Только что же я им буду играть? Им это не будет интересно.

— Так чему ж тебя обучали в *пинсионе?*

— Я все перезабыла... да и струны полопались.

Голосок у Анны Мартыновны был очень приятный, звонкий и словно жалобный... вроде того, какой бывает у хищных птиц.

— Ну,— проговорил Мартын Петрович и задумался.— Ну,— начал он опять,— так не хотите ли гумно посмотреть, полюбопытствовать? Вас Володька проводит.— Эй, Володька! — крикнул он своему зятю, который все еще расхаживал по двору с моею лошадью,— проводи вот их на гумно... и вообще... покажь мое хозяйство. А мне соснуть надо! Так-то! Счастливо оставаться!

Он вышел вон, и я за ним. Анна Мартыновна тотчас стала проворно и как бы с досадой убирать со стола. На пороге двери я обернулся и поклонился ей; но она словно не заметила моего поклона, только опять улыбнулась, да еще злее прежнего.

Я взял у харловского зятя мою лошадь и повел ее в поводу. Мы вместе с ним пошли на гумно,— но так как ничего в нем особенно любопытного не открыли, притом же он во мне, как в молодом мальчике, не мог предпола-

гать отменную любовь к хозяйству,— то мы и вернулись через сад на дорогу.

VIII

Я хорошо знал харловского зятя: звали его Слёткиным, Владимиром Васильевичем; он был сирота, сын мелкого чиновника, поверенного по делам у матушки, и ее воспитанник. Сперва поместили его в уездное училище, потом он поступил в «вотчинную контору», потом записали его на службу по казенным магазинам и, наконец, женили на дочери Мартына Петровича. Матушка называла его жиденком, и он действительно своими курчавыми волосиками, своими черными и вечно мокрыми, как вареный чернослив, глазами, своим ястребиным носом и широким красным ртом напоминал еврейский тип; только цвет кожи он имел белый и был вообще весьма недурен собою. Нрава он был услужливого, лишь бы дело не касалось его личной выгоды. Тут он тотчас терялся от жадности, до слез даже доходил; из-за тряпки готов канючить целый день, сто раз напомнит о данном обещании, и обижается, и пищит, если оно не тотчас исполняется. Он любил таскаться по полям с ружьем; и когда случалось ему залучить зайца или утку, с особенным чувством клал свою добычу в ягдташ, приговаривая: «Ну, теперь шалишь, не уйдешь! Теперь *мне* послужишь!»

— Добрый конек у вас,— заговорил он своим шепелявым голосом, помогая мне взобраться на седло,— вот бы мне такую лошадку! Да где! Счастье мое не такое. Хоть бы вы матушку вашу попросили... напомнили.

— А она вам обещала?

— Кабы обещала! Нет; но я полагал, что по великому ее благодушеству...

— Вы бы к Мартыну Петровичу обратились.

— К Мартыну Петровичу! — повторил протяжно Слёткин.— Для него — что я, что какой-нибудь ничтожный казачок Максимка — все едино. Как есть в черном теле нас содержит, и никакой от него награды не видать за все труды.

— Неужели?

— Да, ей-богу же. Как скажет: «Мое слово свято!»— ну, вот точно топором отрубит. Проси, не проси — все едино. Да и Анна Мартыновна, супруга моя, такого авантажа перед ним не имеет, как Евлампия Мартыновна.

— Ах, господи боже мой, батюшки! — перебил он вдруг самого себя и с отчаянием всплеснул руками.— Посмотрите: что это? Целый полуосьминник овса, нашего овса, какой-то злодей выкосил. Каков?! Вот тут и живи! Разбойники, разбойники! Вот уж точно правду говорят, что не верь Еськову, Беськову, Ерину, Белину (так назывались четыре окрестные деревни). Ах, ах, что это! Рубля, почитай, на полтора, а то и на два — убытку!

В голосе Слёткина слышались чуть не рыданья. Я толкнул лошадь под бока и поехал от него прочь.

Восклицания Слёткина еще долетали до моего слуха, как вдруг, на повороте дороги, попалась мне та самая вторая дочь Харлова, Евлампия, которая, по словам Анны Мартыновны, ушла в поле за васильками. Густой венок из этих цветов обвивал ее голову. Мы обменялись поклонами молча. Евлампия была тоже очень недурна собой, не хуже сестры, но только в другом роде. Росту она была высокого, сложения дородного; все в ней было велико: и голова, и ноги, и руки, и белые, как снег, зубы, и особенно глаза, выпуклые, с поволокой, темно-синие, как стеклярус; все в ней было даже монументально (недаром она доводилась Мартыну Петровичу дочкой), но красиво. Белокурую густую косу она, видимо, не знала куда деть и раза три обматывала ее вокруг темени. Рот у ней был прелестный, свежий как розан, малинового цвета, и когда она говорила, середина верхней губы очень мило приподнималась. Но во взгляде ее огромных глаз было что-то дикое и почти суровое. «Вольница, казачья кровь»,— так отзывался о ней Мартын Петрович. Я побаивался ее... Мне эта осанистая красавица напоминала своего батюшку.

Я отъехал еще немного дальше и услышал, что она запела ровным, сильным, несколько резким, прямо крестьянским голосом, потом она вдруг умолкла. Я оглянулся и с вершины холма увидел ее, стоявшую возле харловского зятя перед скошенным осьминником овса. Тот размахивал и указывал руками, а она не шевелилась. Солнце освещало ее высокую фигуру, и ярко голубел васильковый венок на ее голове.

IX

Я уже, кажется, сказывал вам, господа, что и для этой второй дочери Харлова матушка моя припасла же-

ниха. То был один из самых бедных наших соседей, отставной армейский майор Житков, Гаврило Федулыч, человек уже немолодой и — как он сам выражался, не без самодовольства, впрочем, и словно рекомендуя себя — «битый да ломаный». Он едва разумел грамоте и очень был глуп, но втайне надеялся попасть к моей матушке в управляющие, ибо чувствовал себя «исполнителем». «Что другое-с, а зубьё считать у мужичья — это я до тонкости понимаю,— говаривал он, чуть не скрипя собственными зубами,— потому — привык,— пояснял он,— в прежней моей, значит, должности». Будь Житков меньше глуп, он бы понял, что именно в управляющие к матушке попасть не предстояло ему никаких шансов, так как для этого нужно было сместить настоящего управляющего, некоего Квицинского, весьма характерного и дельного поляка, которому матушка вполне доверяла. Лицо у Житкова было длинное, лошадиное; оно все обросло пыльно-белокурыми волосами, даже щеки под глазами все заросли; в самые сильные морозы оно было покрыто обильным пóтом, словно росинками. При виде матушки он немедленно вытягивался в струнку, голова его начинала дрожать от усердия, огромные руки слегка похлопывали по ляжкам, и вся фигура, казалось, так и взывала: «Повели!.. и я устремлюсь!» Матушка не обманывалась насчет его способностей, что не мешало ей, однако, заботиться об его свадьбе с Евлампией.

— Только сладишь ли ты с ней, отец мой? — спросила она его однажды.

Житков самодовольно улыбался.

— Помилуйте, Наталья Николаевна! Целую роту в порядке содержал, по струнке ходили, а это что же-с? Плевое дело.

— То рота, отец мой, а то девушка благородная, жена,— заметила матушка с неудовольствием.

— Помилуйте-с! Наталья Николаевна! — снова воскликнул Житков.— Это мы все очень понять можем. Одно слово: барышня, особа нежная!

— Ну! — решила наконец матушка,— Евлампия себя в обиду не даст.

X

Однажды — дело было в июне месяце и день склонялся к вечеру — человек доложил о приезде Мартына Петровича. Матушка удивилась: мы его более недели не ви-

дали, но он никогда так поздно не посещал нас. «Что-нибудь случилось!» — воскликнула она вполголоса. Лицо Мартына Петровича, когда он ввалился в комнату и тотчас же опустился на стул возле двери, имело такое необычайное выражение, оно так было задумчиво и даже бледно, что матушка моя невольно и громко повторила свое восклицание. Мартын Петрович уставил на нее свои маленькие глаза, помолчал, вздохнул тяжело, помолчал опять и объявил наконец, что приехал по одному делу... которое... такого рода, что по причине...

Пробормотав эти несвязные слова, он вдруг поднялся и вышел.

Матушка позвонила, велела вошедшему лакею тотчас догнать и непременно воротить Мартына Петровича, но тот уже успел сесть на свои дрожки и убраться.

На следующее утро матушка, которую странный поступок Мартына Петровича и необычайное выражение его лица одинаково изумили и даже смутили, собиралась было послать к нему нарочного, как он сам опять появился перед нею. На этот раз он казался спокойнее.

— Сказывай, батюшка, сказывай,— воскликнула матушка, как только увидела его,— что это с тобою поделалось? Я, право, вчера подумала: господи! — подумала я,— уж не рехнулся ли старик наш в рассудке своем?

— Не рехнулся я, сударыня, в рассудке своем,— отвечал Мартын Петрович,— не таковский я человек. Но мне нужно с вами посоветоваться.

— О чем?

— Только сомневаюсь я, будет ли вам сие приятно...

— Говори, говори, отец, да попроще. Не волнуй ты меня! К чему тут *сие*? Говори проще. Али опять меланхолия на тебя нашла?

Харлов нахмурился.

— Нет, не меланхолия — она у меня к новолунию бывает; а позвольте вас спросить, сударыня, вы о смерти как полагаете?

Матушка всполохнулась.

— О чем?

— О смерти. Может ли смерть кого ни на есть на сем свете пощадить?

— Это ты еще что вздумал, отец мой? Кто из нас бессмертный? Уж на что ты великан уродился — и тебе конец будет.

— Будет! ох, будет! — подхватил Харлов и потупил-

ся.— Случилось со мною сонное мечтание...— протянул он наконец.

— Что ты говоришь? — перебила его матушка.

— Сонное мечтание,— повторил он.— Я ведь сновидец!

— Ты?

— Я! А вы не знали? — Харлов вздохнул.— Ну, вот... Прилег я как-то, сударыня, неделю тому назад с лишком, под самые заговены к Петрову посту; прилег я после обеда отдохнуть маленько, ну и заснул! и вижу, будто в комнату ко мне вбег вороной жеребенок. И стал тот жеребенок играть и зубы скалить. Как жук вороной жеребенок.

Харлов умолк.

— Ну? — промолвила матушка.

— И как обернется вдруг этот самый жеребенок, да как лягнет меня в левый локоть, в самый как есть поджилок! Я проснулся — ан рука не действует и нога левая тоже. Ну, думаю, паралич; однако поразмялся и снова вошел в действие: только мурашки долго по суставцам бегали и теперь еще бегают. Как разожму ладонь, так и забегают.

— Да ты, Мартын Петрович, как-нибудь руку перележал.

— Нет, сударыня; не то вы изволите говорить! Это мне предостережение... К смерти моей, значит.

— Ну вот еще! — начала было матушка.

— Предостережение! Готовься, мол, человече! И потому, я, сударыня, вот что имею доложить вам, нимало не медля. Не желая,— закричал вдруг Харлов,— чтоб та самая смерть меня, раба божия, врасплох застала, положил я так-то в уме своем: разделить мне теперь же, при жизни, имение мое между двумя моими дочерьми, Анной и Евлампией, как мне господь бог на душу пошлет.— Мартын Петрович остановился, охнул и прибавил: — Нимало не медля.

— Что ж? Это дело хорошее,— заметила матушка,— только, я думаю, ты напрасно спешишь.

— И так как я желаю в сем деле,— продолжал, еще более возвысив голос, Харлов,— должный порядок и законность соблюсти, то покорнейше прошу вашего сыночка, Дмитрия Семеновича,— вас я, сударыня, обеспокоивать не осмеливаюсь,— прошу оного сыночка, Дмитрия Семеновича, родственнику же моему Бычкову в прямой долг вменяю — при совершении формального акта и вво-

да во владение моих двух дочерей, Анны замужней и Евлампии девицы, присутствовать; который акт имеет быть в действие введен послезавтра, в двенадцатом часу дня, в собственном моем имении Еськове, Козюлькине тож, при участии предержащих властей и чинов, кои уже суть приглашены.

Мартын Петрович едва окончил эту явно им наизусть затверженную и частыми вздохами прерванную речь... У него словно воздуха в груди недоставало: его побледневшее лицо снова побагровело, и он несколько раз утер с него пот.

— И ты уже составил раздельный акт? — спросила матушка.— Когда ты это успел?

— Успел... ох! Не пимши, не емши...

— Сам писал?

— Володька... ох! помогал.

— И прошение подал?

— Подал, и палата утвердила, и уездному суду предписано, и временное отделение земского суда... ох!.. к прибытию назначено.

Матушка усмехнулась.

— Ты, я вижу, Мартын Петрович, уже совсем, как следует, распорядился, и как скоро! Знать, денег не жалел?

— Не жалел, сударыня!

— То-то! А говоришь, что со мной посоветоваться желаешь. Что ж, пускай Митенька едет; я и Сувенира с ним отпущу, и Квицинскому скажу... А Гаврилу Федулыча ты не приглашал?

— Гаврила Федулыч... господин Житков... от меня такожде... извещен. Ему, как жениху, следует!

Мартын Петрович, видимо, истощил весь запас своего красноречия. Притом мне всегда казалось, что он как будто не совсем благоволил к жениху, приисканному моей матушкой; быть может, он ожидал более выгодной партии для своей Евлампиюшки. Он поднялся со стула и шаркнул ногою.

— За согласие благодарен!

— Куда же ты? — спросила матушка.— Посиди; я велю закуску подать.

— Много довольны,— отвечал Харлов.— Но не могу... Ох! нужно домой.

Он попятился и полез было, по своему обыкновению, боком в дверь.

— Постой, постой,— продолжала матушка,— неужто ты все свое именье без остатку дочерям предоставляешь?

— Вестимо, без остатку.

— Ну, а ты сам... где будешь жить?

Харлов даже руками замахал.

— Как где? У себя в доме, как жил *доселючи*... так и впредь. Какая же может быть перемена?

— И ты в дочерях своих и в зяте так уверен?

— Это вы про Володьку-то говорить изволите? Про тряпку про эту? Да я его куда хочу пихну, и туда, и сюда... Какая его власть? А они меня, дочери то есть, по гроб кормить, поить, одевать, обувать... Помилуйте! первая их обязанность. Я ж им недолго глаза мозолить буду. Не за горами смерть-то — за плечами.

— В смерти господь бог волен,— заметила матушка,— а обязанность это их, точно. Только ты меня извини, Мартын Петрович; старшая у тебя, Анна, гордячка известная, ну, да и вторая волком смотрит...

— Наталья Николаевна! — перебил Харлов,— что вы это?.. Да чтоб они... Мои дочери... Да чтоб я... Из повиновенья-то выйти? Да им и во сне... Противиться? Кому? Родителю?... Сметь? А проклясть-то их разве долго? В трепете да в покорности век свой прожили — и вдруг!.. господи!

Харлов раскашлялся, захрипел.

— Ну, хорошо, хорошо,— поспешила успокоить его матушка,— только я все-таки не понимаю, зачем ты *теперь* делить их вздумал? Все равно после тебя им же достанется. Всему этому, я полагаю, твоя меланхолия причиной.

— Э, матушка! — не без досады возразил Харлов,— зарядили вы свою меланхолию! Тут, быть может, свыше сила действует, а вы: меланхолия! Потому, сударыня, вздумал я сие, что я самолично, еще «жимши», при себе хочу решить, кому чем владеть, и кого я чем награжу, тот тем и владей, и благодарность чувствуй, и исполняй, и на чем отец и благодетель положил, то за великую милость...

Голос Харлова опять перервался.

— Ну полно же, полно, отец мой,— перебила его матушка,— а то и впрямь вороной жеребенок появится.

— Ох, Наталья Николаевна, не говорите мне о нем! — простонал Харлов.— Это смерть моя за мной приходила.

Прощенья просим. А вас, сударик мой, к послезавтрашнему дню ожидать буду честь иметь!

Мартын Петрович вышел; матушка посмотрела ему вслед и значительно покачала головою.

— Не к добру это,— прошептала она,— не к добру. Ты заметил,— обратилась она ко мне,— он говорит, а сам будто от солнца все щурится; знай: это примета дурная. У такого человека тяжело нá сердце бывает и несчастье ему грозит. Поезжай послезавтра с Викентием Осиповичем и с Сувениром.

XI

В назначенный день большая наша фамильная четвероместная карета, запряженная шестериком караковых лошадей, с главным «лейб-кучером», седобородым и тучным Алексеичем на козлах, плавно подкатилась к крыльцу нашего дома. Важность акта, к которому намеревался приступить Харлов, торжественность, с которой он пригласил нас, подействовали на мою матушку. Она сама отдала приказ заложить именно этот экстраординарный экипаж и велела Сувениру и мне одеться по-праздничному: она, видимо, желала почтить своего «протежé». Квицинский — тот всегда ходил во фраке и в белом галстухе. Во всю дорогу Сувенир трещал как сорока, хихикал, рассуждал о том, предоставит ли ему братец что-нибудь, и тут же обзывал его идолом и кикиморой. Квицинский, человек угрюмый, желчный, не выдержал наконец. «И охота вам,— заговорил он со своим польским отчетливым акцентом,— такое все несообразное болтать? И неужели невозможно сидеть смирно, без этих «никому не нужных» (любимое его слово) пустяков?» — «Ну, чичас»,— пробормотал Сувенир с неудовольствием и уставил свои косые глаза в окошко. Четверти часа не прошло, ровно бежавшие лошади едва начинали потеть под тонкими ремнями новых сбруй — как уже показалась харловская усадьба. Сквозь настежь растворенные ворота вкатилась наша карета на двор; крошечный форейтор, едва достававший ногами до половины лошадиного корпуса, в последний раз с младенческим воплем подскочил на мягком седле, локти старика Алексеича одновременно оттопырились и приподнялись — послышалось легкое тпрукание, и мы остановились. Собаки не встретили нас лаем, дворовые мальчишки в длинных, слегка на больших животах раскрытых рубахах — и те куда-то исчезли.

Зять Харлова ожидал нас на пороге двери. Помню — меня особенно поразили березки, натыканные по обеим сторонам крыльца, словно в троицын день. «Торжество из торжеств!» — пропел в нос Сувенир, вылезая первый из кареты. И точно, торжественность замечалась во всем. На харловском зяте был плисовый галстук с атласным бантом и необыкновенно узкий черный фрак; а у вынырнувшего из-за его спины Максимки волосы до того были смочены квасом, что даже капало с них. Мы вошли в гостиную и увидали Мартына Петровича, неподвижно возвышавшегося — именно возвышавшегося — посредине комнаты. Не знаю, что почувствовали Сувенир и Квицинский при виде его колоссальной фигуры, но я ощутил нечто похожее на благоговение. Мартын Петрович облекся в серый, должно быть ополченский, двенадцатого года, казакин с черным стоячим воротником, бронзовая медаль виднелась на его груди, сабля висела у бока; левую руку он положил на рукоятку, правой опирался на стол, покрытый красным сукном. Два исписанных листа бумаги лежало на этом столе. Харлов не шевелился, даже не пыхтел; и какая важность сказывалась в его осанке, какая уверенность в себе, в своей неограниченной и несомненной власти! Он едва приветствовал нас кивком и, хрипло промолвив: «Прошу!» — повел указательным пальцем левой руки в направлении поставленных рядышком стульев. У правой стены гостиной стояли обе дочери Харлова, разодетые по-воскресному: Анна в зелено-лиловом, двуличневом платье с желтым шелковым поясом; Евлампия — в розовом, с пунцовыми лентами. Возле них торчал Житков в новом мундире, с обычным выражением тупого и жадного ожидания в глазах и с бóльшим против обычного количеством испарины на волосатом лице. У левой стены гостиной сидел священник в изношенной рясе табачного цвета, старый человек с жесткими бурыми волосами. Эти волосы и унылые, тусклые глаза, и большие заскорузлые руки, которые словно его самого бременили и лежали, как груды, на коленях, и выглядывавшие из-под рясы смазные сапоги — все свидетельствовало о трудовой, нерадостной жизни: приход его был очень беден. Рядом с ним помещался исправник, жирненький, бледненький, неопрятный господинчик, с пухлыми, короткими ручками и ножками, с черными глазами, черными подстриженными усами, с постоянной, хоть и веселой, но дрянной улыбочкой на лице: он слыл за великого взяточ-

ника и даже тирана, как выражались в то время; но не только помещики, даже крестьяне привыкли к нему и любили его. Он весьма развязно и несколько насмешливо поглядывал кругом: видно было, что вся эта «процедура» его забавляла. В сущности, его интересовала одна предстоявшая закуска с водочкой. Зато сидевший возле него стряпчий, сухопарый человек с длинным лицом, узкими бакенбардами от уха к носу, как их нáшивали при Александре Первом, всей душой принимал участие в распоряжениях Мартына Петровича и не спускал с него своих больших серьезных глаз: от очень усиленного внимания и сочувствия он все двигал и поводил губами, не разжимая их, однако. Сувенир к нему присоседился и шепотом заговорил с ним, объявив мне сперва, что это первый по губернии масон. Временное отделение земского суда состоит, как известно, из исправника, стряпчего и станового; но станового либо вовсе не было, либо он до того стушевался, что я его не заметил; впрочем, он у нас в уезде носил прозвище: «несуществующий», как бывают «непомнящие». Я сел подле Сувенира, Квицинский подле меня. На лице практического поляка была написана явная досада на «никому не нужную» поездку, на напрасную трату времени... «Барыня! барские русские фантазии! — казалось, шептал он про себя...— Уж эти мне русские!»

XII

Когда мы все уселись, Мартын Петрович поднял плечи, крякнул, обвел нас всех своими медвежьими глазками и, шумно вздохнув, начал так:

— Милостивые государи! Я пригласил вас по следующему случаю. Становлюсь я стар, государи мои, немощи одолевают... Уже и предостережение мне было, смертный же час, яко тать в нощи, приближается... Не так ли, батюшка? — обратился он к священнику.

Батюшка встрепенулся.

— Тако, тако,— прошамшил он, потрясая бородкой.

— И потому,— продолжал Мартын Петрович, внезапно возвысив голос,— не желая, чтобы та самая смерть меня врасплох застала, положил я в уме своем...— Мартын Петрович повторил слово в слово фразу, которую он два дня тому назад произнес у матушки.— В силу сего моего решения,— закричал он еще громче,— сей акт (он ударил рукою по лежавшим на столе бумагам) составлен мною,

и предержащие власти в свидетели приглашены, и в чем состоит оная моя воля, о том следуют пункты. Поцарствовал, будет с меня!

Мартын Петрович надел на нос свои железные круглые очки, взял со стола один из исписанных листов и начал:

— Раздельный акт имению отставного штык-юнкера и столбового дворянина Мартына Харлова, им самим, в полном и здравом уме и по собственному благоусмотрению составленный, и в коем с точностию определяется, какие угодия его двумя дочерям, Анне и Евлампии (кланяйтесь! — они поклонились), предоставляются, и коим образом дворовые люди и прочее имущество и живность меж оными дочерьми поделяется! Рукою властной!

— Это ихняя бумажка,— шепнул, с неизменной своей улыбочкой, исправник Квицинскому,— они ее для красоты слога прочитать желают, а законный акт составлен по форме, безо всяких этих цветочков.

Сувенир начал было хихикать...

— Согласно с моею волею! — вмешался Харлов, от которого не ускользнуло замечание исправника.

— Во всех пунктах согласно,— поспешно и весело отвечал тот,— только форму, вы знаете, Мартын Петрович, никак обойти нельзя. И лишние подробности устранены. Ибо в пегих коров и турецких селезней палата никаким образом входить не может.

— Подь сюда ты! — гаркнул Харлов зятю, который вслед за ним вошел в комнату и с подобострастным видом остановился у двери. Он тотчас подскочил к своему тестю.

— На, возьми, читай! А то мне трудно. Только смотри, не лотоши! Чтобы все господа присутствующие вникнуть могли.

Слёткин взял лист в обе руки и стал трепетно, но внятно, со вкусом и чувством, читать раздельный акт. В нем с величайшею аккуратностью было обозначено, что именно отходило к Анне и что к Евлампии и как им следовало делиться. Харлов от времени до времени прерывал чтение словами: «Слышь, это тебе, Анна, за твое усердие!» — или: «Это тебе, Евлампиюшка, жалую!» — и обе сестры кланялись, Анна в пояс, Евлампия одной головой. Харлов с угрюмой важностью посматривал на них. «Усадебный дом» (новый флигелек) был отдан им Евлампии,— «яко младшей дочери, по извечному обычаю». Голос чте-

ца зазвенел и задрожал, произнося эти неприятные для него слова; а Житков облизнулся. Евлампия искоса глянула на него: будь я на месте Житкова, не понравился бы мне этот взгляд. Презрительное выражение лица, свойственное Евлампии, как всякой истой русской красавице, на этот раз носило особый оттенок. Самому себе Мартын Петрович предоставлял право жить в занимаемых им комнатах и выговаривал себе, под именем «опричного», полное содержание «натуральною провизиею» и десять рублей ассигнациями в месяц на обувь и одежду. Последнюю фразу раздельного акта Харлов пожелал прочесть сам. «И сию мою родительскую волю,— гласила она,— дочерям моим исполнять и наблюдать свято и нерушимо, яко заповедь; ибо я после бога им отец и глава, и никому отчета давать не обязан и не давал; и будут они волю мою исполнять, то будет с ними мое родительское благословение, а не будут волю мою исполнять, чего боже оборони, то постигнет их моя родительская неключимая клятва, ныне и во веки веков, аминь!» Харлов поднял лист высоко над головою, Анна тотчас проворно опустилась на колени и стукнула о пол лбом; за ней кувыркнулся и муж ее. «Ну, а ты что ж?» — обратился Харлов к Евлампии. Та вся вспыхнула и также поклонилась в землю; Житков нагнулся вперед всем корпусом.

— Подпишитесь! — вокликнул Харлов, указывая пальцем на конец листа.— Здесь: благодарю и принимаю, Анна! Благодарю и принимаю, Евлампия!

Обе дочери встали и подписались одна за другой. Слёткин встал тоже и полез было за пером, но Харлов отстранил его, ткнув его средним перстом в галстук, так что он иокнул. С минуту длилось молчание. Вдруг Мартын Петрович словно всхлипнул и, пробормотав: «Ну, теперь все ваше!» — отодвинулся в сторону. Дочери и зять переглянулись, подошли к нему и стали целовать его выше локтя. В плечо достать они не могли.

XIII

Исправник прочел настоящий, формальный акт, дарственную запись, составленную Мартыном Петровичем. Потом он вместе с стряпчим вышел на крыльцо и объявил собравшимся у ворот соседям, понятым, харловским крестьянам и нескольким дворовым людям о совершившемся событии. Начался ввод во владение новых двух

помещиц, которые также появились на крыльце и на которых исправник указывал рукою, когда, слегка наморщив одну бровь и мгновенно придав своему беззаботному лицу вид грозный, он внушал крестьянам о «послушании». Он бы мог обойтись и без этих внушений: более смирных физиономий, чем у харловских крестьян, я полагаю, в природе не существует. Облеченные в худые армяки и прорванные тулупы, но весьма туго подпоясанные, как это всегда водится в торжественных случаях, они стояли неподвижно, как каменные, и, как только исправник испускал междометие вроде: «Слышите, черти! понимаете, дьяволы!» — кланялись вдруг все разом, словно по команде; каждый из «чертей и дьяволов» крепко держал свою шапку обеими руками и не спускал взора с окна, в котором виднелась фигура Мартына Петровича. Немного меньше робели и самые понятые.

— Вам известны какие-либо препятствия,— крикнул на них исправник,— ко введению во владение сих единственных и законных наследниц и дочерей Мартына Петровича Харлова?

Все понятые тотчас словно съежились.

— Известны, черти? — крикнул опять исправник.

— Ничего, ваше благородие, нам не известно,— мужественно отвечал один корявый старичок, с остриженной бородой и усами, отставной солдат.

— Ну, да и смельчак же Еремеич! — говорили, расходясь, про него понятые.

Несмотря на просьбы исправника, Харлов не пожелал выйти вместе с дочерьми на крыльцо. «Мои подданные и без того моей воле покорятся!» — отвечал он. На него, по совершении акта, нашло нечто вроде грусти. Лицо его снова побледнело. Это новое, небывалое выражение грусти так мало шло к пространным и дебелым чертам Мартына Петровича, что я решительно не знал, что и подумать! Уж не меланхолия ли на него находит? Крестьяне, очевидно, с своей стороны также ощущали недоумение. И в самом деле: «Барин живехонек — вот он стоит, да еще какой барин: Мартын Петрович! И вдруг он ими владеть не будет... Чудеса!» Не знаю, догадался ли Харлов о том, какие мысли бродили в головах его «подданных», захотел ли он в последний раз покуражиться, только он вдруг открыл форточку, приставил к отверстию голову и закричал громовым голосом: «Повиноваться!» Потом он захлопнул форточку. Недоумение крестьян, ко-

нечно, от этого не рассеялось и не уменьшилось. Они еще пуще окаменели и даже как бы перестали глядеть. Группа дворовых (в числе их находились две здоровенные девки, в коротких ситцах и с такими икрами, подобных которым видеть можно разве на страшном Судилище Микеланджело, да еще один, уже совсем ветхий, от древности даже заиндевевший, полуслепой человек в шершавой фризовой шинели — он, по слухам, был при Потемкине «валторщиком» — казачка Максимку Харлов себе предоставил), группа эта выказывала большее оживление, чем крестьяне; она по крайней мере переминалась на месте. Сами новые помещицы держались очень важно, особенно Анна. Стиснув свои сухие губы, она упорно глядела вниз... Не много доброго обещала дворовым ее строгая фигура. Евлампия тоже не поднимала глаз; только раз она обернулась и, словно с удивлением, медленно окинула взором своего жениха Житкова, который, вслед за Слёткиным, почел нужным также явиться на крыльцо. «Ты здесь с какого права?» — казалось, говорили эти красивые выпуклые глаза. Слёткин — тот изменился больше всех. Во всем существе его проявилась торопливая бодрость, словно аппетит его пронимал; движения головы, ног остались подобострастными по-прежнему, но как весело расправлял он руки, как хлопотливо передвигал лопатками! «Наконец, мол, дорвался!» Окончив «процедуру» ввода во владение, исправник, у которого от приближения закуски даже вода подтекла под щеками, потер себе руки тем особенным манером, который обыкновенно предшествует «вонзанию в себя первой рюмочки»; но оказалось, что Мартын Петрович желал сперва отслужить молебен с водосвятием. Священник облачился в старую, еле живую ризу; еле живой дьячок вышел из кухни, с трудом раздувая ладан в старом медном паникадиле. Молебен начался. Харлов то и дело вздыхал; класть земные поклоны он по тучности не мог, но, крестясь правой рукою и наклоняя голову, указывал перстом левой руки на пол. Слёткин так и сиял и даже прослезился; Житков благородно по-военному чуть-чуть помахивал пальцами между третьей и четвертой пуговицей мундира; Квицинский, как католик, остался в соседней комнате; зато стряпчий так усердно молился, так сочувственно вздыхал вслед за Мартыном Петровичем и так истово шептал и жевал губами, возводя взоры горé, что, глядя на него, я ощутил умиление и начал тоже

горячо молиться. По окончании молебна и водосвятия, причем все присутствующие, даже слепой потемкинский «валторщик», даже Квицинский, помочили себе глаза святой водой, Анна и Евлампия еще раз, по приказанию Мартына Петровича, благодарили его земно; и тут наконец наступил момент завтрака! Кушаний было много, и все превкусные; мы все наелись страшно. Появилась неизбежная бутылка донского. Исправник, как человек, больше всех нас знакомый со светскими обычаями, ну, да и как представитель власти, первый провозгласил тост за здоровье «прекрасных владелиц!». Потом он же предложил нам выпить за здравие наипочтеннейшего и наивеликодушнейшего Мартына Петровича! При слове: «великодушнейший» Слёткин взвизгнул и бросился целовать своего благодетеля... «Ну, хорошо, хорошо, не надо»,— бормотал Харлов как бы с досадой, отстраняя его локтем... Но тут произошел не совсем приятный, как говорится, пассаж.

XIV

А именно: Сувенир, который с самого начала завтрака пил безостановочно, внезапно поднялся, весь красный, как бурак, со стула и, указывая пальцем на Мартына Петровича, залился своим дряблым, дрянным смехом.

— Великодушный! Великодушный! — затрещал он,— а вот мы посмотрим, по вкусу ли ему самому придется это великодушие, когда его, раба божия, голой спиной... да на снег!

— Что ты врешь? Дурак! — презрительно промолвил Харлов.

— Дурак! дурак! — повторил Сувенир.— Единому всевышнему богу известно, кто из нас обоих заправский-то дурак. А вот вы, братец, сестрицу мою, супругу вашу, уморили — за то теперь и самих себя похерили... ха-ха-ха!

— Как вы смеете нашего почтенного благодетеля обижать?— запищал Слёткин и, оторвавшись от обхваченного им плеча Мартына Петровича, ринулся на Сувенира.— Да знаете ли, что если наш благодетель того пожелает, то мы и самый акт сию минуту уничтожить можем?..

— А вы все-таки его голой спиной — на снег... — ввернул Сувенир, стушевавшись за Квицинского.

— Молчать! — загремел Харлов.— Прихлопну тебя, так только мокро будет на том месте, где ты находился.

Да и ты молчи, щенок! — обратился он к Слёткину,— не суйся, куда не велят! Коли я, Мартын Петров Харлов, порешил оный раздельный акт составить, то кто же может его уничтожить? Против моей воли пойти? Да в свете власти такой нет...

— Мартын Петрович! — заговорил вдруг сочным басом стряпчий; он тоже выпил много, но от этого в нем только важности прибавилось.— Ну, а как господин помещик правду сказать изволил! Дело вы совершили великое, ну, а как, сохрани бог, действительно... вместо должной благодарности, да выйдет какой афронт?

Я глянул украдкой на обеих дочерей Мартына Петровича. Анна так и впилась глазами в говорившего, и уж, конечно, более злого, змеиного и в самой злобе более красивого лица я не видывал! Евлампия отворотилась и руки скрестила; презрительная усмешка более чем когда-нибудь скрутила ее полные розовые губы.

Харлов поднялся со стула, разинул рот, но, видно, язык изменил ему... Он вдруг ударил кулаком по столу, так что все в комнате подпрыгнуло и задребезжало.

— Батюшка,— поспешно промолвила Анна,— они нас не знают и потому так о нас понимают; а вы себе не извольте повредить. Напрасно вы гневаться изволите; вот у вас личико словно перекосилось.

Харлов поглядел на Евлампию; она не шевелилась, хотя сидевший подле нее Житков и толкал ее под бок.

— Спасибо тебе, дочь моя Анна,— глухо заговорил Харлов,— ты у меня разумница; я на тебя надеюсь и на мужа твоего тоже.— Слёткин опять взвизгнул; Житков выставил было грудь и ногой слегка топнул; но Харлов не заметил его старания.— Этот шалопай,— продолжал он, указав подбородком на Сувенира,— рад дразнить меня; но вам, милостивый государь мой,— обратился он к стряпчему,— вам о Мартыне Харлове судить не приходится, понятием еще не вышли. И чиновный вы человек, а слова ваши самые вздорные. А впрочем, дело сделано, решению моему отмены не будет... Ну, и счастливо оставаться! Я уйду. Я здесь больше не хозяин, я гость. Анна, хлопочи ты, как знаешь; а я к себе в кабинет уйду. Довольно!

Мартын Петрович повернулся к нам спиною и, не прибавив больше ни слова, медленно вышел из комнаты.

Внезапное удаление хозяина не могло не расстроить нашей компании, тем более что и обе хозяйки тоже вско-

рости исчезли. Слёткин напрасно старался удержать нас. Исправник не преминул упрекнуть стряпчего в неуместной его откровенности.

— Нельзя! — отвечал тот.— Совесть заговорила!

— Вот и видно, что масон,— шепнул мне Сувенир.

— Совесть! — возразил исправник.— Знаем мы вашу совесть! Так же небось и у вас в кармане сидит, как и у нас, грешных!

Священник между тем, уже стоя на ногах, но предчувствуя скорый конец трапезы, беспрестанно посылал в рот кусок за куском.

— А у вас, я вижу, аппетит сильный,— резко заметил ему Слёткин.

— Про запас,— отвечал священник со смиренной ужимкой; застарелый голод слышался в этом ответе.

Застучали экипажи... и мы разъехались.

На возвратном пути никто не мешал Сувениру кривляться и болтать, так как Квицинский объявил, что ему надоели все эти «никому не нужные» безобразия, и прежде нас отправился домой пешком. На его место к нам в карету сел Житков; отставной майор имел весьма недовольный вид и то и дело, как таракан, поводил усами.

— Что, ваше высокоблагородие,— лепетал Сувенир,— субординация, знать, подорвана? Погодите, то ли будет! Зададут феферу и вам! Ах вы, женишок, женишок, горе-женишок!

Сувенира так и разбирало; а бедный Житков только шевелил усами.

Вернувшись домой, я рассказал все виденное мною матушке. Она выслушала меня до конца и несколько раз покачала головою.

— Не к добру,— промолвила она,— не нравятся мне все эти новизны!

XV

На следующий день Мартын Петрович приехал к обеду. Матушка поздравила его с благополучным окончанием затеянного им дела.

— Ты теперь свободный человек,— сказала она,— и должен себя легче чувствовать.

— Легче-то легче, сударыня,— отвечал Мартын Петрович, нисколько, однако, не показывая выраженьем своего лица, что ему действительно легче стало.— Можно

теперь и о душе помыслить, и к смертному часу как следует приготовиться.

— А что? — спросила матушка,— мурашки у тебя по руке бегают?

Харлов раза два сжал и разжал ладонь левой руки.

— Бегают, сударыня; и что я вам еще доложу: как начну я засыпать, кричит кто-то у меня в голове: «Берегись, берегись!»

— Это... нервы,— заметила матушка и заговорила о вчерашнем дне, намекнула на некоторые обстоятельства, сопровождавшие совершение раздельного акта...

— Ну да, да,— перебил ее Харлов,— было там кое-что... неважное. Только вот что доложу вам,— прибавил он с расстановкой.— Не смутили меня вчерась пустые Сувенировы слова — даже сам господин стряпчий, хоть и обстоятельный он человек — и тот не смутил меня; а смутила меня... — Тут Харлов запнулся.

— Кто? — спросила матушка.

Харлов вскинул на нее глазами.

— Евлампия!

— Евлампия? Дочь твоя? Это каким образом?

— Помилуйте, сударыня,— точно каменная! истукан истуканом! Неужто же она не чувствует? Сестра ее, Анна,— ну, та все как следует. Та — тонкая! А Евлампия — ведь я ей — что греха таить! — много предпочтения оказывал! Неужто же ей не жаль меня? Стало быть, мне плохо приходится, стало быть, чую я, что не жилец я на сей земле, коли все им отказываю; и точно каменная! хоть бы гукнула! Кланяться — кланяется, а благодарности не видать.

— Вот постой,— заметила матушка,— выдадим мы ее за Гаврилу Федулыча... у него она помягчеет.

Мартын Петрович опять исподлобья глянул на матушку.

— Ну разве что Гаврила Федулыч! Вы, знать, сударыня, на него надеетесь?

— Надеюсь.

— Так-с; ну, вам лучше знать. А у Евлампии, доложу вам,— что у меня, что у ней; нрав все едино. Казацкая кровь— а сердце, как уголь горячий!

— Да разве у тебя такое сердце, отец мой?

Харлов не отвечал. Наступило небольшое молчание.

— Что же ты, Мартын Петрович,— начала матушка,— каким образом намерен теперь душу свою спасать?

к Митрофанию съездишь или в Киев? или, может быть, в Оптину пустынь отправишься, так как она по соседству? Там, говорят, такой святой проявился инок... отцом Макарием его зовут, никто такого и не запомнит! Все грехи насквозь видит.

— Если она точно неблагодарной дочерью окажется,— промолвил хриплым голосом Харлов,— так мне, кажется, легче будет ее из собственных рук убить!

— Что ты! Что ты! Господь с тобою! Опомнись! — воскликнула матушка.— Какие ты это речи говоришь? Вот то-то вот и есть! Послушался бы меня намедни, как советоваться приезжал! А теперь вот ты себя мучить будешь — вместо того чтобы о душе помышлять! Мучить ты себя будешь — а локтя все-таки не укусишь! Да! Теперь вот ты жалуешься, трусишь...

Этот упрек, казалось, в самое сердце кольнул Харлова. Вся прежняя его гордыня так волной и прилила к нему. Он встряхнулся и подбородком двинул вперед.

— Не таковский я человек, сударыня Наталья Николаевна, чтобы жаловаться или трусить,— угрюмо заговорил он.— Я вам только как благодетельнице моей и уважаемой особе чувства мои изложить пожелал. Но господь бог ведает (тут он поднял руку над головою), что скорее шар земной в раздробление придет, чем мне от своего слова отступиться, или... (тут он даже фыркнул) или трусить, или раскаиваться в том, что я сделал! Значит, были причины! А дочери мои из повиновения не выйдут, во веки веков, аминь!

Матушка зажала уши.

— Что это, отец, как труба трубишь! Коли ты в самом деле в домочадцах своих так уверен, ну и слава тебе, господи! Голову ты мне совсем размозжил!

Мартын Петрович извинился, вздохнул раза два и умолк. Матушка опять упомянула о Киеве, об Оптиной пустыни, об отце Макарии... Харлов поддакивал, говорил, что «нужно, нужно... надо будет... о душе...» и только. До самого отъезда он не развеселился; от времени до времени сжимал и разжимал руку, глядел себе на ладонь, говорил, что ему страшнее всего умереть без покаяния, от удара, и что он зарок себе дал: не сердиться, так как от сердца кровь портится и к голове приливает... Притом же он теперь от всего отстранился; с какой стати он сердиться будет? Пусть другие теперь трудятся и кровь себе портят!

Прощаясь с матушкой, он странным образом поглядывал на нее: задумчиво и вопросительно... и вдруг, быстрым движением выхватив из кармана том «Покоющегося Трудолюбца», сунул его матушке в руки.

— Что такое? — спросила она.

— Прочтите... вот тут,— торопливо промолвил он,— где уголок загнут, о смерти. Сдается мне, что больно хорошо сказано, а понять никак не могу. Не растолкуете ли вы мне, благодетельница? Я вот вернусь, а вы мне растолкуете.

С этими словами Мартын Петрович вышел.

— Неладно! эх, неладно! — заметила матушка, как только он скрылся за дверью, и принялась за «Трудолюбца».

На странице, отмеченной Харловым, стояли следующие слова:

«Смерть есть важная и великая работа натуры. Она не что иное, как то, что дух, понеже есть легче, тоньше и гораздо проницательнее тех стихий, коим отдан был под власть, но и самой электрической силы, то он химическим образом чистится и стремится до тех пор, пока не ощутит равно духовного себе места...» и т. д.[1]

Матушка прочла этот пассажик раза два, воскликнула: «Тьфу»,— и бросила книгу в сторону.

Дня три спустя она получила известие, что муж ее сестры скончался, и, взяв меня с собою, отправилась к ней в деревню. Матушка располагала провесть у ней месяц, но осталась до поздней осени — и мы только в конце сентября вернулись в нашу деревню.

XVI

Первое известие, которым встретил меня мой камердинер Прокофий (он же считался господским егерем), было то, что вальдшнепов налетело видимо-невидимо и что особенно в березовой роще возле Еськова (харловского имения) они так и кишат. До обеда оставалось еще часа три; я тотчас схватил ружье, ягдташ и вместе с Прокофием и легавой собакой побежал в Еськовскую рощу. Вальдшнепов в ней мы нашли действительно много — и, выпустивши около тридцати зарядов, убили штук

---

[1] См. «Покоющийся Трудолюбец», 1785, III ч. Москва. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

пять. Спеша с добычей домой, я увидел возле дороги пахавшего мужика. Лошадь его остановилась, и он, слезливо и злобно ругаясь, нещадно дергал веревочной вожжою ее набок загнутую голову. Я вгляделся в несчастную клячу, у которой ребра чуть не прорывались наружу и облитые пóтом бока судорожно и неровно вздымались, как кузнечные меха,— и тотчас признал в ней старую чахлую кобылу со шрамом на плече, столько лет служившую Мартыну Петровичу.

— Господин Харлов жив? — спросил я Прокофия. Охота нас обоих так «всецело» поглотила, что мы до того мгновенья ни о чем другом не разговаривали.

— Жив-с. А что-с?

— Да ведь это его лошадь? Разве он продал ее?

— Лошадь точно ихняя-с; только продавать они ее не продавали; а взяли ее у них — да тому мужичку и отдали.

— Как так взяли? И он согласился?

— Согласия ихнего не спрашивали-с. Тут без вас порядки пошли,— промолвил с легкой усмешкой Прокофий в ответ на мой удивительный взгляд,— беда! Боже ты мой! Теперь у них Слёткин господин всем орудует.

— А Мартын Петрович?

— А Мартын Петрович самым как есть последним человеком стал. На сухояденье сидит — чего больше? Порешили его совсем. Того и смотри, со двора сгонят.

Мысль, что можно такого великана *согнать,* никак не укладывалась мне в голову.

— А Житков-то чего смотрит? — спросил я наконец.— Ведь он женился на второй дочери?

— Женился? — повторил Прокофий и на этот раз усмехнулся во весь рот.— Его и в дом-то не пускают. Не надо, мол; поверни, мол, оглобли назад. Сказанное дело: Слёткин всем заправляет.

— А невеста-то чтó?

— Евлампия-то Мартыновна? Эх, барин, сказал бы я вам... да млады вы суть — вот что. Дела тут подошли такие, что и... и... и! Э! да Дианка-то, кажись, стоит!

Действительно, собака моя остановилась как вкопанная перед широким дубовым кустом, которым заканчивался узкий овраг, выползавший на дорогу. Мы с Прокофием подбежали к собаке: из куста поднялся вальдшнеп. Мы оба выстрелили по нем и промахнулись; вальдшнеп переместился; мы отправились за ним.

Суп уже был на столе, когда я вернулся. Матушка побранила меня. «Что это? — сказала она с неудовольствием,— в первый же день — да к обеду ждать себя заставил». Я поднес ей убитых вальдшнепов: она и не посмотрела на них. Кроме ее, в комнате находились Сувенир, Квицинский и Житков. Отставной майор забился в угол,— ни дать ни взять провинившийся школьник; выражение его лица являло смесь смущения и досады; глаза его покраснели... Можно было даже подумать, что он незадолго перед тем всплакнул. Матушка продолжала быть не в духе; мне не стоило большого труда догадаться, что поздний мой приход был тут ни при чем. Во время обеда она почти не разговаривала; майор изредка возводил на нее жалостные взгляды, кушал, однако, исправно; Сувенир трепетал; Квицинский сохранял обычную уверенность осанки.

— Викентий Осипыч,— обратилась к нему матушка,— прошу вас послать завтра за Мартыном Петровичем экипаж, так как я известилась, что у него своего не стало; и велите ему сказать, чтобы он непременно приехал, что я желаю его видеть.

Квицинский хотел было что-то возразить, но удержался.

— И Слёткину дайте знать,— продолжала матушка,— что я ему приказываю ко мне явиться... Слышите? При...ка...зываю!

— Вот уже именно... этого негодяя следует... — начал вполголоса Житков; но матушка так презрительно на него посмотрела, что он тотчас отворотился и умолк.

— Слышите? Я приказываю! — повторила матушка.

— Слушаю-с,— покорно, но с достоинством промолвил Квицинский.

— Не приедет Мартын Петрович! — шепнул мне Сувенир, выходя вместе со мною после обеда из столовой.— Вы посмотрите, что с ним сталось! Уму непостижимо! Я полагаю, он, что и говорят-то ему — ничего не понимает. Да! Прижали ужа вилами!

И Сувенир залился своим дряблым смехом.

XVII

Предсказание Сувенира оказалось справедливым. Мартын Петрович не захотел поехать к матушке. Она этим не удовольствовалась и отправила к нему письмо;

он прислал ей четвертушку бумаги, на которой крупными буквами были написаны следующие слова: «Ей-же-ей, не могу. Стыд убьет. Пущай так пропадаю. Спасибо. Не мучьте. Харлов Мартынко». Слёткин приехал, но не в тот день, когда матушка «приказывала» ему явиться, а целыми сутками позже. Матушка велела провести его к себе в кабинет... Бог ведает, о чем у них велась беседа, но продолжалась она недолго: с четверть часа, не более. Слёткин вышел от матушки весь красный и с таким ядовито-злым и дерзостным выражением лица, что, встретившись с ним в гостиной, я просто остолбенел, а тут же вертевшийся Сувенир не окончил начатого смеха. Матушка вышла из кабинета тоже вся красная в лице и объявила во всеуслышание, чтоб господина Слёткина ни под каким видом к ней вперед не допускать; а коли Мартына Петровича дочери вздумают явиться — наглости, дескать, на это у них станет,— им также отказывать. За обедом она вдруг воскликнула: «Каков дрянной жиденок! Я ж его за уши из грязи вытащила, я ж его в люди вывела, он всем, всем мне обязан — и он смеет мне говорить, что я напрасно в их дела вмешиваюсь! Что Мартын Петрович блажит — и что ему потакать невозможно! Потакать! каково? Ах, он неблагодарный па́щенок! Жиденок мерзкий!» Майор Житков, который также находился в числе обедавших, вообразил, что теперь-то уж сам бог ему велел воспользоваться случаем и ввернуть свое слово... но матушка тотчас его осадила. «Ну уж и ты хорош, мой отец! — промолвила она.— С девкой не умел сладить, а еще офицер! Ротой командовал! Воображаю, как она тебя слушалась! В управляющие метил! хорош бы вышел управляющий!».

Квицинский, сидевший на конце стола, улыбнулся про себя не без злорадства, а бедный Житков только усами повел да брови поднял и всем своим волосатым лицом уткнулся в салфетку.

После обеда он вышел на крыльцо покурить, по обыкновению, трубочку — и таким он мне показался жалким и сиротливым, что я, хотя его и недолюбливал, однако тут присоединился к нему.

— Как это у вас, Гаврила Федулыч,— начал я без дальних околичностей,— с Евлампией Мартыновной дело расстроилось? Я полагал — вы давно женились.

Отставной майор уныло взглянул на меня.

— Змей подколодный,— начал он, с горестной стара-

тельностью выговаривая каждую букву каждого слова,— жалом своим меня уязвил и все мои надежды в жизни — в прах обратил! И рассказал бы я вам, Дмитрий Семенович, все его ехидные поступки, но матушку вашу боюсь прогневить! («Млады вы еще суть»,— мелькнуло у меня в голове выражение Прокофия.) Уж и так...

Житков крякнул.

— Терпеть... терпеть... больше ничего не остается! (Он ударил себя кулаком в грудь.) Терпи, старый служака, терпи! Царю служил верой-правдой... беспорочно... да! Не щадил пота-крови, а теперь вот до чего довертелся! Будь то в полку — и дело от меня зависящее,— продолжал он после короткого молчания, судорожно насасывая свой черешневый чубук,— я б его... я б его фухтелями в три перемены... то есть до отвалу...

Житков вынул трубку изо рта и устремил взор в пространство, как бы внутренно любуясь вызванной им картиной.

Сувенир подбежал и начал шпынять майора. Я отошел от них в сторону — и решился во что бы то ни стало собственными глазами увидать Мартына Петровича... Детское мое любопытство было сильно задето.

XVIII

На другой день я опять с ружьем и с собакой, но без Прокофия, отправился в Еськовскую рощу. День выдался чудесный: я думаю, кроме России, в сентябре месяце нигде подобных дней и не бывает. Тишь стояла такая, что можно было за сто шагов слышать, как белка перепрыгивала по сухой листве, как оторвавшийся сучок сперва слабо цеплялся за другие ветки и падал, наконец, в мягкую траву — падал навсегда: он уж не шелохнется, пока не истлеет. Воздух ни теплый, ни свежий, а только пахучий и словно кисленький, чуть-чуть, приятно щипал глаза и щеки; тонкая, как шелковинка, с белым клубочком посередине, длинная паутина плавно налетала и, прильнув к стволу ружья, прямо вытягивалась по воздуху — знак постоянной, теплой погоды! Солнце светило, но так кротко, хоть бы луне. Вальдшнепы попадались довольно часто; но я не обращал на них особенного внимания; я знал, что роща доходила почти до самой усадьбы Харлова, до самого плетня его сада, и пробирался в ту сторону, хоть и не мог себе представить, как я в са-

мую усадьбу проникну, и даже сомневался в том, следовало ли мне стараться проникнуть туда, так как матушка моя гневалась на новых владельцев.

Живые человеческие звуки почудились мне в недальнем расстоянии. Я стал прислушиваться... Кто-то шел по лесу... прямо на меня.

— Так бы ты и сказал,— послышался женский голос.

— Толкуй! — перебил другой голос, голос мужчины.— Нешто можно все разом?

Голоса были мне знакомы. Женское голубое платье мелькнуло сквозь поредевшие ореховые кусты; рядом с ним показался темный кафтан. Еще мгновенье — и на поляну, в пяти шагах от меня, вышли Слёткин и Евлампия.

Они внезапно смутились. Евлампия тотчас отступила назад в кусты. Слёткин подумал — и приблизился ко мне. На лице его уже не замечалось и следа того подобострастного смирения, с которым он, месяца четыре тому назад, расхаживая по двору харловского дома, перетирал трензель моей лошади; но и того дерзкого вызова я на нем прочесть не мог, того вызова, которым это лицо так поразило меня накануне, на пороге матушкина кабинета. Оно осталось по-прежнему белым и пригожим, но казалось солидней и шире.

— Что, много вальдшнепов заполевали?— спросил он меня, приподняв шапку, ухмыляясь и проводя рукою по своим черным кудрям.— Вы в нашей роще охотитесь... Милости просим! Мы не препятствуем... Напротив!

— Сегодня я ничего не убил,— промолвил я, отвечая на первый его вопрос,— а из рощи вашей я сейчас выйду.

Слёткин торопливо надел шапку.

— Помилуйте, зачем же? Мы вас не гоним — и даже очень рады... Вот и Евлампия Мартыновна то же скажет. Евлампия Мартыновна, пожалуйте сюда! Куда вы забились?

Голова Евлампии показалась из-за кустов; но она не подошла к нам. Она еще похорошела за последнее время — и словно еще выросла и раздобрела.

— Мне, признаться сказать,— продолжал Слёткин,— даже очень приятно, что «встрелся» с вами. Вы хоть еще молоды, но разум уже имеете настоящий. Матушка ваша вчерась на меня прогневаться изволила — никаких от меня резонов принять не хотела, а я как перед богом, так и перед вами доложу: ни в чем я не повинен. С Мартыном Петровичем иначе поступать невозможно: совсем он

в младенчество впал. Нельзя же нам исполнять все его капризы, помилуйте. А уважение мы ему оказываем как следует! Спросите хоть Евлампию Мартыновну.

Евлампия не шевелилась; обычная презрительная улыбка бродила по ее губам — и неласково глядели красивые глаза.

— Но зачем же вы, Владимир Васильевич, Мартын-Петровичеву лошадь-то продали? (Меня особенно смущала эта лошадь, находящаяся во владении мужика.)

— Лошадь-то ихнюю зачем продали-с? Да помилосердуйте — куда же она годилась? Только сено даром ела. А у мужика она все-таки пахать может. А Мартыну Петровичу — коли вздумается куда выехать — стоит только у нас попросить. Мы в экипаже ему не отказываем. В нерабочие дни с нашим удовольствием!

— Владимир Васильевич! — глухо проговорила Евлампия, как бы отзывая его и все не сходя с своего места. Она вертела около пальцев несколько стеблей подорожника и отсекала им головки, ударяя их друг о дружку.

— Вот еще насчет казачка Максимки,— продолжал Слёткин,— Мартын Петрович жалуется, зачем, мол, мы его у него отняли да в ученье отдали. Но извольте сами рассудить: ну, что бы он стал у Мартына Петровича делать? Баклуши бить; больше ничего. И служить-то как следует он не может: по причине своей глупости и младых лет. А теперь мы его к шорнику в учение отдали. Выйдет из него мастер хороший — и себе пользу принесет и нам будет оброк платить. А в нашем маленьком хозяйстве это вещь важная-с! В нашем маленьком хозяйстве ничего упускать не следует!

«И этого-то человека Мартын Петрович называл тряпкой!» — подумал я.— Но кто же теперь Мартыну Петровичу читает? — спросил я.

— Да что читать-то? Была одна книга — да, благо, запропастилась куда-то... И что за чтение в его лета!

— А бреет его кто? — опять спросил я.

Слёткин засмеялся одобрительно, как бы в ответ на забавную шутку.

— Да никто. Сперва он себе бороду свечой подпаливал,— а теперь и вовсе запустил ее. И чудесно!

— Владимир Васильевич! — с настойчивостью повторила Евлампия,— а Владимир Васильевич!

Слёткин сделал ей знак рукою.

— Обут, одет Мартын Петрович, кушает то же, что и мы; чего ж ему еще? Сам же он уверял, что больше ничего в сем мире не желает, как тóлько о душе своей заботиться. Хоть бы он то сообразил, что теперь все как-никак — а наше. Говорит тоже, что жалованье мы ему не выдаем; да у нас самих деньги не всегда бывают; и на что они ему, когда на всем готовом живет? А мы с ним по-родственному обращаемся: истинно вам говорю. Комнаты, например, в которых он жительство имеет,— уж как нам нужны! без них просто повернуться негде; а мы — ничего! — терпим. Даже о том помышляем, как бы ему развлечение доставить. Вот я к Петрову дню а-атличные крючки в городе ему купил — настоящие английские: дорогие крючки! чтобы рыбу удить. У нас в пруду караси водятся. Сидел бы да удил! часик, другой посидел — ан ушица и готова. Самое для старичков степенное занятие!

— Владимир Васильевич! — в третий раз решительным тоном проговорила Евлампия и отбросила далеко от себя прочь травяные стебли, которые вертела в пальцах.— Я уйду! — Ее глаза встретились с моими.— Я уйду, Владимир Васильевич! — повторила она и скрылась за куст.

— Я сейчас, Евлампия Мартыновна, сейчас! — крикнул Слёткин.— Сам Мартын Петрович теперь нас одобряет,— продолжал он, снова обращаясь ко мне.— Сперва он обижался, точно, и даже роптал, пока, знаете, не вник: человек он был, вы изволите помнить, горячий, крутой — беда! ну, а ныне совсем тих стал. Потому — пользу свою увидел. Маменька ваша — и боже ты мой! как опрокинулась на меня... Известно: барыня властью своею дорожит тоже, не хуже, как, бывало, Мартын Петрович; ну, а вы зайдите сами, посмотрите — да при случае и замолвите словечко. Я Натальи Николаевны благодеянья очень чувствую; однако надо же жить и нам.

— А Житкову как же отказано было? — спросил я.

— Федулычу-то? Талагаю-то этому? — Слёткин плечами пожал.— Да помилуйте, на что же он мог быть нужен? Век свой в солдатах числился — а тут хозяйством заняться вздумал. Я, говорит, могу с крестьянином расправу чинить. Потому, я привык по роже бить. Ничего-с он не может. И по роже бить нужно умеючи. А Евлампия Мартыновна сама ему отказала. Совсем неподходящий человек. Все наше хозяйство с ним бы пропало!

— Ау! — раздался звучный голос Евлампии.

— Сейчас! сейчас! — отозвался Слёткин. Он протянул мне руку; я хоть и неохотно, а пожал ее.

— Прощения просим, Дмитрий Семенович,— проговорил Слёткин, выказывая все свои белые зубы.— Стреляйте себе вальдшнепов на здоровье; птица прилетная, никому не принадлежащая; ну, а коли зайчик вам попадется — вы уж его пощадите: это добыча — наша. Да вот еще! Не будет ли у вас щеночка от вашей сучки? Очень бы одолжили!

— Ау! — раздался снова голос Евлампии.

— Ау! ау! — отозвался Слёткин и бросился в кусты.

XIX

Помнится, когда я остался один, меня занимала мысль: как это Харлов не прихлопнул Слёткина так, «чтобы только мокро было на том месте, где он находился»,— и как это Слёткин не страшился подобной участи? Видно, Мартын Петрович точно «тих» стал, подумалось мне — и еще сильней захотелось пробраться в Еськово и хоть одним глазком посмотреть на того колосса, которого я никак не мог вообразить себе загнанным и смирным. Я достигнул уже опушки, как вдруг из-под самых ног моих, с сильным треском крыл, выскочил крупный вальдшнеп и помчался в глубь рощи. Я прицелился; ружье мое осеклось. Очень мне стало досадно: птица уж больно была хороша, и я решился попытаться, не подниму ли я ее снова? Я пошел в направлении ее полета и, отойдя шагов двести, увидел на небольшой лужайке, под развесистой березой, не вальдшнепа — а того же господина Слёткина. Он лежал на спине, заложив обе руки под голову, и с довольной улыбкой поглядывал вверх, на небо, слегка покачивая левой ногой, закинутой на правое колено. Он не заметил моего приближения. По лужайке, в нескольких шагах от него, медленно, с опущенными глазами, похаживала Евлампия; казалось, она искала чего-то в траве — грибов, что ли, изредка наклонялась, протягивала руку — и напевала вполголоса. Я остановился тотчас и стал прислушиваться. Сперва я не мог понять, что это она такое поет, но потом я хорошо признал следующие известные стихи старинной песни:

Ты найди-ка, ты найди, туча грозная,
Ты убей-ка, ты убей тестя-батюшку.

Ты громи-ка, громи ты тещу-матушку,
А молодую-то жену я и сам убью!

Евлампия пела все громче и громче; особенно сильно протянула она последние слова. Слёткин все лежал на спине да посмеивался, а она все как будто кружила около него.

— Вишь ты! — промолвил он наконец.— И чего им только в голову не взбредет?

— А что? — спросила Евлампия.

Слёткин слегка приподнял голову.

— Что? Какие ты это речи произносишь?

— Из песни, Володя, ты сам знаешь, слова не выкинешь,— отвечала Евлампия, обернулась и увидела меня. Мы оба разом вскрикнули, и оба бросились в разные стороны.

Я поспешно выбрался из рощи — и, перейдя узенькую полянку, очутился перед харловским садом.

XX

Мне некогда — да и не к чему было размышлять о том, что я увидел. Только вспомнилось мне слово: «присуха», которое я недавно пред тем узнал и значению которого я много дивился. Я пошел вдоль садового плетня и чрез несколько мгновений из-за серебристых тополей (они еще не потеряли ни одного листа и пышно ширились и блестели) увидал двор и флигели Мартына Петровича. Вся усадьба показалась мне подчищенной и подтянутой; всюду замечались следы постоянного и строгого надзора. Анна Мартыновна появилась на крыльце и, прищурив свои бледно-голубые глаза, долго глядела в направлении рощи.

— Барина видел? — спросила она проходившего по двору мужика.

— Владимир Васильича? — отвечал тот, схватив с головы шапку.— Он никак в рощу пошел.

— Знаю, что в рощу. Не вернулся он? Не видал его?

— Не видал... нетути.

Мужик продолжал стоять без шапки перед Анной Мартыновной.

— Ну, ступай,— проговорила она.— Или нет... постой... Мартын Петрович где? Знаешь?

— А Мартын эвто Петрович,— отвечал мужик певучим голосом, попеременно приподнимая то правую, то ле-

вую руку, словно показывая куда-то,— сидит тамотка у пруда, с удою. В камыше сидит и с удою. Рыбу, что ль, ловит, бог его знает.

— Хорошо... Ступай,— повторила Анна Мартыновна,— да подбери колесо, вишь, валяется.

Мужик побежал исполнять ее приказание, а она постояла еще несколько минут на крыльце и все смотрела в направлении рощи. Потом она тихонько погрозилась одной рукой и медленно вернулась в дом.

— Аксютка! — раздался ее повелительный голос за дверью.

Анна Мартыновна имела вид раздраженный и как-то особенно крепко сжимала свои и без того тонкие губы. Одета она была небрежно, и прядь развитой косы падала ей на плечо. Но, несмотря ни на небрежность ее одежды, ни на ее раздражение, она по-прежнему казалась мне привлекательной, и я с великой охотой поцеловал бы ее узкую, тоже как будто злую руку, которою она раза два с досадой откинула ту развитую прядь.

XXI

«Неужели же Мартын Петрович и впрямь стал рыболовом?» — спрашивал я самого себя, направляясь к пруду, находившемуся по ту сторону сада. Я взошел на плотину, глянул туда, сюда... Нигде Мартына Петровича не было видно. Я отправился вдоль одного из берегов пруда — и наконец в самой почти его голове, у небольшого залива, посреди плоских и поломанных стеблей порыжелого камыша, увидел громадную, сероватую глыбу... Я присмотрелся: это был Харлов. Без шапки, взъерошенный, в прорванном по швам холстинном кафтане, поджав под себя ноги, он сидел неподвижно на голой земле; так неподвижно сидел он, что куличок-песочник при моем приближении сорвался с высохшей тины в двух шагах от него и полетел, дрыгая крылышками и посвистывая, над водной гладью. Стало быть, уже давно никто в его близости не шевелился и не пугал его. Вся фигура Харлова до того была необычайна, что собака моя, как только увидала его, круто уперлась, поджала хвост и зарычала. Он чуть-чуть повернул голову и уставил на меня и на мою собаку свои одичалые глаза. Много его меняла борода, хотя короткая, но густая, курчавая, в белых вихрах, наподобие смушек. В правой его руке лежал конец

удилища, другой конец слабо колыхался на воде. Сердце у меня невольно иокнуло; однако я собрался с духом, подошел к нему и поздоровался с ним. Он медленно заморгал, словно спросонья.

— Что это вы, Мартын Петрович,— начал я,— рыбу здесь ловите?

— Да... рыбу,— отвечал он сиплым голосом и дернул кверху удилище, на конце которого болтался обрывок нитки в аршин и без крючка.

— У вас леса порвана,— заметил я и тут же увидал, что возле Мартына Петровича ни лейки не оказывалось, ни червей... И какая могла быть ловля в сентябре?!

— Порвана? — промолвил он и провел рукой по лицу.— Но это все едино!

Он снова закинул свою удочку.

— Натальи Николаевны сынок? — спросил он меня спустя минуты две, в течение которых я не без тайного изумления его рассматривал. Он, хотя и похудел сильно, однако все-таки казался исполином; но в какое он был одет рубище и как опустился весь!

— Точно так,— отвечал я,— я сын Натальи Николаевны Б.

— Здравствует?

— Матушка моя здорова. Она очень огорчилась вашим отказом,— прибавил я,— она никак не ожидала, что вы не захотите к ней приехать.

Мартын Петрович понурился.

— А был ты... там? — спросил он, качнув в сторону головою.

— Где?

— Там... на усадьбе. Не был? Сходи. Что тебе здесь делать? Сходи. Разговаривать со мной нечего. Не люблю.

Он помолчал.

— Тебе бы все с ружьем баловаться! В младых летах будучи, и я по этой дорожке бегал. Только отец у меня... а я его уважал; во как! не то что нынешние. Отхлестал отец меня арапником — и шабаш! Полно баловаться! Потому я его уважал... У!.. Да...

Харлов опять помолчал.

— А ты здесь не оставайся,— начал он снова.— Ты на усадьбу сходи. Там теперь хозяйство идет на славу. Володька... — Тут он на миг запнулся.— Володька у меня на все руки. Молодец! Ну, да и бестия же!

Я не знал, что сказать; Мартын Петрович говорил очень спокойно.

— И дочерей посмотри. Ты, чай, помнишь, у меня были дочери. Они тоже хозяйки... ловкие. А я стар становлюсь, брат; отстранился. На покой, знаешь...

«Хорош покой!» — подумал я, взглянув кругом.— Мартын Петрович! — промолвил я вслух.— Вам непременно надо к нам приехать.

Харлов глянул на меня.

— Ступай, брат, прочь; вот что.

— Не огорчайте маменьку, приезжайте.

— Ступай, брат, ступай,— твердил Харлов.— Что тебе со мной разговаривать?

— Если у вас экипажа нет, маменька вам свой пришлет.

— Ступай!

— Да, право же, Мартын Петрович!

Харлов опять понурился — и мне показалось, что его потемневшие, как бы землей перекрытые щеки слегка покраснели.

— Право, приезжайте,— продолжал я.— Что вам тут сидеть-то? Себя мучить?

— Как так мучить,— промолвил он с расстановкой.

— Да так же — мучить! — повторил я.

Харлов замолчал и словно в думу погрузился.

Ободренный этим молчаньем, я решился быть откровенным, действовать прямо, начистоту. (Не забудьте — мне было всего пятнадцать лет.)

— Мартын Петрович! — начал я, усаживаясь возле него.— Я ведь все знаю, решительно все! Я знаю, как ваш зять с вами поступает — конечно, с согласия ваших дочерей. И теперь вы в таком положении... Но зачем же унывать?

Харлов все молчал и только удочку уронил, а я-то — каким умницей, каким философом я себя чувствовал!

— Конечно,— заговорил я снова,— вы поступили неосторожно, что все отдали вашим дочерям. Это было очень великодушно с вашей стороны — и я вас упрекать не стану. В наше время это слишком редкая черта! Но если ваши дочери так неблагодарны, то вам следует оказать презрение... именно презрение... и не тосковать...

— Оставь! — прошептал вдруг Харлов со скрежетом зубов, и глаза его, уставленные на пруд, засверкали злобно... — Уйди!

— Но, Мартын Петрович...

— Уйди, говорят... а то убью!

Я было совсем пододвинулся к нему; но при этом последнем слове невольно вскочил на ноги.

— Что вы такое сказали, Мартын Петрович?

— Убью, говорят тебе: уйди! — Диким стоном, ревом вырвался голос из груди Харлова, но он не оборачивал головы и продолжал с яростью смотреть прямо перед собой.— Возьму да брошу тебя со всеми твоими дурацкими советами в воду — вот ты будешь знать, как старых людей беспокоить, молокосос! — «Он с ума сошел!» — мелькнуло у меня в голове.

Я взглянул на него попристальнее и остолбенел окончательно: Мартын Петрович плакал!! Слезинка за слезинкой катилась с его ресниц по щекам... а лицо приняло выражение совсем свирепое...

— Уйди! — закричал он еще раз,— а то убью тебя, ей-богу, чтобы другим повадно не было!

Он дрыгнул всем телом как-то вбок и оскалился, точно кабан; я схватил ружье и бросился бежать. Собака с лаем пустилась вслед за мною! И она тоже испугалась.

Вернувшись домой, я, разумеется, матушке ни единым словом не намекнул на то, что видел, но, встретившись с Сувениром, я — черт знает почему — рассказал ему все. Этот противный человек до того обрадовался моему рассказу, так визгливо хохотал и даже прыгал, что я чуть не побил его.

— Эх! посмотрел бы я,— твердил он, задыхаясь от смеха,— как этот идол, «вшед» Харлус, залез в тину, да и сидит в ней...

— Сходите к нему на пруд, коли вам так любопытно.

— Да; а как убьет?

Очень мне надоел Сувенир, и раскаивался я в своей неуместной болтливости... Житков, которому он передал мой рассказ, взглянул на дело несколько иначе.

— Придется к полиции обратиться,— решил он,— а пожалуй, и за воинской командой нужно будет послать.

Предчувствие его насчет воинской команды не сбылось,— но произошло действительно нечто необыкновенное.

XXII

В половине октября, недели три спустя после моего свидания с Мартыном Петровичем, я стоял у окна моей

комнаты, во втором этаже нашего дома,— и, ни о чем не помышляя, уныло посматривал на двор и на пролегавшую за ним дорогу. Погода уже пятый день стояла отвратительная; об охоте невозможно было и помышлять. Все живое поспряталось; даже воробьи притихли, а грачи давно пропали. Ветер то глухо завывал, то свистал порывисто; низкое, без всякого просвету небо из неприятно белого цвета переходило в свинцовый, еще более зловещий цвет — и дождь, который лил, лил неумолчно и беспрестанно, внезапно становился еще крупнее, еще косее — и с визгом расплывался по стеклам. Деревья совсем истрепались и какие-то серые стали: уж, кажется, что было с них взять,— а ветер нет-нет — да опять примется тормошить их. Везде стояли засоренные мертвыми листьями лужи; крупные волдыри, то и дело лопаясь и возрождаясь, вскакивали и скользили по ним. Грязь по дорогам стояла невылазная; холод проникал в комнаты, под платье, в самые кости; невольная дрожь пробегала по телу — и уж как становилось дурно на душе! Именно дурно — не грустно. Казалось, уже никогда не будет на свете ни солнца, ни блеска, ни красок, а вечно будет стоять эта слякоть и слизь, и серая мокрота, и сырость кислая — и ветер будет вечно пищать и ныть! Вот стоял я так-то в раздумье у окна — и помню я: темнота набежала внезапная, синяя темнота — хотя часы показывали всего двенадцать. Вдруг мне почудилось, что через наш двор — от ворот к крыльцу промчался медведь! Правда, не на четвереньках, а такой, каким его рисуют, когда он поднимается на задние лапы. Я глазам не верил. Если и не медведя я увидал, то во всяком случае что-то громадное, черное, шершавое... Не успел я еще сообразить, что б это могло быть, как вдруг раздался внизу неистовый стук. Казалось, что-то совсем неожиданное, что-то страшное ввалилось в наш дом. Поднялась суета, беготня...

Я проворно спустился с лестницы, вскочил в столовую...

В дверях гостиной, лицом ко мне, стояла как вкопанная моя матушка; за ней виднелось несколько испуганных женских лиц; дворецкий, два лакея, казачок с раскрытыми от изумления ртами — тискались у двери в переднюю; а посреди столовой, покрытое грязью, растрепанное, растерзанное, мокрое — мокрое до того, что пар поднимался кругом и вода струйками бежала по полу, стояло на коленях, грузно колыхаясь и как бы замирая,

то самое чудовище, которое в моих глазах промчалось через двор! И кто же был это чудовище? Харлов! Я зашел сбоку и увидал — не лицо его — а голову, которую он обхватил ладонями по слепленным грязью волосам. Он дышал тяжело, судорожно; что-то даже клокотало в его груди — и на всей этой забрызганной темной массе только и можно было различить явственно что крошечные, дико блуждавшие белки глаз. Он был ужасен! Вспомнился мне сановник, которого он некогда оборвал за сравнение с мастодонтом. Действительно: такой вид должно было иметь допотопное животное, только что спасшееся от другого, сильнейшего зверя, напавшего на него среди вековечного ила первобытных болот.

— Мартын Петрович! — воскликнула наконец матушка и руками всплеснула.— Ты ли это? Господи, боже милостивый!

— Я... я... — послышался прерывистый голос, как бы с усилием и болью выпирая каждый звук,— ох! Я!

— Но что это с тобою, господи?!

— Наталья Николав... на... я к вам... прямо из дому бе... жал пешком...

— По этакой грязи! Да ты на человека не похож. Встань, сядь по крайней мере... А вы,— обратилась она к горничным,— поскорей сбегайте за полотенцами. Да нет ли сухого платья? — спросила она дворецкого.

Дворецкий показал руками, что где же, мол, на такой рост?..

— А впрочем, одеяло можно принести,— доложил он,— не то попона есть новая.

— Да встань же, встань, Мартын Петрович, сядь,— повторяла матушка.

— Выгнали меня, сударыня,— простонал вдруг Харлов,— и голову назад закинул и руки протянул вперед.— Выгнали, Наталья Николаевна! Родные дочери из моего же родного пепелища...

Матушка ахнула.

— Что ты говоришь! Выгнали! Экой грех! экой грех! (Она перекрестилась.) Только встань ты, Мартын Петрович, сделай милость!

Две горничные вошли с полотенцами и остановились перед Харловым. Видно было, что они и придумать не могли, как им приступиться к этакой уйме грязи.

— Выгнали, сударыня, выгнали,— твердил между тем Харлов.— Дворецкий вернулся с большим шерстя-

ным одеялом и тоже остановился в недоумении. Головка Сувенира высунулась из-за двери и исчезла.

— Мартын Петрович, встань! Сядь! и расскажи мне все по порядку,— решительным тоном скомандовала матушка.

Харлов приподнялся... Дворецкий хотел было ему помочь, но только руку замарал и, встряхивая пальцами, отступил к двери. Переваливаясь и шатаясь, Харлов добрался до стула и сел. Горничные опять приблизились к нему с полотенцами, но он отстранил их движением руки и от одеяла отказался. Впрочем, матушка сама не стала настаивать: обсушить Харлова, очевидно, не было возможности; только следы его на полу наскоро подтерли.

XXIII

— Как же это тебя выгнали? — спросила матушка Харлова, как только он немного «отдышался».

— Сударыня! Наталья Николаевна! — начал он напряженным голосом — и опять поразила меня беспокойная беготня его белков,— буду правду говорить: больше всех виноват я сам.

— То-то вот; не хотел ты меня тогда послушаться,— промолвила матушка, опускаясь на кресло и слегка помахивая перед носом надушенным платком: очень уже разило от Харлова... в лесном болоте не так сильно пахнет.

— Ох, не тем я провинился, сударыня, а гордостью. Гордость погубила меня, не хуже царя Навуходоносора. Думал я: не обидел меня господь бог умом-разумом; коли я что решил — стало, так и следует... а тут страх смерти подошел... Вовсе я сбился! Покажу, мол, я напоследках силу да власть свою! Награжу — а они должны по гроб чувствовать... (Харлов вдруг весь всколыхался...) Как пса паршивого выгнали из дому вон! Вот их какова благодарность!

— Но каким же образом,— опять начала было матушка...

— Казачка Максимку от меня взяли,— перебил ее Харлов (глаза его продолжали бегать, обе руки он держал у подбородка — пальцы в пальцы),— экипаж отняли, месячину урезали, жалованья выговоренного не платили — кругом, как есть, окорнали — я все молчал, все терпел! И терпел я по причине... ох! опять-таки гордости

моей. Чтобы не говорили враги мои лютые: вот, мол, старый дурак, теперь кается; да и вы, сударыня, помните, меня предостерегали: локтя, мол, своего не укусишь! — вот я и терпел... Только сегодня прихожу я к себе в комнату — а уж она занята — и постельку мою в чулан выкинули! Можешь-де и там спать; тебя и так за милость терпят; нам-де твоя комната нужна для хозяйства. И это мне говорит — кто же?! Володька Слёткин, смерд, паскуд...

Голос Харлова оборвался.

— Но дочери-то твои? Они-то что же? — спросила матушка.

— А все терпел,— продолжал Харлов свое повествование,— горько, горько мне было вó как и стыдно... Не глядел бы на свет божий! Оттого я к вам, матушка, поехать не захотел — от этого от самого от стыда, от страму! Ведь я, матушка моя, все перепробовал: и лаской, и угрозой, и усовещивал-то их, и что уж! кланялся... вот так-то (Харлов показал, как он кланялся). И все понапрасну! И все-то я терпел! С началу-то, на первых-то порах, не такие у меня мысли были: возьму, мол, перебью, перешвыряю всех, чтобы и на семена не осталось... Будут знать! Ну, а потом — покорился! Крест, думаю, мне послан; к смерти, значит, приготовиться надо. И вдруг сегодня, как пса! И кто же? Володька! А что вы о дочерях спрашивать изволили, то разве в них есть какая своя воля? Володькины холопки! Да!

Матушка удивилась.

— Про Анну я еще это понять могу; она — жена... Но с какой стати вторая-то твоя...

— Евлампия-то? Хуже Анны! Вся, как есть, совсем в Володькины руки отдалась. По той причине она и вашему солдату-то отказала. По его, по Володькину, приказу. Анне — видимое дело — следовало бы обидеться, да она и терпеть сестры не может — а покоряется! Околдовал, проклятый! Да ей же, Анне, вишь, думать приятно, что вот, мол, ты, Евлампия, какая всегда была гордая, а теперь вон что из тебя стало!.. О... ох, ох! Боже мой, боже!

Матушка с беспокойством посмотрела на меня. Я отошел немножко в сторону, из предосторожности, как бы меня не выслали...

— Очень сожалею, Мартын Петрович,—начала она,— что мой бывший воспитанник причинил тебе столько го-

ря и таким нехорошим человеком оказался; но ведь и я в нем ошиблась... Кто мог это ожидать от него!

— Сударыня,— простонал Харлов и ударил себя в грудь.— Не могу я снести неблагодарность моих дочерей! Не могу, сударыня! Ведь я им все, все отдал! И к тому же совесть меня замучила. Много... ох! много передумал я, у пруда сидючи да рыбу удучи! «Хоть бы ты пользу кому в жизни сделал! — размышлял я так-то,— бедных награждал, крестьян на волю отпустил, что ли, за то, что век их заедал! Ведь ты перед богом за них ответчик! Вот когда тебе отливаются их слезки!» И какая теперь их судьба: была яма глубокая и при мне — что греха таить, а теперь и дна не видать! Эти все грехи я на душу взял, совестью для детей пожертвовал, а мне за это шиш! Из дому меня пинком, как пса!

— Полно об этом думать, Мартын Петрович,— заметила матушка.

— И как он мне сказал, ваш-то Володька,— с новой силой подхватил Харлов,— как сказал он мне, что мне в моей горенке больше не жить, а я в самой той горенке каждое бревнышко собственными руками клал — как сказал он мне это — и бог знает, что со мной приключилось! В головушке помутилось, по́ сердцу как ножом... ну! либо его зарезать, либо из дому вон!.. Вот я и побежал к вам, благодетельница моя, Наталья Николаевна... и куды ж мне было голову приклонить? А тут дождь, слякоть... Я, может, раз двадцать упал! И теперь... в этаком безобразии...

Харлов окинул себя взглядом и завозился на стуле, словно встать собирался.

— Полно тебе, полно, Мартын Петрович,— поспешно проговорила матушка,— какая в том беда? Что ты пол-то замарал? Эка важность! А я вот какое хочу тебе предложение сделать. Слушай! Отведут тебя теперь в особую комнату, постель дадут чистую — ты разденься, умойся, да приляг и усни...

— Матушка, Наталья Николаевна! Не уснуть мне! — уныло промолвил Харлов.— В мозгах-то словно молотами стучат! Ведь меня, как тварь непотребную...

— Ляг, усни,— настойчиво повторила матушка.— А потом мы тебя чаем напо́им — ну, и потолкуем с тобою. Не унывай, приятель старинный! Если тебя из *твоего* дома выгнали, в *моем* доме ты всегда найдешь себе приют... Я ведь не забыла, что ты мне жизнь спас.

— Благодетельница! — простонал Харлов и закрыл лицо руками.— Спасите *вы* меня теперь!

Это воззвание тронуло мою матушку почти до слез.

— Охотно готова тебе помочь, Мартын Петрович, всем, чем только могу; но ты должен обещать мне, что будешь вперед меня слушаться и всякие недобрые мысли прочь от себя отгонишь.

Харлов принял руки от лица.

— Коли нужно,— промолвил он,— я ведь и простить могу!

Матушка одобрительно кивнула головой.

— Очень мне приятно видеть тебя в таком истинно христианском расположении духа, Мартын Петрович; но речь об этом впереди. Пока приведи ты себя в порядок — а главное, усни. Отведи ты Мартына Петровича в зеленый кабинет покойного барина,— обратилась матушка к дворецкому,— и что он только потребует, чтобы сию минуту было! Платье его прикажи высушить и вычистить,— а белье, какое понадобится, спроси у кастелянши — слышишь?

— Слушаю,— отвечал дворецкий.

— А как он проснется, мерку с него прикажи снять портному; да бороду надо будеть сбрить. Не сейчас, а после.

— Слушаю,— повторил дворецкий.— Мартын Петрович, пожалуйте.— Харлов поднялся, посмотрел на матушку, хотел было подойти к ней, но остановился, отвесил поясной поклон, перекрестился трижды на образ и пошел за дворецким. Вслед за ним и я выскользнул из комнаты.

XXIV

Дворецкий привел Харлова в зеленый кабинет и тотчас побежал за кастеляншей, так как белья на постели не оказалось. Сувенир, встретивший нас в передней и вместе с нами вскочивший в кабинет, немедленно принялся, с кривляньем и хохотом, вертеться около Харлова, который, слегка расставив руки и ноги, в раздумье остановился посреди комнаты. Вода все еще продолжала течь с него.

— Вшед! Вшед Харлус! — пищал Сувенир, перегнувшись надвое и держа себя за бока.— Великий основатель знаменитого рода Харловых, воззри на своего потомка! Каков он есть? Можешь его признать? Ха-ха-ха! Ваше

сиятельство, пожалуйте ручку! отчего это на вас черные перчатки?

Я хотел было удержать, пристыдить Сувенира... но не тут-то было!

— Приживальщиком меня величал, дармоедом! «Нет, мол, у тебя своего крова!» А теперь небось таким же приживальщиком стал, как и аз грешный! Что Мартын Харлов, что Сувенир проходимец — теперь всё едино! Подачками тоже кормиться будет. Возьмут корку хлеба завалящую, что собака нюхала, да прочь пошла... На, мол, кушай! Ха-ха-ха!

Харлов все стоял неподвижно, уткнув голову, расставив ноги и руки.

— Мартын Харлов! столбовой дворянин! — продолжал пищать Сувенир.— Важность-то какую на себя напустил, фу ты, ну ты! Не подходи, мол, зашибу! А как именье свое от большого ума стал отдавать да делить — куды раскудахтался! «Благодарность! кричит, благодарность!» А меня-то за что обидел? Не наградил? Я, быть может, лучше бы восчувствовал! И, значит, правду я говорил, что посадят его голой спиной...

— Сувенир! — закричал я; но Сувенир не унимался. Харлов все не трогался; казалось, он только теперь начинал чувствовать, до какой степени все на нем было мокро, и ждал, когда это с него все снимут. Но дворецкий не возвращался.

— А еще воин! — начал опять Сувенир.— В двенадцатом году отечество спасал, храбрость свою показывал! То-то вот и есть с мерзлых мародеров портки стащить — это наше дело; а как девка на нас ногой притопнет, у нас у самих душа в портки...

— Сувенир! — закричал я вторично.

Харлов искоса посмотрел на Сувенира; он до того мгновенья словно и присутствия его не замечал, и только возглас мой возбудил его внимание.

— Смотри, брат,— проворчал он глухо,— не допрыгайся до беды!

Сувенир так и покатился со смеху.

— Ох, как вы меня испугали, братец почтеннейший! уж как вы страшны, право! Хоть бы волосики себе причесали, а то, сохрани бог, засохнут, не отмоешь их потóм; придется скосить косою.— Сувенир вдруг расходился.— Еще куражитесь! Голыш, а куражится! Где ваш кров теперь, вы лучше мне скажите, вы все им хваста-

лись? У меня, дескать, кров есть, а ты бескровный! Наследственный, дескать, мой кров! (Далось же Сувениру это слово!)

— Господин Бычков,— промолвил я.— Что вы делаете! опомнитесь!

Но он продолжал трещать и все прыгал да шмыгал около самого Харлова... А дворецкий с кастеляншей все не шли!

Мне жутко становилось. Я начинал замечать, что Харлов, который в течение разговора с моей матушкой постепенно стихал и даже под конец, по-видимому, помирился с своей участью, снова стал раздражаться: он задышал скорее, под ушами у него вдруг словно припухло, пальцы зашевелились, глаза снова забегали среди темной маски забрызганного лица...

— Сувенир! Сувенир! — воскликнул я.— Перестаньте, я маменьке скажу.

Но Сувениром словно бес овладел.

— Да, да, почтеннейший! — затрещал он опять,— вот мы с вами теперь в каких субтильных обстоятельствах обретаемся! А дочки ваши, с зятьком вашим, Владимиром Васильевичем, под вашим *кровом* над вами потешаются вдоволь! И хоть бы вы их, по обещанию, прокляли! И на это вас не хватило! Да и куда вам с Владимиром Васильевичем тягаться? Еще Володькой его называли! Какой он для вас Володька? Он — Владимир Васильевич, господин Слёткин, помещик, барин, а ты — кто такой?

Неистовый рев заглушил речь Сувенира... Харлова взорвало. Кулаки его сжались и поднялись, лицо посинело, пена показалась на истресканных губах, он задрожал от ярости.

— Кров! — говоришь ты! — загремел он своим железным голосом,— проклятие! — говоришь ты... Нет! я их не прокляну... Им это нипочем! А кров... кров я их разорю, и не будет у них крова так же, как у меня! Узнают они Мартына Харлова! Не пропала еще моя сила! Узнают, как надо мной издеваться!.. Не будет у них крова!

Я обомлел; я отроду не бывал свидетелем такого безмерного гнева. Не человек, дикий зверь метался предо мною! Я обомлел... а Сувенир, тот от страха под стол забился.

— Не будет! — закричал Харлов в последний раз и, чуть не сбив с ног входивших кастеляншу и дворецкого,

бросился вон из дому... Кубарем прокатился он по двору и исчез за воротами.

XXV

Матушка страшно рассердилась, когда дворецкий пришел с смущенным видом доложить о новой и неожиданной отлучке Мартына Петровича. Он не осмелился утаить причину этой отлучки; я принужден был подтвердить его слова.

— Так это все ты! — закричала матушка на Сувенира,— который забежал было зайцем вперед и даже к ручке подошел,— твой пакостный язык всему виною!

— Помилуйте, я чичас, чичас...— залепетал, заикаясь и закидывая локти за спину, Сувенир.

— Чичас... чичас... Знаю я твое: чичас! — повторила матушка с укоризной и выслала его вон. Потом она позвонила, велела позвать Квицинского и отдала ему приказ: немедленно отправиться с экипажем в Еськово, во что бы то ни стало отыскать Мартына Петровича и привезти его.— Без него не являйтесь! — заключила она. Сумрачный поляк молча наклонил голову и вышел.

Я вернулся к себе в комнату, снова подсел к окну и, помнится, долго размышлял о том, что у меня на глазах совершилось. Я недоумевал; я никак не мог понять, почему Харлов, почти без ропота переносивший оскорбления, нанесенные ему домашними, не мог совладать с собою и не перенес насмешек и шпилек такого ничтожного существа, каков был Сувенир. Я не знал еще тогда, какая нестерпимая горечь может иной раз заключаться в пустом упреке, даже, когда он исходит из презренных уст... Ненавистное имя Слёткина, произнесенное Сувениром, упало искрою в порох; наболевшее место не выдержало этого последнего укола.

Прошло около часа. Коляска наша въехала на двор; но в ней сидел наш управляющий один. А матушка ему сказала: «Без *него* не являйтесь!» Квицинский торопливо выскочил из экипажа — и взбежал на крыльцо. Лицо его являло вид расстроенный, что с ним почти никогда не бывало. Я тотчас спустился вниз и по его пятам пошел в гостиную.

— Ну? привезли его? — спросила матушка.

— Не привез,— отвечал Квицинский,— и не мог привезти.

— Это почему? Вы его видели?

— Видел.

— С ним что случилось? Удар?

— Никак нет; ничего не случилось.

— Почему же вы не привезли его?

— А он дом свой разоряет.

— Как?

— Стоит на крыше нового флигеля — и разоряет ее. Тесин, полагать надо, с сорок или больше уже слетело; решетин тоже штук пять. («Кро́ва у них не будет!» — вспомнились мне слова Харлова.)

Матушка уставилась на Квицинского.

— Один... на крыше стоит и крышу разоряет?

— Точно так-с. Ходит по настилке чердака и направо да налево ломает. Сила у него, вы изволите знать, сверхчеловеческая! Ну и крыша, надо правду сказать, лядащая; выведена вразбежку, шалёвками забрана, гвозди — однотес [1].

Матушка посмотрела на меня, как бы желая удостовериться, не ослышалась ли она как-нибудь.

— Шалёвками вразбежку,— повторила она, явно не понимая значения ни одного из этих слов...

— Ну, так что ж вы? — проговорила она наконец.

— Приехал за инструкциями. Без людей ничего не поделаешь. Тамошние крестьяне все со страха попрятались.

— А дочери-то его — что же?

— И дочери — ничего. Бегают, зря... голосят... Что толку?

— И Слёткин там?

— Там тоже. Пуще всех вопит — но поделать ничего не может.

— И Мартын Петрович на крыше стоит?

— На крыше... то есть на чердаке — и крышу разоряет.

— Да, да,— проговорила матушка,— шалёвками...

Казус, очевидно, предстоял необыкновенный.

Что было предпринять? Послать в город за исправником, собрать крестьян? Матушка совсем потерялась.

---

[1] Крыша выводится «вразбивку» или «вразбежку», когда между каждыми двумя тесинами оставляется пустое пространство, закрываемое сверху другой тесиной; такая крыша дешевле, но менее прочна. Шалёвкой называется самая тонкая доска в $^1/_2$ вершка, обыкновенная тесина — в $^3/_4$ вершка. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

Приехавший к обеду Житков тоже потерялся. Правда, он упомянул опять о воинской команде, а впрочем, никакого совета не преподал и только глядел подчиненно и преданно. Квицинский, видя, что никаких инструкций ему не добиться, доложил — со свойственной ему презрительной почтительностью — моей матушке, что если она разрешит ему взять несколько конюхов, садовников и других дворовых, то он попытается...

— Да, да,— перебила его матушка,— попытайтесь, любезный Викентий Осипыч! Только поскорее, пожалуйста, а я все беру на свою ответственность!

Квицинский холодно улыбнулся.

— Оно наперед позвольте объяснить вам, сударыня: за результат невозможно ручаться, ибо сила у господина Харлова большая и отчаянность тоже; очень уж он оскорбленным себя почитает!

— Да, да,— подхватила матушка,— и всему виною этот гадкий Сувенир! Никогда я этого ему не прощу! Ступайте, возьмите людей, поезжайте, Викентий Осипыч!

— Вы, господин управляющий, веревок побольше захватите да пожарных крючьев,— промолвил басом Житков,— и коли сеть имеется — то и ее тоже взять недурно. У нас вот так-то однажды в полку...

— Не извольте учить меня, милостивый государь,— перебил с досадой Квицинский,— я и без вас знаю, что нужно.

Житков обиделся и объявил, что так как он полагал, что и его позовут...

— Нет, нет! — вмешалась матушка.— Ты уж лучше оставайся... Пускай Викентий Осипыч один действует... Ступайте, Викентий Осипыч!

Житков еще пуще обиделся, а Квицинский поклонился и вышел.

Я бросился в конюшню, сам наскоро оседлал свою верховую лошадку и пустился вскачь по дороге к Еськову.

XXVI

Дождик перестал, но ветер дул с удвоенной силой — прямо мне навстречу. На полдороге седло подо мною чуть не перевернулось, подпруга ослабла; я слез и принялся зубами натягивать ремни... Вдруг слышу: кто-то зовет меня по имени... Сувенир бежал ко мне по зеленям.

— Что, батенька,— кричал он мне еще издали,— любопытство одолело? Да и нельзя... Вот и я туда же, прямиком, по харловскому следу... Ведь этакой штуки, умрешь — не увидишь!

— На дело рук своих хотите полюбоваться,— промолвил я с негодованием, вскочил на лошадь и снова поднял ее в галоп; но неугомонный Сувенир не отставал от меня и даже на бегу хохотал и кривлялся. Вот наконец и Еськово — вот и плотина, а там длинный плетень и ракитник усадьбы... Я подъехал к воротам, слез, привязал лошадь и остановился в изумлении.

От передней трети крыши на новом флигельке, от мезонина, оставался один остов; драни и тесины лежали беспорядочными грудами с обеих сторон флигеля на земле. Положим, крыша была, по выражению Квицинского, лядащая; но все же дело было невероятное! По настилке чердака, вздымая пыль и сор, неуклюже-проворно двигалась исчерна-серая масса и то раскачивала оставшуюся, из кирпича сложенную, трубу (другая уже повалилась), то отдирала тесину и бросала ее книзу, то хваталась за самые стропила. То был Харлов. Совершенным медведем показался он мне и тут: и голова, и спина, и плечи — медвежьи, и ставил он ноги широко, не разгибая ступни — тоже по-медвежьему. Резкий ветер обдувал его со всех сторон, вздымая его склоченные волосы; страшно было видеть, как местами краснело его голое тело сквозь прорехи разорванного платья; страшно было слышать его дикое, хриплое бормотание. На дворе было людно; бабы, мальчишки, дворовые девки жались вдоль забора; несколько крестьян сбилось поодаль в отдельную кучу. Знакомый мне старик поп стоял без шляпы на крыльце другого флигеля и, схватив медный крест обеими руками, время от времени молча и безнадежно поднимал и как бы показывал его Харлову. Рядом с попом стояла Евлампия и, прислонившись спиною к стене, неподвижно смотрела на отца; Анна — то высовывала голову из окошка, то исчезала, то выскакивала на двор, то возвращалась в дом; Слёткин — весь бледный, желтый, в старом шлафроке, в ермолке, с одноствольным ружьем в руках, перебегал короткими шагами с места на место. Он совсем, как говорится, ожидовел; задыхался, грозился, трясся, целился в Харлова, потом закидывал ружье за плечо,— целился опять, кричал, плакал... Увидав меня с Сувениром, он так и ринулся к нам.

— Посмотрите, посмотрите, что тут происходит! — завизжал он,— посмотрите! Он с ума сошел, взбеленился... и вот что делает! Я уж за полицией послал — да никто не едет! Никто не едет! Ведь если я в него выстрелю, с меня закон взыскать не может, потому что всякий человек вправе защищать свою собственность! А я выстрелю!.. Ей-богу, выстрелю!

Он подскочил к дому.

— Мартын Петрович, берегитесь! Если вы не сойдете,— я выстрелю!

— Стреляй! — раздался с крыши хриплый голос.— Стреляй! А вот тебе пока гостинец!

Длинная доска полетела сверху — и, перевернувшись раза два на воздухе, брякнулась наземь у самых ног Слёткина. Тот так и взвился, а Харлов захохотал.

— Господи Иисусе! — пролепетал кто-то за моей спиною. Я оглянулся: Сувенир. «А! — подумал я,— перестал теперь смеяться!»

Слёткин схватил близ стоявшего мужика за шиворот.

— Да полезай, полезай же, полезайте, черти,— вопил он, тряся его изо всей силы,— спасайте мое имущество!

Мужик ступил раза два, закинул голову, помахал руками, закричал:

— Эй! вы! господин! — потолокся на месте и верть назад.

— Лестницу! лестницу несите! — обратился Слёткин к прочим крестьянам.

— А где ее взять?— послышалось ему в ответ.

— И хоть бы лестница была,— промолвил не спеша один голос,— кому ж охота лезть? Нашли дураков! Он те шею свернет — мигом!

— С'час убиеть,— проговорил один молодой белокурый парень с придурковатым лицом.

— А то нешто нет? — подхватили остальные. Мне показалось, что, не будь даже явной опасности, мужики все-таки неохотно исполнили бы приказание своего нового помещика. Чуть ли не одобряли они Харлова — хоть и удивлял он их.

— Ах вы разбойники! — застонал Слёткин,— вот я вас всех...

Но тут с тяжким грохотом бухнула последняя труба, и среди мгновенно взвившегося облака желтой пыли Харлов, испустив пронзительный крик и высоко подняв

окровавленные руки, повернулся к нам лицом. Слёткин опять в него прицелился.

Евлампия одернула его за локоть.

— Не мешай! — свирепо вскинулся он на нее.

— А ты — не смей! — промолвила она — и синие ее глаза грозно сверкнули из-под надвинутых бровей.— Отец свой дом разоряет. Его добро.

— Врешь: наше!

— Ты говоришь: наше; а я говорю: его.

Слёткин зашипел от злобы; Евлампия так и уперлась ему в лицо глазами.

— А, здорово! здорово, дочка любезная! — загремел сверху Харлов.— Здорово, Евлампия Мартыновна! Как живешь-можешь со своим приятелем? Хорошо ли целуетесь, милуетесь?

— Отец! — послышался звучный голос Евлампии.

— Что, дочка? — отвечал Харлов и пододвинулся к самому краю стены. На лице его, сколько я мог разобрать, появилась странная усмешка,— светлая, веселая,— и именно потому особенно страшная, недобрая усмешка... Много лет спустя я видел такую же точно усмешку на лице одного к смерти приговоренного.

— Перестань, отец; сойди (Евлампия не говорила ему «батюшка»). Мы виноваты; все тебе возвратим. Сойди.

— А ты что за нас распоряжаешься?— вмешался Слёткин. Евлампия только пуще брови нахмурила.

— Я свою часть тебе возвращу — все отдам. Перестань, сойди, отец! Прости нас; прости меня.

Харлов все продолжал усмехаться.

— Поздно, голубушка,— заговорил он, и каждое его слово звенело, как медь.— Поздно шевельнулась каменная твоя душа! Под гору покатилось — теперь не удержишь! И не смотри ты на меня теперь! Я — пропащий человек! Ты посмотри лучше на своего Володьку: вишь, какой красавчик выискался! Да на свою эхиденную сестру посмотри; вон ее лисий нос из окошка выставляется, вон она муженька-то подуськивает! Нет, сударики! Захотели вы меня крова лишить — так не оставлю же я и вам бревна на бревне! Своими руками клал, своими же руками разорю — как есть одними руками! Видите, и топора не взял!

Он фукнул себе на обе ладони и опять ухватился за стропила.

— Полно, отец,— говорила меж тем Евлампия, и голос ее стал как-то чудно ласков,— не поминай прошлого. Ну, поверь же мне; ты всегда мне верил. Ну, сойди: приди ко мне в светелку, на мою постель мягкую. Я обсушу тебя да согрею; раны твои перевяжу, вишь, ты руки себе ободрал. Будешь ты жить у меня, как у Христа за пазухой, кушать сладко, а спать еще слаще того. Ну, были виноваты! ну, зазнались, согрешили; ну, прости!

Харлов покачал головою.

— Расписывай! Поверю я вам, как бы не так! Убили вы во мне веру-то! Все убили! Был я орлом — и червяком для вас сделался... а вы—и червяка давить? Полно! Я тебя любил, сама знаешь,— а только теперь ты мне не дочь — и я тебе не отец... Я пропащий человек! Не мешай! А ты стреляй же, трус, горе-богатырь! — гаркнул вдруг Харлов на Слёткина.— Что все только целишься? Али закон вспомнил: коли принявший дар учинит покушение на жизнь дателя,— заговорил Харлов с расстановкой,— то датель властен все назад потребовать? Ха-ха, не бойся, законник! Я не потребую — я сам все покончу... Валяй!

— Отец! — в последний раз взмолилась Евлампия.

— Молчи!

— Мартын Петрович! братец, простите великодушно! — пролепетал Сувенир.

— Отец, голубчик!

— Молчи, сука! — крикнул Харлов. На Сувенира он и не посмотрел — и только сплюнул в его сторону.

XXVII

В это мгновенье Квицинский со всей своей свитой — на трех телегах — появился у ворот. Усталые лошади фыркали, люди один за одним соскакивали в грязь.

— Эге! — закричал во все горло Харлов.— Армия... вот она, армия! Целую армию против меня выставляют. Хорошо же! Только предваряю, кто ко мне сюда на крышу пожалует — и того я вверх тормашками вниз спущу! Я хозяин строгий, не в пору гостей не люблю! Так-то!

Он уцепился обеими руками за переднюю пару стропил, за так называемые «ноги» фронтона, и начал усиленно их раскачивать. Свесившись с краю настилки, он

как бы тащил их за собою, мерно напевая по-бурлацкому: «Еще разик! еще раз! ух!»

Слёткин подбежал к Квицинскому и начал было жаловаться и хныкать... Тот попросил его «не мешать» и приступил к исполнению задуманного им плана. Сам он стал впереди дома и начал, в виде диверсии, объяснять Харлову, что не дворянское он затеял дело...

— Еще разик! еще раз! — напевал Харлов.

...Что Наталья Николаевна весьма недовольна его поступками и не того от него ожидала...

— Еще разик! еще раз! ух! — напевал Харлов. А между тем Квицинский отрядил четырех самых здоровых и смелых конюхов на противоположную сторону дома, с тем чтобы они сзади взобрались на крышу. От Харлова, однако, не ускользнул план атаки; он вдруг бросил стропила и проворно побежал к задней части мезонина. Вид его до того был страшен, что два конюха, которые успели уже взобраться на чердак, мигом спустились обратно на землю по водосточной трубе, к немалому удовольствию и даже хохоту дворовых мальчишек. Харлов потряс им вслед кулаком и, вернувшись к передней части дома, опять ухватился за стропила и стал их опять раскачивать, опять напевая по-бурлацки.

Он вдруг остановился, вóззрелся...

— Максимушка, друг! приятель! — воскликнул он,— тебя ли я вижу?

Я оглянулся... От толпы крестьян действительно отделился казачок Максимка и, ухмыляясь и скаля зубы, вышел вперед. Его хозяин, шорник, вероятно, отпустил его домой на побывку.

— Полезай ко мне, Максимушка, слуга мой верный,— продолжал Харлов,— станем вместе отбиваться от лихих татарских людей, от воров литовских!

Максимка, все продолжая ухмыляться, немедленно полез на крышу... Но его схватили и оттащили — бог знает почему — разве для примеру другим; помощи большой он Мартыну Петровичу не оказал бы.

— Ну, хорошо же! Добро же! — промолвил Харлов угрожающим голосом и снова взялся за стропила.

— Викентий Осипович! позвольте я выстрелю,— обратился Слёткин к Квицинскому,— я ведь больше для страха, ружье у меня заряжено бекасинником.— Но не успел еще ответить ему Квицинский, как передняя пара стропил, яростно раскаченная железными руками Харлова,

накренилась, затрещала и рухнула на двор — и вместе с нею, не будучи в силах удержаться, рухнул сам Харлов и грузно треснулся оземь. Все вздрогнули, ахнули... Харлов лежал неподвижно на груди, а в спину ему уперся продольный верхний брус крыши, конек, который последовал за упавшим фронтоном.

XXVIII

К Харлову подскочили, свалили долой с него брус, повернули его навзничь; лицо его было безжизненно, у рта показалась кровь, он не дышал. «Дух отшибло»,— пробормотали подошедшие мужики. Побежали за водой к колодцу, принесли целое ведро, окатили Харлову голову; грязь и пыль сошли с лица, но безжизненный вид оставался тот же. Притащили скамейку, поставили ее у самого флигеля и, с трудом приподнявши громадное тело Мартына Петровича, посадили его, прислонив голову к стене. Казачок Максимка приблизился, стал на одно колено и, далеко отставив другую ногу, как-то театрально поддерживал руку бывшего своего барина. Евлампия, бледная как сама смерть, стала прямо перед отцом, неподвижно устремив на него свои огромные глаза. Анна с Слёткиным не подходили близко. Все молчали, все ждали чего-то. Наконец послышались прерывистые, хлюпающие звуки в горле Харлова — точно он захлебывался... Потом он слабо повел одной — правой рукой (Максимка поддерживал левую), раскрыл один — правый глаз и, медленно проведя около себя взором, словно каким-то страшным пьянством пьяный, охнул — произнес картавя:

— Рас... шибся...— и, как бы подумав немного, прибавил: Вот он, воро... ной... жере... бенок!— Кровь вдруг густо хлынула у него изо рта — все тело затрепетало...

«Конец!» — подумал я... Но Харлов открыл еще — все тот же правый глаз (левая века не шевелилась, как у мертвеца) — и, вперив его на Евлампию, произнес едва слышно: — Ну, доч...ка... Тебя я не про...— Квицинский резким движением руки подозвал попа, который все еще стоял на крыльце флигеля... Старик приблизился, путаясь слабыми коленями в тесной рясе. Но вдруг ноги Харлова как-то безобразно повело и живот тоже; по лицу, снизу вверх, прошла нервная судорога — точно так же исказилось и задрожало лицо Евлампии. Максимка

начал креститься... Мне стало жутко, я побежал к воротам и, не оглядываясь, приник к ним грудью. Минуту спустя что-то тихо прогудело по всем устам сзади меня — и я понял, что Мартына Петровича не стало.

Ему брусом затылок проломило, и грудь он себе раздробил, как оказалось при вскрытии.

XXIX

«Что он хотел сказать ей, умирая?» — спрашивал я самого себя, возвращаясь домой на своем клеппере: «Я тебя не про...клинаю? или не про... щаю?» Дождик опять полил, но я ехал шагом. Мне хотелось подольше остаться одному, хотелось безвозбранно предаться моим размышлениям. Сувенир отправился на одной из телег, прибывших с Квицинским. Как я ни был молод и легкомыслен в то время, но внезапная, общая (не в одних частностях) перемена, постоянно вызываемая во всех сердцах неожиданным или ожиданным (все равно!) появлением смерти, ее торжественность, важность и правдивость — не могли не поразить меня. Я и был поражен... но со всем тем мой смущенный детский взор заметил тотчас многое: он заметил, как Слёткин, проворно и робко, словно краденую вещь, швырнул в сторону ружье, как он и жена его оба мгновенно стали предметом хотя безмолвного, но общего отчуждения, как сделалось пусто вокруг них... На Евлампию, хотя вина ее была, вероятно, не меньше сестриной, это отчуждение не распространялось. Она даже некоторое сожаление к себе возбудила, когда повалилась в ноги скончавшемуся отцу. Но что и она была виновата,— это все-таки чувствовалось всеми. «Обидели старика,— промолвил один седоватый головастый крестьянин, опираясь, как некий древний судья, обеими руками и бородою на длинную палку,— на вашей душе грех! Обидели!» Это слово «обидели!» тотчас было принято всеми, как бесповоротный приговор. Правосудие народное сказалось, я понял это немедленно. Я заметил также, что на первых порах Слёткин не *смел* распоряжаться. Без него подняли и понесли тело в дом; не спросясь его, священник отправился за нужными вещами в церковь, а староста побежал в деревню справлять подводу в город. Сама Анна Мартыновна не решалась обычным начальническим тоном приказать поставить самовар, «чтоб теплая вода бы-

ла — обмыть покойника». Ее приказание походило на просьбу — и отвечали ей грубо...

Меня же все занимал вопрос: что он, собственно, хотел сказать своей дочери? Простить ли он ее хотел или проклясть? Я решил наконец, что — простить.

Дня через три происходили похороны Мартына Петровича на счет матушки, которая очень огорчилась его смертью и приказала не жалеть издержек. Сама она не поехала в церковь,— потому что не хотела, как она выражалась, видеть тех двух мерзавок и гадкого того жиденка; но послала Квицинского, меня и Житкова, которого, впрочем, с того времени иначе уже не величала, как бабой! Сувенира она на глаза к себе не пускала и долго потом еще гнѐвалась на него, называя его убийцей своего друга. Опала эта была ему весьма чувствительна: он постоянно расхаживал на цыпочках по комнате, соседней с той, где находилась матушка, предавался какой-то тревожной и подлой меланхолии, вздрагивал и шептал: «Чичас!»

В церкви и во время процессии Слёткин показался мне снова попавшим «в свою тарелку». Он распоряжался и суетился по-прежнему и жадно наблюдал за тем, чтобы не тратилось лишней копейки, хотя дело не касалось собственно его кармана. Максимка, в новом, тоже моей матушкой пожалованном казакине, выводил на клиросе такие теноровые ноты, что в искренности его преданности покойнику, конечно, уже никто сомневаться не мог! Обе сестры были, как следует, в траурных платьях — но казались более смущенными, чем огорченными, особенно Евлампия. Анна приняла на себя смиренный и постный вид, впрочем, не силилась плакать и все только проводила своей красивой сухой рукой по волосам и щеке. Евлампия все задумывалась. То общее, бесповоротное отчуждение, осуждение, какое я заметил в день смерти Харлова, чудилось мне и теперь на всех лицах бывших в церкви людей, во всех их движеньях, в их взглядах,— но еще степеннее и как бы безучастнее. Казалось, все эти люди знали, что грех, в который впало харловское семейство, тот великий грех — поступил теперь в ведение единого праведного судии и что, следовательно, им уже не для чего было беспокоиться и негодовать. Они усердно молились за душу покойника, которого при жизни особенно не любили, даже боялись. Очень уже круто наступила смерть.

— И хоть бы испивал, братец ты мой,— говорил на паперти один мужик другому.

— И не пимши да захмелеешь,— отвечал тот.— Каков случай выдет.

— Обидели,— повторил первый мужик решающее слово.

— Обидели,— промолвили за ним другие.

— А ведь покойный сам вас притеснял? — спросил я одного мужика, в котором я признал харловского крестьянина.

— Барин был, известно,— отвечал мужик,— а все-таки... обидели его!

— Обидели...— опять послышалось в толпе.

У могилы Евлампия стояла тоже словно потерянная. Раздумье ее разбирало... тяжкое раздумье. Я заметил, что с Слёткиным, который несколько раз с ней заговаривал, она обращалась, как, бывало, с Житковым,— и еще хуже.

Несколько дней спустя в нашем околотке распространился слух, что Евлампия Мартыновна Харлова навсегда ушла из родительского дома, предоставив сестре и свояку все доставшееся ей имение и взявши только несколько сот рублей...

— Откупилась, видно, Анна-то! — заметила моя матушка,— только у нас с тобою,— прибавила она, обратившись к Житкову, с которым играла в пикет — он заменил ей Сувенира,— руки неумелые!

Житков уныло глянул на свои мощные длани... «Они-то, неумелые!» — казалось, думалось ему...

Скоро потом мы с матушкой переехали на жительство в Москву — и много минуло лет, прежде чем мне пришлось увидеть обеих дочерей Мартына Петровича.

XXX

Но я увидал их. С Анной Мартыновной я встретился самым обыкновенным образом. Посетив, после кончины матушки, нашу деревню, в которую я не заезжал больше пятнадцати лет, я получил от посредника приглашение (тогда по всей России, с незабытой доселе медленностью, происходило размежевание чересполосицы) — приглашение прибыть для совещания, с прочими владельцами нашей дачи, в имение помещицы вдовы Анны Слёткиной. Известие о несуществовании более на

сем свете матушкина «жиденка» с черносливообразными глазами нисколько, признаюсь, меня не опечалило; но мне было интересно взглянуть на его вдову. Она слыла у нас за отличнейшую хозяйку. И точно: ее имение, и усадьба, и самый дом (я невольно взглянул на крышу, она была железная) — все оказалось в превосходном порядке, все было аккуратно, чисто, прибрано, где нужно — выкрашено, хотя бы у немки. Сама Анна Мартыновна, конечно, постарела; но та особенная, сухая и как бы злая прелесть, которая некогда так меня возбуждала — не совсем ее покинула. Одета она была по-деревенскому, но изящно. Она приняла нас не радушно — это слово к ней не шло,— но вежливо и, увидав меня, свидетеля того страшного происшествия, даже бровью не повела. Ни о моей матушке, ни о своем отце, ни о сестре, ни о муже она даже не заикнулась, точно воды в рот набрала.

Были у ней две дочери, обе прехорошенькие, стройненькие, с милыми личиками, с веселым и ласковым выражением в черных глазах; был и сын, немножко смахивавший на отца, но тоже мальчик хоть куда! Во время прений между владельцами Анна Мартыновна держалась спокойно, с достоинством, не выказывая ни особенного упорства, ни особенного корыстолюбия. Но никто вернее ее не понимал своих выгод и не умел убедительнее выставлять и защищать свои права; все «подходящие» законы, даже министерские циркуляры были ей хорошо известны; говорила она немного и тихим голосом, но каждое слово попадало в цель. Кончилось тем, что мы на все ее требования изъявили согласие и таких понаделали уступок, что оставалось только удивляться. На возвратном пути иные господа помещики даже самих себя выругали; все кряхтели и покачивали головами.

— Экая баба умница!— говорил один.

— Продувная шельма! — вмешался другой, менее деликатный владелец,— мягко стелет, да жестко спать!

— Да и скряга же! — прибавил третий,— рюмка водки и кусочек икры на брата — это что же такое?

— Чего от нее ждать? — брякнул вдруг один, до того безмолвный помещик,— кому же не известно, что она мужа своего отравила?

К удивлению моему, никто не почел нужным опровергнуть такое ужасное, наверное, ни на чем не основанное обвинение! Это тем более меня удивило, что, несмот-

ря на приведенные мною бранчивые выражения, уважение к Анне Мартыновне чувствовали все, не исключая неделикатного владельца. Посредник, тот даже в пафос впал.

— Возведи ее на трон,— воскликнул он,— та же Семирамида или Екатерина Вторая! Повиновение крестьян — образцовое.... Воспитание детей — образцовое! Голова! Мозги!

Семирамиду и Екатерину в сторону,— но не было сомнения в том, что Анна Мартыновна вела жизнь весьма счастливую. Довольством внутренним и внешним, приятной тишиной душевного и телесного здоровья так и веяло от нее самой, от ее семьи, от всего ее быта. Насколько она заслуживала это счастье... это другой вопрос. Впрочем, подобные вопросы ставятся только в молодости. Все на свете, и хорошее и дурное — дается человеку не по его заслугам, а вследствие каких-то еще не известных, но логических законов, на которые я даже указать не берусь, хоть иногда мне кажется, что я смутно чувствую их.

XXXI

Я осведомился у посредника об Евлампии Мартыновне — и узнал, что она, как ушла из дому, так и пропала без вести — и, «вероятно, теперь уже давно воспарила в горния».

Так выразился наш посредник... но я убежден, что я *видел* Евлампию, что я встретился с нею. Именно вот как.

Года четыре после моего свидания с Анной Мартыновной я поселился на лето в Мурине, небольшой деревушке около Петербурга, хорошо известной дачникам средней руки. Охота около Мурина была в то время недурна — и я ходил с ружьем чуть не каждый день. Был у меня товарищ, некто Викулов, из мещан — очень неглупый и добрый малый — но, как он сам про себя выражался, совершенно «потерянного» поведения. Где только не был этот человек и чем он не был! Ничего-то его удивить не могло, все-то он знал — но любил он только охоту да вино. Вот однажды возвращались мы с ним в Мурино, и пришлось нам миновать одинокий дом, стоявший у перекрестка двух дорог и обнесенный высоким и тесным частоколом. Не в первый раз видел я этот дом, и всякий раз он возбуждал мое любопытство: в нем

было что-то таинственное, замкнутое, угрюмо-немое, что-то напоминавшее острог или больницу. С дороги только и можно было видеть что его крутую, темной краской выкрашенную крышу. Во всем заборе находились одни ворота; и те казались наглухо запертыми; никакого звука не слышалось никогда за ними. Со всем тем вы чувствовали, что в этом доме непременно кто-нибудь обитает: он вовсе не являл вид заброшенного жилья. Напротив, все в нем было так прочно, и плотно, и дюже, что хоть осаду выдерживай!

— Что за крепость такая? — спросил я у своего товарища.— Не знаете?

Викулов лукаво прищурился.

— Чудно́е небось строение? Много с него здешнему исправнику дохода!

— Как так?

— Да так же. О хлыстах-раскольниках — вот что без попов живут,— небось слыхали?

— Слыхал.

— Ну вот тут их главная матка обретается.

— Женщина?

— Да — матка; богородица по-ихнему.

— Что вы?!

— Я ж вам говорю. Строгая, говорят, такая... Командирша! Тысячами ворочает! Взял бы я да всех этих богородиц... Да что толковать!

Он позвал своего Пегашку, удивительную собаку, с превосходным чутьем, но без всякого понятия о стойке. Викулов принужден был подвязывать ей заднюю лапу, чтоб она не так неистово бегала.

Слова его запали мне в память. Я, бывало, нарочно сворачивал в сторону, чтобы пройти мимо таинственного дома. Вот, однажды, поравнялся я с ним, как вдруг — о чудо! — засов загремел за воротами, ключ завизжал в замке, потом самые ворота тихонько растворились — показалась могучая лошадиная голова с заплетенной челкой под расписной дугой — и не спеша выкатила на

дорогу небольшая тележка вроде тех, в которых ездят барышники и наездники из купцов. На кожаной подушке тележки, ближе ко мне, сидел мужчина лет тридцати, замечательно красивой и благообразной наружности, в опрятном черном армяке и низко на лоб надетом черном картузе; он степенно правил откормленным, как печь широким конем; а рядом с мужчиной, по ту сторону тележки, сидела женщина высокого роста, прямая как стрела. Голову ее покрывала дорогая черная шаль; одета она была в короткий бархатный шушун оливкового цвета и темно-синюю мериносовую юбку; белые руки, чинно сложенные у груди, поддерживали друг дружку. Тележка завернула по дороге налево — и женщина очутилась в двух шагах от меня; она слегка повела головою, и я узнал Евлампию Харлову. Я узнал ее немедленно, я ни единого мгновения не колебался, да и нельзя было колебаться; таких глаз, как у ней — и особенно такого склада губ — надменного и чувственного,— я ни у кого не видывал. Лицо ее стало длиннее и суше, кожа потемнела, кой-где виднелись морщины; но особенно изменилось выражение этого лица! Трудно передать словами, до чего оно стало самоуверенно, строго, горделиво! Не простым спокойствием власти — пресыщением власти дышала каждая черта; в небрежном взоре, который она на меня уронила, сказывалась давнишняя, застарелая привычка встречать одну благоговейную, безответную покорность. Эта женщина, очевидно, жила, окруженная не поклонниками — а рабами; она, очевидно, даже забыла то время, когда какое-либо ее повеление или желание не было тотчас исполнено! Я громко назвал ее по имени и по отчеству; она чуть-чуть дрогнула, вторично посмотрела на меня — не с испугом, а с презрительным гневом: кто, мол, смеет меня беспокоить? — и, едва раскрыв губы, произнесла повелительное слово. Сидевший рядом с ней мужчина встрепенулся, с размаха ударил вожжой по лошади, та двинулась вперед шибкой и крупной рысью — и телега скрылась.

С тех пор я не встречал более Евлампии. Каким образом дочь Мартына Петровича попала в хлыстовские богородицы — я и представить себе не могу; но кто знает, быть может, она основала толк, который назовется — или уже теперь называется, по ее имени — евлампиевщиной? Все бывает, все случается.

И вот что я имел сказать вам о своем степном короле Лире, о семействе его и поступках его».

Рассказчик умолк — а мы потолковали немного, да и разошлись восвояси.

1870

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 5
ДНЕВНИК ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА 65
ТРИ ВСТРЕЧИ 112
ПЕРЕПИСКА 140
ЯКОВ ПАСЫНКОВ 169
СТЕПНОЙ КОРОЛЬ ЛИР 207

ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Иван Сергеевич
ТУРГЕНЕВ

ТРИ ВСТРЕЧИ

Повести

Зав. редакцией *А. Лукашин*
Редактор *И. Остапенко*
Мл. редактор *Л. Рубцова*
Художественный редактор *Т. Ключарева*
Технический редактор *Г. Пантелеева*
Корректор *И. Пархомовская*

ИБ № 1670. Издание для детей и юношества.
Сдано в набор 04.01.88. Подписано в печать 23.05.88. Формат 84×108 1/32. Бум. типогр. № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 14,7. Усл. кр.-отт. 16,17. Уч.-изд. л. 14,9. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1457. Цена 1 р.

Пермское книжное издательство. 614000, г. Пермь, ул. К. Маркса, 30. Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства «Звезда», 614000, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34.

Тургенев И. С.

Т87 Три встречи: Повести.— Пермь: Кн. изд-во, 1988.— 277 с.— (Юношеская б-ка).

ISBN 5—7625—0049—7

В очередной том «Юношеской библиотеки» вошли повести классика русской литературы XIX века И. С. Тургенева.

Т $\frac{4702010101-49}{М152(03)-00}$ 44—88 **ББК 84Р1—4**

В 1989 году
в серии «Юношеская библиотека»
выходят следующие книги:

Достоевский Ф. М. **Подросток:** Роман.
Уэллс Г. **Колеса фортуны:** Романы.

1 р.